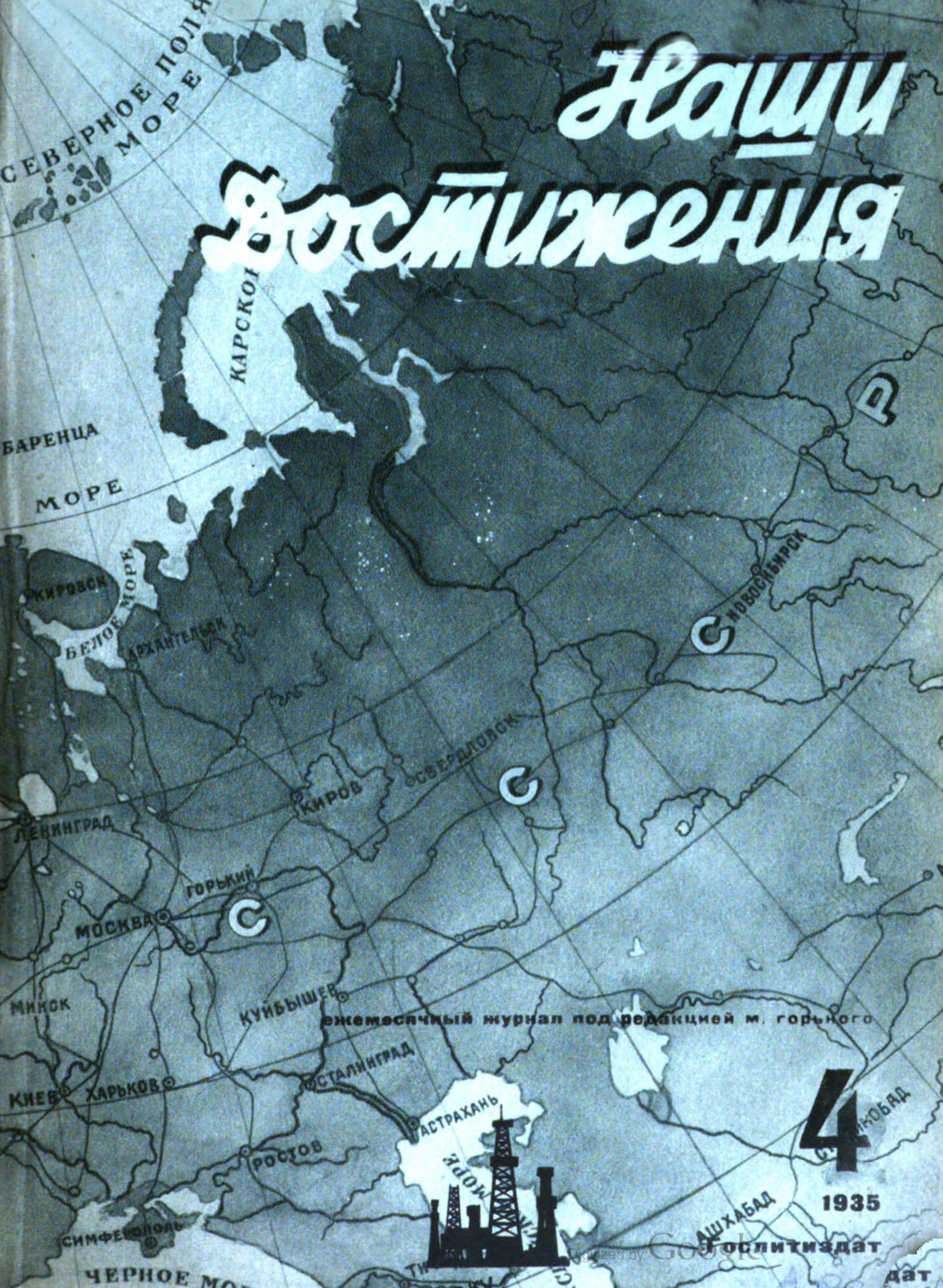
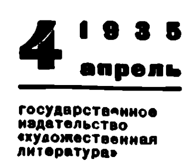


Наши достижения
ежемесячный журнал под редакцией м. горького
4
1935
Госполитиздат
Северное полярное море
Карское
Баренца море
Белое море
Кировск
Архангельск
Ленинград
Киров
Свердловск
Новосибирск
Горький
Москва
Минск
Куйбышев
Сталинград
Киев
Харьков
Ростов
Астрахань
Симферополь
Черное море
Ашхабад

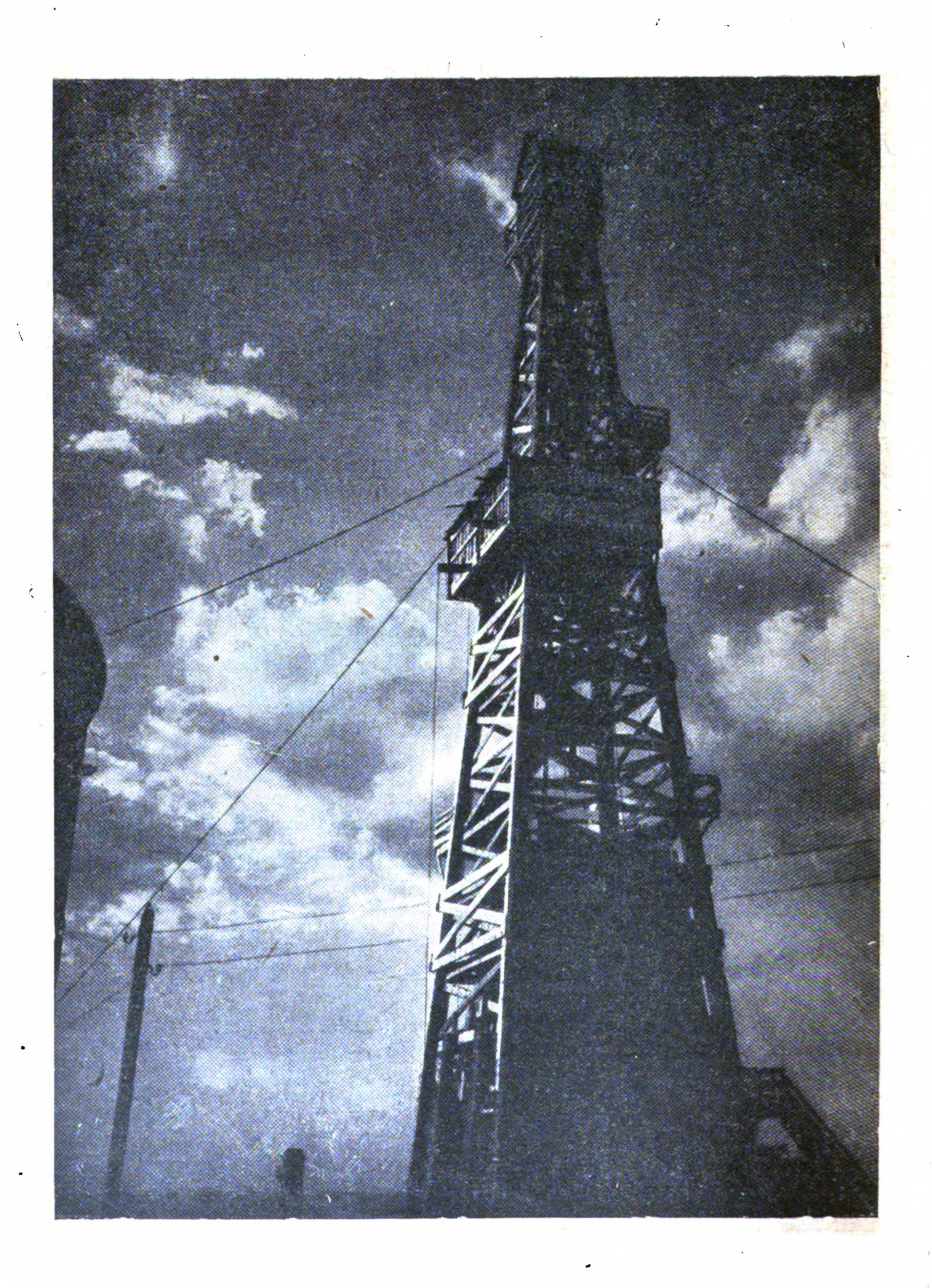
наши достижения



ежемесячный иллюстрированный журнал под редакцией М. Горького



государственное
издательство
«художественная
литература»



Пятнадцать лет

А. П. Петерсон,
Управляющий Азнефти

Азербайджанской советской нефтяной промышленности в мае 1935 года исполняется 15 лет.

Вместе со всей страной нефтяная промышленность проделала за эти годы огромный путь, в корне изменив за сравнительно короткий срок свой облик. Путь, пройденный Азнефтью, яркая иллюстрация тех изумительных всемирно-исторических побед, которые одержаны нашей родиной под руководством великого Сталина.

Два с половиной миллиона тонн нефтедобычи, в первый год после национализации нефтяной промышленности, 19 миллионов тонн нефти, добытых Азнефтью в 1934 году, 22-миллионное задание партии и правительства на 1935 год — вот вехи пути, пройденного нефтяной промышленностью советского Азербайджана за 15 лет.

Нынешняя Азнефть ни по масштабам производства, ни по своим кадрам, созданным и выпестованным партией и советской властью, ни по своей передовой технике не может быть сравнена с дореволюционной нефтяной промышленностью. У капиталистов примитивная, архаическая техника нефтепромыслового дела «мирно» уживалась с жестокой и беспредельной эксплоатацией рабочих. Пройдены трудные годы восстановления разграбленной капиталистами, интервентами и муссаватистами бакинской нефтяной промышленности. Пройдены основные этапы технической реконструкции нефтяной промышленности, смело осуществляемой партией и советской властью. Азнефть за последние годы вышла на путь бурного подъема.

Сегодня можно подвести итоги пятнадцатилетней героической борьбы бакинских нефтяников. Неустанно, шаг за шагом, под руководством своей большевистской организации, выпестованной великим Сталиным и возглавляемой С. М. Кировым, собирали бакинские большевики и пролетарии нефтяную промышленность, укрепляли и перестраивали ее. Под неослабным вниманием Ленина и Сталина, при их непосредственной помощи восстанавливали и реконструировали они разрушенное хозяйство и вывели нефтяную промышленность на второе место в мире по размерам добычи.

Чем была бакинская нефтяная промышленность до национализации? 272 фирмы, не считая мелких субарендаторов, владели тогда нефтяными богатствами Апшерона. Ожесточенная конкуренция трехсот предпринимателей приводила к хищнической эксплуатации недр и рабочих. Скважины, как правило, бурили на богатые пласты. Сравнительно менее мощные пласты пропускались и обводнялись. Подсасывание недр «своего соседа», засекречиванье методов работы, глубин и мощности пластов тормозили рост и правильное развитие нефтяной промышленности.

Не было планомерных поисков и разведок новых нефтяных месторождений. Отдельные попытки разведочных работ велись бессистемно, без технического и геологического руководства.

Нечего и говорить об уровне техники бурения. Повсюду на промыслах Азнефти применялось ударное (штанговое) бурение с его громоздким оборудованием, низкой степенью механизации и тяжелым трудом бурильщика. При этих условиях буренье скважин даже на небольшие глубины затягивалось порою на годы.

Техника эксплоатации нефтяных скважин была еще более примитивна. Нефтепромышленники знали два основных способа добычи нефти: тартание желонкой, основанное на тяжелом

и опасном труде тартальщика, и открытые фонтаны, нещадно разрушавшие месторождения.

Не лучше обстояло дело с нефтепереработкой. Бакинские нефтеперегонные заводы отличались отсталостью своего оборудования и применявшихся на них методов работы. Вся нефтепереработка велась на «нобелевских» кубовых батареях, лишенных простейшей погоно-разделательной аппаратуры.

Империалистическая война, английская интервенция и хозяйничанье муссаватистов еще более подорвали бакинскую нефтяную промышленность. И когда в апреле 1920 года пролетариат и трудящиеся Баку под руководством коммунистической партии, с помощью российского пролетариата свергли помещичье-буржуазную власть и провозгласили власть советов, промысла и нефтезаводы представляли собою буквально кладбище. Положение было угрожающее: бурение почти свернулось, огромное количество скважин бездействовало, началось обводнение пластов. Количество добываемой нефти снизилось до потрясающе-низкого уровня — с 7,4 миллионов тонн в 1913 году добыча в 1920 году докатилась до 2,5, а переработка нефти с 4,5 до 1,9 миллионов тонн.

Катастрофичность положения на промыслах и заводах к моменту национализации нефтяной промышленности усиливалась общей разрухой в Стране советов и затруднениями в продовольственном снабжении рабочих. О техническом снабжении предприятий и говорить не приходилось, ибо оно фактически было прекращено.

Большевики и пролетарии Баку не имели к тому времени нужного хозяйственного опыта. Но медлить было невозможно. Советской республике, хозяйство которой было подорвано империалистической войной, интервенцией и вооруженной контрреволюцией, нужна была нефть. И бакинские нефтяники под руководством большевиков, преодолевая сопротивление скрытых и явных врагов, саботажников и вредителей, твердо взялись за восстановление нефтяной промышленности.

В 1922 году, когда бакинским нефтяникам удалось приостановить дальнейшее падение нефтедобычи и когда кое-где на отдельных участках обрисовались первые проблески подъема, В. И. Ленин обратился к бакинским рабочим со следующим письмом:

«Я только что выслушал краткий отчет т. Серебровского о положении в Азнефти. Трудностей в этом положении очень немало. Посылаю вам горячий привет, прошу вас ближайшее время продержаться всячески. Первое время нам особенно тяжело. Дальше будет легче. Победы мы должны добиться и добьемся во что бы то ни стало».

Во главе большевиков Азербайджана тогда стоял талантливейший организатор, мужественный ленинец, любимец трудящихся великого Советского союза Сергей Миронович Киров.

Рука об руку с Серго Орджоникидзе, в то время руководившим закавказской партийной организацией, С. М. Киров, 4½ года работавший в Баку вместе со всей армией нефтяников и во главе ее, собирал, переделывал нефтяную промышленность, сколачивал и воспитывал кадры, организованно вел их в победные бои.

Сергей Миронович Киров положил твердое начало реконструкции старых нефтепромыслов. Он вел неутомимую борьбу против косности, которой была заражена известная часть технического персонала, терпеливо разъяснял отсталым группам рабочих значение и выгоды перехода с желонки и ударного бурения на глубокие насосы и вращательное бурение. Впервые развернулась на научных основах поисковая и разведочная работа, организовалось газовое хозяйство, началась усиленная электрификация промыслов, пришедшая на смену паровой машине и нефтемотору.

С именем С. М. Кирова неразрывно связано строительство образцового советского промысла «Солбаз» и бухты Ильича, вступивших в эксплуатацию в 1922—1923 гг.

Велика и неоценима заслуга С. М. Кирова в борьбе за нефть, за укрепление пролетарской диктатуры в многонациональном Баку и всем Закавказье. Рабочие Баку никогда не забудут светлого облика своего Мироныча, чьи задушевные и огненные речи зажигали бакинских нефтяников, воодушев-

ляли их на разрешение труднейших задач того периода. Ближайшим соратником С. М. Кирова в этой борьбе был первый начальник Азнефти А. П. Серебровский — инженер-большевик, прекрасный организатор технической реконструкции в Азнефти и производственных побед бакинских рабочих.

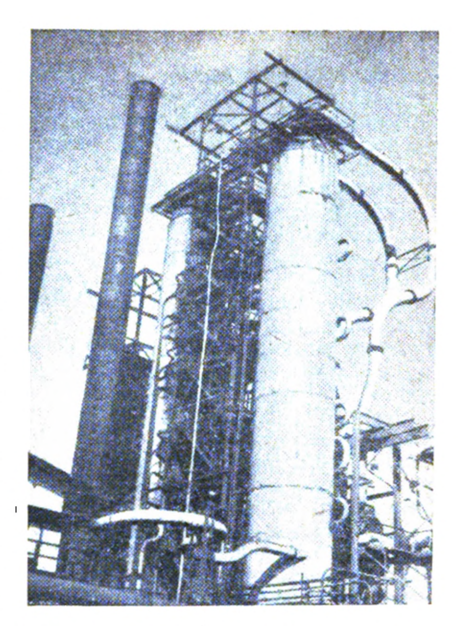
Результаты большевистской борьбы под руководством т. Кирова быстро сказались. Положение облегчилось, восстановление и реконструкция Азербайджанской нефтяной промышленности пошли более быстрыми темпами. Кривая добычи заметно пошла вверх, достигнув в 1925—26 гг. 5,5 миллионов тонн.

Нефтяная промышленность первой в Советском союзе выполнила свой пятилетний план в 2½ года.

«По пятилетке нефтяная промышленность должна была дать в 1932—33 году продукции на 977 миллионов рублей. А на деле она дает продукции уже в 1929—30 году на 809 миллионов рублей, т. е. 83 процента намеченной в пятилетке для 1932—33 года. Стало быть мы выполняем пятилетний план по нефтяной промышленности в каких-нибудь 2½ года» (Сталин).

Бурные темпы индустриализации страны и социалистической реконструкции сельского хозяйства предъявляют все возрастающие требования к нефтяной промышленности. И уже добытые Азнефтью в 1931 году 13,5 миллионов тонн нефти (против 11 миллионов, предусмотренных по плану последнего года пятилетки), оказываются недостаточными, чтобы покрыть потребность советской страны. Это положение стало чувствоваться еще более остро, когда непрерывный подъем добычи в Азнефти с момента ее национализации был нарушен в 1932 году, закончившимся недобором 3-х миллионов тонн нефти против программы.

Секретарь Закавказского краевого комитета партии тов. Лаврентий Берия в январе 1933 года на собрании Бакинского партактива дает большевистский анализ положения в Азнефти.



Батум. Нефтеперегонная установка «фостер»

Большевистской борьбой под руководством Закавказского краевого и бакинского комитетов партии бакинским нефтяникам удалось выровнять добычу в 1933 году. Развернутое строительство новых трубчаток, крекингов и очистных заводов и применение новых методов нефтезаводского дела создали возможность увеличения масштабов переработки нефти и повышения качества выпускаемых нефтепродуктов.

Рекордным по темпам прироста нефтедобычи годом в истории нефтяной промышленности Азербайджана был 1934 год, когда нефтедобыча по сравнению с 1933 г. увеличилась почти на 4 миллиона тонн.

Победа бакинских большевиков в 1934 году достигнута в упорной борьбе с трудностями, за коренную перестройку Азнефти, за овладение техникой. Проведена большая рационализаторская работа, усилена механизация в бурении и эксплоатации. Основной упор в работе был сделан на живых людей, овладевших техникой, на их выращивание.

В 1934 году была проделана огромная работа по дальнейшему улучшению жилищно-бытовых и культурных условий передовых ударников.

Азнефть проделала большую работу по рациональной расстановке своих кадров снизу доверху.

Утвержденное ЦК ВКП(б) постановление Заккрайкома об организационной перестройке Азнефти и указания наркома тов. Серго Орджоникидзе о переброске на производство лучших инженеров и специалистов значительно помогли решительному укреплению низового хозяйственного звена и обеспечили необходимые темпы в нефтедобыче.

Наряду с такими старыми специалистами и хозяйственниками, как А. И. Крылов — директор одного из передовых промыслов, профессор Скворцов — известный изобретатель, тов. Бронштейн — пионер вращательного бурения в СССР, тов Билибин, разработавший новые методы для подсчета подземных запасов нефти, Азнефть вместе с парторганизацией Азербайджана и под ее руководством вырастила и воспитала таких молодых специалистов и хозяйственников, как тов. Кузьмин — директор промысла им. Азизбекова, тов. Газарян — директор промысла им. Орджоникидзе, тов. Камладзе — директор промысла им. Артема, товарищи Алиев Ашраф и Сиротов — инженеры промыслов, ряд заведующих группами на промыслах, сыгравших огромную роль в успехах 1934 года.

Этих успехов бакинские большевики и пролетарии добились под руководством Центрального комитета ВКП(б) и великого Сталина, неослабно помогавшего бакинцам, заботливо и внимательно следившего за их борьбой. С именем тов. Сталина неразрывно связана вся история революционного движения в Закавказье. С его именем неразрывно связаны победы на всех участках социалистического строительства в Закавказье, победы на фронте нефти. «Этих успехов пролетарии Баку добились своей отважной борьбой за государственный план, на которую их организовал Закавказский краевой комитет партии и его руководитель тов. Берия» («Правда»).

Этих успехов пролетарии Баку добились под руководством бакинской большевистской организации, под непосредственным руководством, при повседневной помощи секретаря ЦК и БК АКП(б) тов. М. Д. Багирова.

Исключительную роль в подъеме нефтедобычи в 1934 году сыграла крепкая поддержка и четкое руководство наркомтяжпрома тов. С. Орджоникидзе, награжденного ЦИКом СССР орденом Ленина.

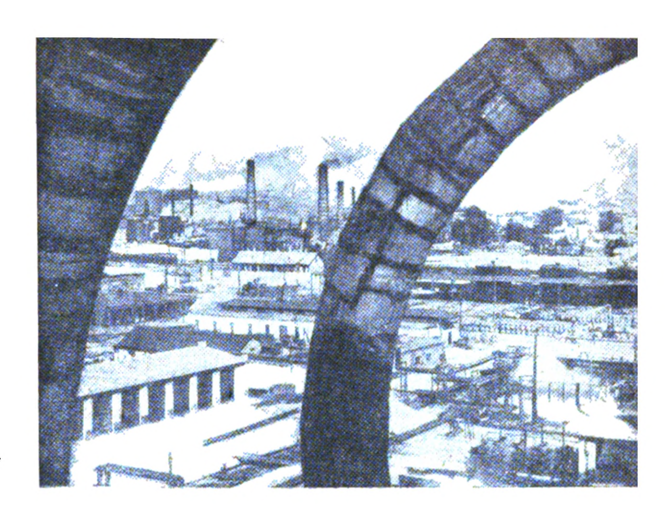
Азнефть вступила в 1935 год. Этот год налагает на Азнефть особенную ответственность. На бакинских промыслах нужно добыть 22 миллиона тонн нефти. Только из новых скважин должно быть добыто 8 миллионов тонн. В связи с этим необходимо пробурить 919 000 метров.

Борясь за 22 миллиона тонн в 1935 году, нефтяники ни на одну минуту не должны забывать слова тов. Сталина, сказанные им в беседе с металлургами на пороге этого года:

«Победили — это верно, но нельзя зазнаваться в связи с этими успехами; самое опасное, когда успокаиваются на успехах и забывают о недостатках, забывают о дальнейших задачах».

«Надо беречь каждого способного и понимающего работника, беречь и выращивать его. Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево, воспитывать, помогать расти, дать перспективу, во-время выдвинуть, во-время переводить на другую работу».

В этой связи становится совершенно ясным, что наряду с мероприятиями производственно-технического и организационного характера, наряду с выявлением и использованием резервов в этой области, нужно сделать главный упор на основной резерв — лучшую организацию людей. «Главное, — указал тов. Сталин, — в людях, овладевших техникой». Необходимо «заботливо выращивать и квалифицировать людей, правильно расставить, — организовать их на производстве, организовать зарплату так, чтобы она укрепляла решающие звенья производства и двигала людей на высшую квалификацию».



Черный город. С высоты нефтеперегонной установки

Бурение являлось и всегда будет являться основным фактором, обеспечивающим нефтедобычу.

В своем отчетном докладе на VII съезде Советов тов. Серго Орджоникидзе так сформулировал очередные задачи Азнефти в отношении скоростей бурения:

> «...дальнейшая задача заключается в том, что мы должны резко, быстро повысить скорость бурения. Тех скоростей бурения, которые имеются сейчас, мы терпеть не можем. Переоборудовать наши нефтяные промысла нужно будет, но сегодня, при том оборудовании, которое у нас имеется, мы имеем возможность удвоить и утроить скорости бурения, надо только, чтобы товарищи нефтяники научились работать. как следует. Если мы добьемся более высоких скоростей бурения и откажемся от азиатских методов эксплуатации — победа обеспечена».

Развернувшееся между буровыми бригадами, буровыми мастерами и целыми группами бурения соревнование, оперативное руководство и неослабное внимание парторганизации к делу бурения—показали полную возможность добиться в бурении средней скорости в 360 метров на станок-месяц и даже перекрывать ее.

Бурение Азнефти уже имеет своих знатных людей, побивших рекорды в скоростях проходки скважин и приближающихся к американским скоростям. В каждом промысловом районе Азнефти можно насчитать десятки рабочих и буровых мастеров, успешно соревнующихся между собой за высокую проходку в бурении и дающих от 400 до 600 метров на станок-месяц. Таковы, например, буровые мастера Микаил Исмаил с промысла им. Ленина, Стрюков с промысла им. Азизбекова, Счастливцев с промысла им. Кагановича, Бала Ага и др.

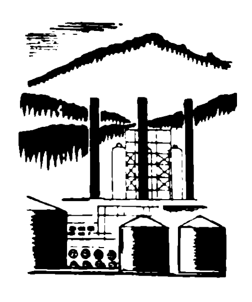
Азнефть еще далека от полного использования всех своих возможностей и резервов. Опыт лучших мастеров в бурении, лучшая организация труда и производства, борьба за культурное отношение к оборудованию и чистоту рабочего места — несомненно вскроют в Азнефти новые дополнительные резервы.

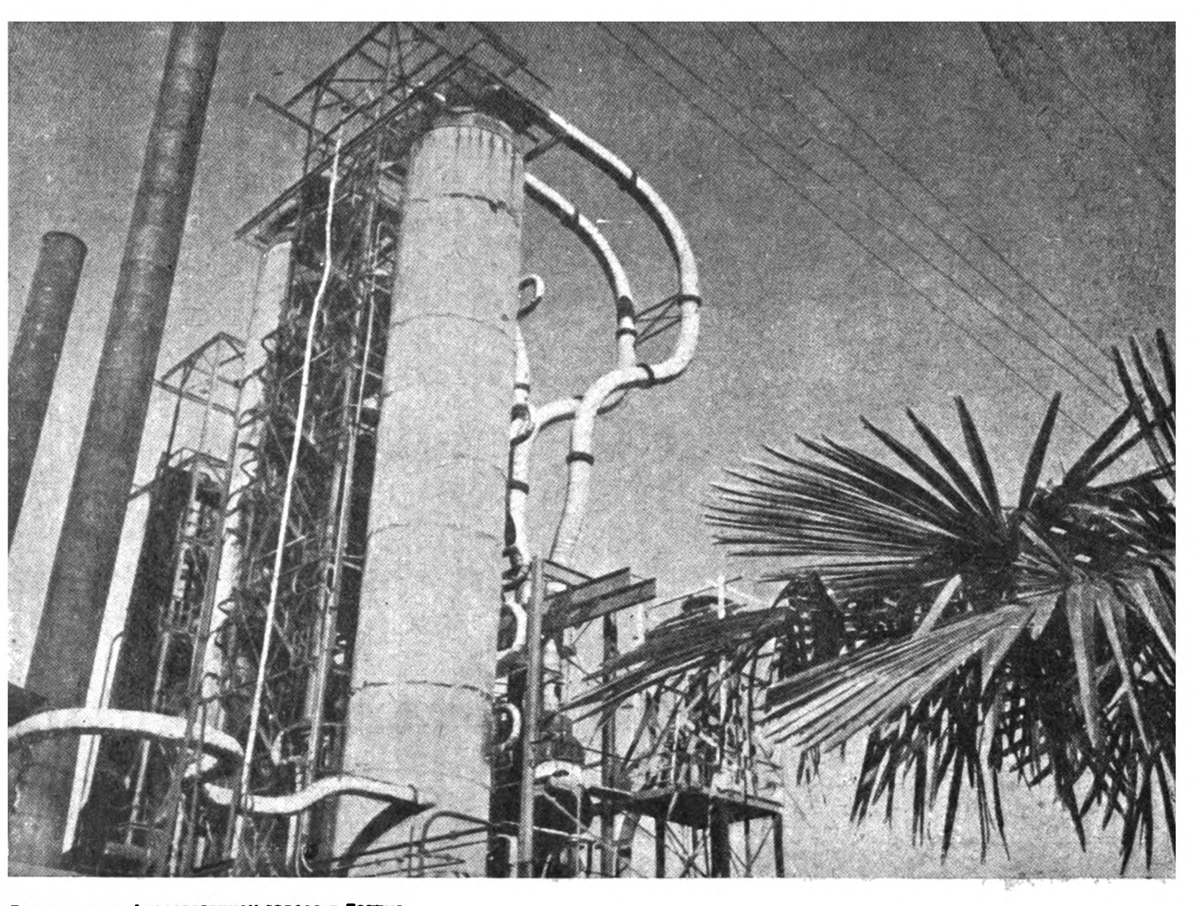
Используя полностью широчайшие возможности социалистических методов хозяйствования, продолжая и углубляя техническую реконструкцию нефтяного производства, начатую товарищами Кировым и Серебровским уже в первые после национализации годы. бакинские нефтяники под руководством коммунистической партии доби-

лись за 15 лет превращения технически-отсталых и разрушенных бакинских промыслов и заводов в мощный организм — Азербайджанскую нефтяную промышленность, вооруженную новейшей техникой, квалифицированными кадрами и непоколебимой волей к новой борьбе за новые потоки нефти, нужной Стране советов.

На 16-ом году национализации Азербайджанской нефтяной промышленности партия и правительство поставили перед ней ответственную и почетную задачу: добыть и дать стране 22 миллиона тонн нефти.

Прошли три месяца 1935 года. Азнефть не выполнила квартального плана, накопив большой долг перед страной. Сказались элементы успокоенности и беспечности, основанные на успехах прошлого года. Со всей большевистской решительностью Краевой комитет партии вскрыл и обнажил причины отставания первых трех месяцев, наметив развернутую программу борьбы с отставанием. Азнефть не может оставаться в долгу перед родиной. Заботы и внимание партии и великого Сталина, высокая награда — орден Ленина,— которой отмечена Азербайджанская советская республика и ее руководители тт. Берия, Багиров и Рахманов, обязывают быстро наверстать упущенное. Под руководством Краевого комитета партии и бакинской большевистской организации, нефтяники Баку выполнят свой долг перед родиной и оправдают доверие великого вождя, мудрого учителя и любимого друга т. Сталина.





Пальмы на нефтеперегонном заводе в Батуме



Товарищи Киров и Баринов у буровой

С. М. Киров в Баку

(Из воспоминаний тов. М. Орахелашвили)

В 1931 году Киров становится секретарем азербайджанского комитета партии. Киров в Баку—в центре разваленной оккупантами нефтяной промышленности. Часто приезжая к нему, я наблюдал Кирова в новой обстановке. День Сергея Мироновича начинался с того, что к нему приходил первый советский директор бакинских промыслов т. Серебровский. Он заставал Кирова порой в постели или за недопитым стаканом чая. Тут же комната Мироныча превращалась в штаб хозяйственного руководства. Время было тяжелое. Приходилось поднимать нефтяную промышленность на пустом месте, без механизмов, без средств, без людей.

День Кирова продолжался на промыслах, в рабочих районах. Вечер проходил в совещаниях, в переговорах по прямому проводу с центром, с тов. Орджоникидзе, с которым Киров составлял как бы единую волю, единое дыхание.

Оперативное руководство Кирова помогло в самый короткий срок превратить разваленные бакинские промысла в четко работающие предприятия, механизированные и обеспеченные нашими, советскими специалистами. Многие из них, по настоянию Кирова, побывали на практике в Америке.

Эта плодотворная хозяйственнная работа протекала в такой обстановке, когда ни на минуту нельзя было отвлекаться от десятков других дел. Закавказье еще только вчера было ареной кровавой резни и жестоких боев. Еще сильна была провокация классового врага. Не изжита была еще национальная рознь между тюрками и армянами, между армянами и грузинами. Еще меньшевики Грузии готовили предательский удар в спину советской власти...

Сам Баку в то время, как крепость пролетарской революции, возвышался над крестьянским Азербайджаном. Но город еще не имел органической связи со всем населением отсталой страны, еще недавно вышедшей из-под феодального строя.

Эта органическая связь с населением начала осуществляться только при Кирове. Пролетарская простота, прямота, искренность, величайшая революционная честность—все это создавало обаяние вокруг имени Кирова.

Киров говорил бакинцам:

„Здесь в Азербайджане самый счастливый в нашем Советском Союзе в национальном отношении город—это Баку. Нет другого советского города, где было бы такое множество национальностей и в котором рабочие разных национальностей жили бы такой дружной спаянной семьей“.

(„Бакинский рабочий“, от 2 декабря 1925 года)

●

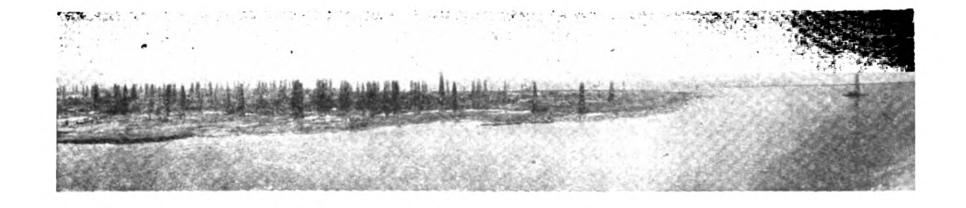
„Несколько месяцев тому назад одна почтенная американская компания предложила нам услуги в деле наиболее совершенных способов бурения нефтяных скважин, и мы их приняли. Но теперь мы видим, что ловить за фалды заокеанских бурильщиков не приходится. И то, что они немного замешкались, что до сих пор целые полгода везут к нам станки и никак не довезут, особенной беды не вызовет. Ибо мы собственными силами добились уже того, что за вчерашний день в канун седьмого года советской власти добыли 700 000 пуд. нефти. Кривая добычи нефти, правда, не дает головокружительных цифр, но повышается настолько заметно, что каждый прошлый день отличается от предыдущего“.

(„Бакинский рабочий“, от 9 ноября 1923 года)

●

„В нашей нефтяной промышленности сейчас совершается величайшая промышленная революция. Я знаю, что многие из работающих в уездах сами работали на этих наших промыслах. Я знаю, вы в старое время привыкли к желонкам и прочим таким вещам в нашей нефтяной промышленности. Сейчас мы начинаем замечать, что все эти желонки и т. д. заменяются машинами. Вы можете притти к американскому приспособлению—приводу, который обслуживает сразу 24-30 буровых, нефть тартается насосами, сидит один человек, который присматривает за этим делом и т. д. Вы можете увидеть трактор, который приезжает к заброшенной буровой, на которой нет вышки, чистит скважину, растартывает, сажает насос и уходит. В Харьковском районе поставлена вышка, чрезвычайно легкая скважина растартывается, ставится насос, а вышка передвигается на другое место и производит ту же самую работу. То же самое, что имеется в Америке, находится и у нас, и можно, не похвалясь, сказать, что в отношении нашей нефтяной промышленности мы переживаем величайшую революцию“.

(„Бакинский рабочий“, от 3 декабря 1925 года)



разведка

Вл. Татишвили

Ночью, когда смотришь из маленького оконца фанерного разборного домика, улица кажется широкой и людной. Суровый норд-ост путается в проводах — и провода поют. Поют — и вот тогда в песне рушится залитый электрическим светом город, фыркающие грузовики тоскливо и одиноко грохочут на крутых поворотах, и поселок становится таким, каким он есть — складным переносным лагерем на сто пятьдесят человек, в местности Нахка, в двух километрах от старого шах-абасовского караван-сарая Ших-Карачи. Древние торговые пути верблюжьими тропами проходят отсюда к узким воротам Дарибанда и к широким просторам Персидского залива. Вчера скотовод из Калей-Худата прогонял здесь свою баранту. Он зашел в старый караван-сарай и через стрельчатую амбразуру портала увидел три одиноких вышки.

— Нефть будет? — хозяйственно спросил калей-худатец.

— Будет,— ответили ему.

Он хотел еще что-то сказать, но в степи у стада тревожно залаяла овчарка. Калей-худатец, словно прыгая по гористым скалам, сбежал по узким ступенькам сторожевой башни, сел на коня и погнал баранту от высокогорных лугов Шах-Дага к приморским степям куринской дельты.

Ночью, в комнате геолога, похожей на штурманскую рубку, как в океане, даже в тихий душный штиль, встает в сновидениях возможная буря. Геолог поднимает голову с мягкой подушки и прислушивается. Глаза его полузакрыты, он в полусне. Но он удивительно чутко спит, и слышит: у древнего колодца Ших-Карачи, построенного,— «бис милляхи иррахман, ирраим» — во имя бога милостивого, милосердного, мерно работает насос водокачки. Водокачка гонит шах-абасовскую воду в разведывательные буровые № 1 и 2.

— Работает,— успокоенно шепчет геолог,— № 2 поднимает инструмент...

Голова его падает на подушку — он спит.

Припадая к земле, воровато и незаметно старается проползти ночь мимо разведки, мимо юношеского сна геолога. Спят вековые зимние пастбища, дремлют у своих стад чабаны—потомки иеменцев-арабов. Джейраны покидают сопки вулканоид и сказочным оленьим бегом спускаются к разведке. Что нужно им здесь, этим быстроногим газелям, с глазами младенцев? Они смотрят на яркие огни буровых, прозрачных от света и как бы оторванных от земли, неожиданно входят в полосу ярких фар и грохота машин, груженных цементов и трубами, панически бегут обратно в горы, к сопкам, к тишине, к безлюдью.

Небритая щетина кажется приклеенной к молодому лицу геолога. Он по-детски всхлипывает и просыпается. Жестянный, похожий на банную шайку, колокол бьет смену. Ржавый звон тревожно проносится по лагерю. Еще не раскрыв глаза, геолог шепчет в полудреме: «смена» — и говорит за перегородку в один фанерный лист.

— Ваня-большой ушел?

— Уходит,— отвечает за товарища Ваня-маленький.

— Там не забудь насчет юза, юз нужно еще раз опустить.

Бур Юза не дает геологу покоя. На буровой № 2 никак не могут справиться с этим юзом. «Квалификация, — презрительно ругается геолог, — эти люди не могут понять, что здесь разведка, а не промысел. Мне нужен грунт через каждые три метра—лаборатория ждет, а они тащут какие-то комья».

— Без грунта не приходить,— кричит геолог за перегородку.

— Без грунта не приходить,—повторяет Ваня-большой и уходит, хлопая дверью.

Геолог вздрагивает, локоть его подминается, голова склоняется к плечу, и он снова засыпает, невнятно бормоча что-то о юзе-грунтоносе.

Проходят дни и ночи в фанерном пристанище геолога, уже нехватает места для геологических разведок, карроттажных диаграмм, таблиц, планов и интерпретаций. Мешочки с отобранными породами, банки с песком, бутыли, наполненные суровыми водами, шеренгами заполняют полки.

Утром в серой рассветной тьме помколлектора Фуад вертит ручку капризного телефона и вызывает Чаил — штаб разведки.

За фанерными перегородками возникает тревожная суета. Геолог вскакивает с постели. Крепкий юношеский сон кажется ему сейчас пороком непростительной молодости. Чорт знает, что может передать этот самый Фуад!

Голос Фуада спокоен.

— Скважина № 1, приток семьдесят один кубометр...

— Забой, скажи, забой,— кричит геолог,— это же гроб с музыкой, чорт возьми!

— Да,— невозмутимо, спокойно поправляет Фуад, — сперва, значит, забой. Скважина № 1, забой 1074.

— На второй юз не опускали?— волнуется геолог.

— Не опускали...

— Как, не опускали? — стонет геолог.

— Это я не вам,— поправляется Фуад,— это я не вам, Сурен Григорьевич.— И продолжает... выходящий «де» один десять,—«ка» один пятнадцать, процент песка ноль восемь. Теперь входящий...

Днем на душе становится спокойнее,— виден путь, видны вышки буровых, в зимнем солнечном свете белым пятном лежат на голой земле домики поселка, контуры размытых гор окружают разведку.

Геолог выходит из своей каравеллы с бодрым видом человека, презирающего сон. Пастухи гонят стада к колодцам Ших-Карачи. Во дворе караван-сарая курится дымок непотушенного костра. За Давали-Дагом встают неприветливые облака. Камни пастбищ Нахка делаются суровыми. Ветер-ваятель приступает к своей кропотливой и бесконечной работе. Его невидимыми руками камни Нахка превращены в сказочных животных, птиц, носорогов, верблюдов, баранов.

Высохшие кустики евшана ведут геолога к буровым. Он идет, в сотый раз отмечая залегание пластов и углы их падения. Он идет по земле — удивительной земле этих мест. Из недр, из глубин геология вышла здесь наружу и геологическими знаками легла на поверхность. Как проста, ясна и поучительна эта природа, вывернувшая себя наизнанку! Жадно вбирает геолог воздух пробуждающихся пастбищ. Густой дым встает над кишлаками, зарывшими себя в землю. Дым невидимо тает, оторвавшись от стойбища, и отсюда кажется, будто дым этот так все время и висит, фиолетовыми клубами застыв в неподвижности.

«Южное крыло складки,—думает геолог,— кончается как раз у этого кишлака. Я прошел северную изогнутую ее часть, теперь я на куполе». Простая, несложная мысль, констатация пройденного пути,—так и мы в городе, проходя улицы, отмечаем в тысячный раз — «вот я прошел Коммунистическую и свернул на улицу Джапаридзе. А вот магазин «Динамо». «А вот я на буровой № 2,— отмечает геолог,— теперь попробуем ее воды».

Геолог опускает руку в мутный, шоколадного цвета поток и наощупь пытается определить его вязкость, плотность и возможный процент песка. Он нагибается и судорожно внюхивается. Молодое лицо его полно внутренней спокойной сосредоточенности.

— Юз плохо опускается,— говорит он подошедшему мастеру. Мастер воровато отводит глаза и нервно дергает худым и острым углом плеча. Бурильщик и тормозчик иронически косятся на молодого геолога. Какой-то внутренний антагонизм, плохо скрытый даже для постороннего глаза, лежит холодным рубежом между бурильщиками и геологами. «Вам бы только работе мешать: не успеешь инструмент опустить, вынимай его для вашего юза»,— говорят глаза бурильщика. «Вам бы только бурить да бурить, а куда бурить, зачем бурить, вы и знать не хотите»,— сердито щурится глаза геолога. Он резко поворачивается в сторону тормозчика и кричит сквозь грохот и скрежетание ротора:

— А ты почему на техминимум не приходишь?

— Я на вахте стоял, смены не было — кричит тормозчик, довольный веским обоснованием прогула.

— Это один раз,— еще громче кричит геолог,— а все другие разы? Без техминимума в бурильщики не переведут, имей это в виду,— и он уходит в геологическую будку, слепленную тут же на вышке, рядом с насосным отделением.

— Молодой еще, сердиться не может, не научен еще,— смеется бурильщик.

— Молодой, да толкучий очень,— серьезно говорит буровой мастер,— от него не спрячешься.

— А вы,— неожиданно свирепеет он, поворачиваясь к бурильщику,— юз опускайте как следует. Я за вас, растяп, не обязан работать. Что ж там — с вершок зацепите и тащите. Из-за вас, чертей, метраж гробится.

...В полдень из города приезжает старший геолог. Он приезжает на легкой фордовской бебешке, круто рулит у фанерного домика Сурена Григорьевича и молча входит в геологическое бюро.

— Муллаев приехал,— разносится по поселку.

«Хозяин приехал»,— думает про Муллаева гостящий на разведке писатель. Ему хочется задать Муллаеву тысячу вопросов, наброситься на него, растормошить, выведать самое главное, то чего не видно за суетой производственных будней, что ревниво прячется от стороннего, неопытного взгляда.

— Здравствуйте,— говорит вместо всего этого писатель и крепко жмет руку Муллаева. Этим коротким приветствием кончаются все расспросы писателя, и, пока Муллаев ведет деловые разговоры со своими сотрудниками, писатель скромно отходит в сторону и с деланным равнодушием приникает к маленькому оконцу фанерного домика. Он приехал на разведку несколько дней назад и привез с собой кучу литературных планов и огромное желание во что бы то ни стало проникнуть в святое святых разведки, Он нервничал и терялся — даже то, что было на поверхности, вставало перед ним непривычным пейзажем. Но не это смущало его. За этим пейзажем он хотел увидеть далекое, неизвестное, раскрывающее смысл простирающейся перед ним природы. Писатель стоял у оконца, прислушивался к разговору Муллаева и думал об удивительной стране, там за окном.

«В поэтическом лексиконе,— думал писатель,— для нее еще не подобраны слова и у меня нет под рукой эпитетов, достаточно простых и строгих, чтобы легко и понятно нарисовать мертвую красоту разодранной в клочья земли, зияющие раны горбатых холмов и срезанные конусы тяжело всхлипывающих вулканов».

Беседа Муллаева затягивается, и тогда писатель вынимает блок-нот и пытается сделать черновой набросок.

«Обглоданным скелетом выпирают ребра тяжелых горных складок. Обезглавленные вершины угрюмо торчат остатками сморщенных шей. Смотрите — они закаменели от тысячелетней непрерывной казни — и запрятанная глубоко в овраги вода спешит подальше от этой страны. Она проходит через нее весенним бурным паводком, чтобы на долгие месяцы оставить глухим свое пересохшее ложе. В июльский томящий полдень — это самое страшное: растрескавшийся покров земли и глубокие каньоны, на дне которых ни капли влаги».

— Как с водой?— спрашивает Муллаев,— следите за дебетом колодцев?

«Ших-Карачи,— думает писатель,— вот и пригодились старые шах-абасовские колодцы»— и он вспоминает другое. В центре разведок у Чаил-Дага, директор группы Качаев устроил запруду на дне каньона, по которому в дождь и в весенние талые дни бегут мутные воды Джейран-Кечмаса,— капризной реки этих мест. У запруды поставили водокачку, и все сооружение в честь директора назвали шутейно «качайстроем». Воды едва хватало на несколько буровых.

Каторжная природа,— думает писатель.— Тысячу лет назад, задолго до Шах-Абаса, сюда пришли арабы из Иемена и, потрясенные развернувшейся перед ними картиной, назвали эту страну Кабристаном — страной могил. Воинственные племена арабов осели на этом кладбище природы, защищая продвижение полчищ Абу Муслима вперед, на север, на старый Дарибанд. С тех пор слово «араб» неотделимо от этой страны. Оно живет в стройных аравийских фигурах кабристанских кочевников, в названиях их сел, в звучании их говоров, верблюжьей поступи их караванов, в убогом кочевом их хозяйстве, в смутных воспоминаниях о далекой Басре и Иемене.

Блуждая по пустыне, Муллаев прошел сквозь дым их кочевых костров, и имя его, опаленное гостеприимным огнем, вошло в устные хроники Кабристана, в рассказы у камельков, добродушные пересуды стариков у мечети.

Муллаев прошел эту страну с севера на юг и с востока на запад. Он кружился по ее центру, взбирался на вулканы и опускался на дно каньонов. Он рыл шурфы и прокладывал канавы, по которым изучал падение и простирание пластов. Тяжелым и метким геологическим молотком отбивал он породы, и страна могил раскрывала перед ним свое трагическое прошлое. Давно уже был сорван, истерзан и скомкан ее верхний покров. Безжизненные остатки его валялись теперь там и сям по пустыне — и тяжелая густая нефть, черная и липкая, как свернувшаяся кровь, сочилась меж ними.

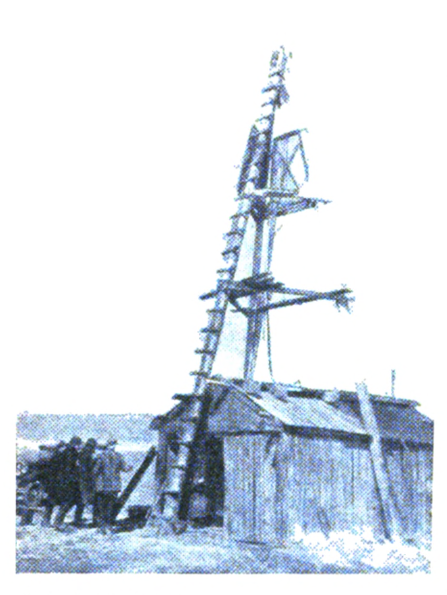
Муллаев уезжает так же внезапно, как и появляется. Он дает Сурену Григорьевичу последние указания, садится в бебешку, и она выносит его за поселок. Через четверть часа машина ныряет в овраг, где расположен «качайстрой», и взлетает на возвышенность к Чаил-Дагу,—черному, прокопченному поселку — штабу разведок.

Вечером, сидя в жарко натопленной комнате, Муллаев мысленно рисует будущее Кабристана. За только что возникшим Миаджиком, в котором работает Сурен Григорьевич, встает еще не существующий, но уже нарастающий Анарт, за ним Зубеир, а за ним еще десятки новых разведочных площадей, десятки будущих действующих промыслов, с кокетливыми рабочими поселками, пышными садами, парками отдыха, библиотеками, клубами, дворцами, широкими асфальтированными дорогами.

И наряду с этим будущим вспоминается недалекое прошлое: спустя тысячу лет после арабов сюда в Кабристан пришло другое племя. Потрясенное развернувшейся перед ним картиной, оно поразилось несметному богатству этой страны и наивности арабов, с их кочующими стадами и разговорами о Басре и Иемене. Это другое племя пришло в век, когда нефть, без всякого участия алхимии колдовства, легко превращалось в золото. А сколько этого золота сверкало огромными лужами, разбросанными по всему Кабристану. Какой простой и нехлопотливой представлялась будущая нажива, как незатейлива была задача взять это золото в руки, подобрать его, сделать своим.

Старые площади, выбрасывающие миллионные фонтаны,— Сураханы, Сабунчи, Биби-Эйбат,—начинали казаться нищими и жалкими рядом с этим ни с чем несравнимым богатством. Обширная территория — целая страна — пустующая, никем не занятая,—никем незнаемые Огайо и Пенсильвания, тут под боком, рядом со старым дряхлеющим уже Баку.

И вот безвестная почтовая станция, полицейский пост Дженги, на тогда еще глухом, извозчичьем шемахинском тракте, прорезывающем Кабристан в северной его части, уже грозил превратиться в будущий центр, будущего нефтяного Клондайка. Нобель заложил


Разведка в Алятах

здесь свои первые пять скважин. За ним Зубалов поставил буровую в Чаил-Даге, а французское анонимное общество — на Салахае.

Именцы — потомки арабов — с тревогой наблюдали за действиями пришельцев. Им, скотоводам, нефть была нужна, как испытанное средство от парши и чесотки — и ее было достаточно в многочисленных лужах, разбросанных по Кабристану. Кулаки собирались в мечетях и вели непонятные для чабанов разговоры — они переводили пастбища на буровые, а буровые на рубли.

Старый Баку встрепенулся—и вслед за промышленными китами к Кабристану потянулась и мелкая промысловая рыбешка. Десятки нефтяных жуликов и карманников начали кружить по пескам мертвой страны, и один из них поставил вышку прямо на грязевой сопке — авось, мол, сопка ударит и сделает нефтяной выброс.

Однако сопка молчала, и, что досаднее всего, она продолжала молчать даже после того, как крупные фирмы начали бить отбой и сворачивать работу в Кабристане. Промышленники уходили, тщательно засекречивая результаты своих работ, но один секрет оставался для всех абсолютно ясным — на местах заложенных буровых промышленной нефти не было.

А между тем попрежнему, повсюду кругом на поверхности, продолжала сочиться живая, отливающая темным золотом, нефть. Потомки арабов попрежнему собирали ее в кожаные торбы и продавали по деревням, как драгоценное лекарство от парши и чесотки.

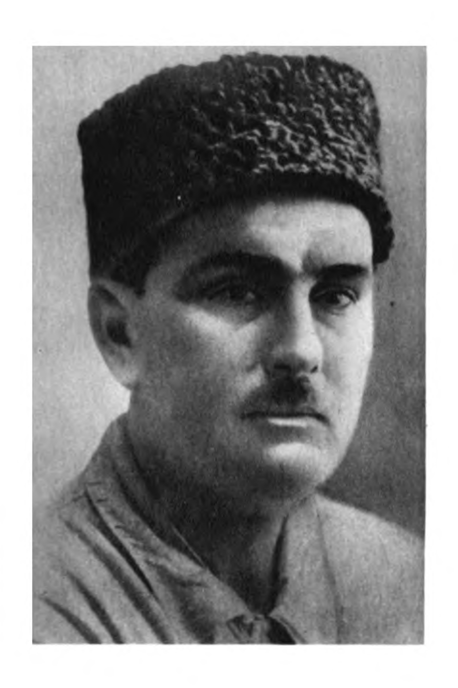
Нефтяной жулик, заложивший буровую прямо на кратере сопки, плакал и проклинал всех этих нобелей и зубаловых. Он и десятки других, таких же незатейливых плутов, сходили с ума.

Нефть в пустыне начинала превращаться в нефтяной мираж. Вот она перед глазами — и вот ее нет. Вот она просачивается сквозь землю и выходит на поверхность, вот золотыми радужными пленками всплывает в выбросах грязи — и вот снова ее нет.

Промышленникам надоела эта игра в прятки, но жулику с вышкой на кратере она казалась заманчивой. Он утверждал — и в этом был, быть может, по-своему прав, — что бурение у Нобеля проводилось при технически неблагоприятных условиях и что пробному тартанию мешали сильные незакрытые воды в буровых. Он звал народ к себе в Рагимли. Он звал народ к буровой, заложенной прямо на кратере сопки. Он брался доказать огромную нефтенасыщенность Кабристана,— и для решения этой трудной для того времени задачи он свозил к своей единственной буровой Апшеронскую нефть и заливал ею сопку... Послушная сопка при первом же пробном тартании начала давать тяжелую и удивительно непохожую на кабристанскую нефть.

Мошенничество было раскрыто, жулик изобличен. Он покинул Кабристан. Он был здесь последним частным предпринимателем — разведчиком Кабристана.

Племя крупных и мелких хищников беспорядочно отступило. Спал ажиотаж, поднятый вокруг страны могил.



вверху

тов. Серебровский, руковод. Азнефти

в период реконструкции

внизу слева

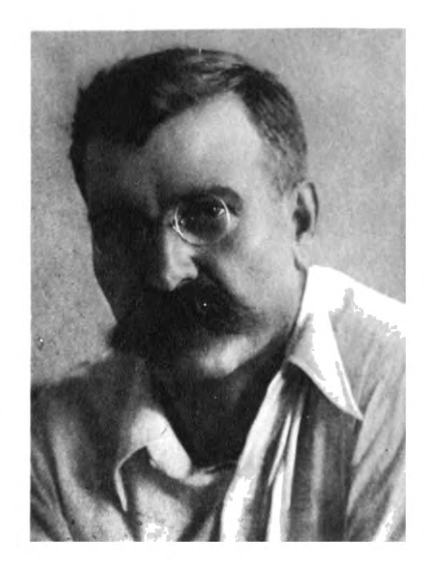
тов. Петерсон, управляющий Азнефти

внизу справа

тов. Баринов, начальник Главнефти,

в прошлом руковод Азнефти





вверху

тов. Берия секретарь Закрайкома ВКП(б)

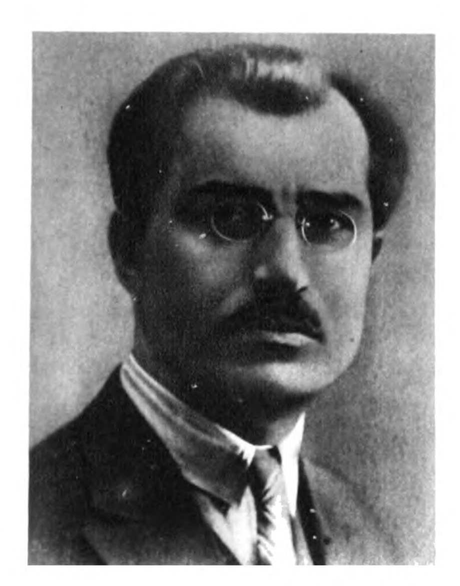
внизу слева

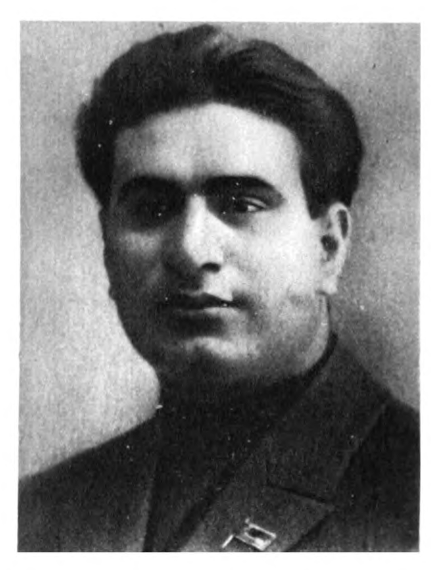
тов. Багиров, секретарь ЦК АзКП(б)

внизу справа

тов. Рахманов, пред. СНК ССР Азербайджана







Пустыня замерла. Кабристан на долгие годы был предан забвению.

... Муллаев приехал в Кабристан в 1928 году. Он въехал в эту страну на музейном фордике, неповоротливом и высоком, как фаэтон. На старых площадях он нашел заброшенные буровые колодцы, шурфы, канавы и невывезенный котел, оставшийся со времен французского анонимного общества.

Потомки арабов встретили Муллаева добродушной улыбкой. Возможно, это была улыбка глубокой иронии: обитатели Азербайджанской Аравии разуверились в ученых людях, не умеющих взять нефть, широко разлитую по всей их стране.

Сотни крупных, мелких и мельчайших грязевых вулканов, бурлящих, гейзирующих и окрашивающих свои выбросы заманчивой нефтяной пленкой, многочисленные нефтяные месторождения с энергичными нефтепроявлениями — и наряду с этим печальный опыт всех прежних поисковых работ. Когда в революцию ожил старый заброшенный Кабристан, десятки советских геологов исходили эту страну вдоль и поперек и составили десятки самых подробных геологических и топографических карт. Это был не блестящий материал, несмотря на участие в нем довольно крупных имен.

Муллаев задумался. Он мог бы отказаться от тяжелой и, казалось, непосильной задачи — выйти с честью из этой пустыни, где не один и не два геолога похоронили свое доброе имя. Но Муллаев решительно сел за изучение планшетов.

Он просиживал над ними ночи. Он был одинок перед многочисленными фактами «за и против», перед сложнейшей задачей поисков промышленных месторождений в Кабристане. Он был одинок перед, казалось, безупречными местами картографического описания Кабристана — и только в одиночестве он мог позволить себе не верить этим листам.

Ночные кропотливые изучения материалов сменились не менее кропотливой полевой работой. Муллаев начал свой обход Кабристана. Катастрофический ландшафт смятой и уничтоженной природы волновал геолога. Он изучал лицо этой земли, как влюбленный изучает лицо своей избранной, каждую морщинку, каждую черточку, каждую складку. Он искал эти морщинки, эти черточки, эти складки на безусловных и признанных портретах Кабристана — многочисленных геологических планшетах — и не находил их: они равнодушно были закрашены одноцветной слепой краской.

К этому времени в узких кругах геологов Кабристан стал притчей во языцех. Страна могил стала одиозной и зачумленной. Создалась целая теория о размытом, потерявшем всякую промышленную ценность Кабристане.

Шесть лет потратил геолог Муллаев на восстановление доброго имени кабристанских разведок. Муллаев сумел увидеть нефть там, где ее никто не видел, где она была скрыта от глаз, где она ничем себя не проявляла.

Как не похожа эта серьезная вдумчивая работа советского геолога на все, что делалось до сих пор в Кабристане и на всех других разведках. В основу поисковых работ Муллаева были положены исключительно научные методы и исследования. Муллаев вырос и воспитывался в условиях, когда немыслима была иная точка зрения на практическую работу геолога-разведчика.

Геолог, геология — стали словами, наполненными гордым содержанием. Гордость росла и поднимала Муллаева, — прекрасная гордость свободного человека, занятого любимым делом.

Как незавидна была участь его старших товарищей, прошедших тяжелую школу подневольной работы, в условиях каждодневных сделок с совестью, наукой, человеческим достоинством. Чего стоило хотя бы унизительное сотрудничество с неким американцем, пользовавшимся огромным успехом среди бакинских нефтепромышленников и открывавшим нефтеносные земли при помощи одной лишь гладко отполированной трости.

Каким приниженным, обезличенным и раздавленным должен был чувствовать себя геолог рядом с этим индустриальным факиром.

Геологический маг совершал свое

турнэ по обширной российской империи, сопровождаемый рекомендациями начальства и коллекцией благодарственных писем от различных иностранных фирм. Он был мало разговорчив и решителен. Деньги брал вперед и на геологию и геологов плевал совершенно откровенно. Безусловно они казались ему жалкими рабами так хорошо надуваемых им нефтяных тузов. Стоило ли с ними церемониться!

Метод его разведки был чрезвычайно прост. Он брался открывать нефть на любом, сходном в цене, участке.

Для его чудесной операции необходимы были — лихой кучер, фаэтон, пара отличных рысаков и дежурный геолог. Геолога он брал, чтобы в открытом соревновании показать все ничтожество геологии. Кроме того, ему нужен был свидетель-эксперт, отмечавший по его указанию место будущего нефтяного промысла. Этой несложной хитростью геолог превращался в прямого соучастника грубого афериста.

Операция начиналась с бешеной поездки. Лошади пускались вскачь. Мелькали поля, ухабы, овраги, холмы. Американец орал и гикал. Он был храбрым человеком и не боялся сломать себе шею.

Насладившись стремительной скачкой, он неожиданно ударял тростью по затылку кучера. Коляска останавливалась. Американец выходил из фаэтона и ставил свою волшебную трость на землю.

Воцарялась полная тишина. Но вот факир подавал знак, продолжая сосредоточенно что-то соображать. Знак относился к дежурному геологу, и тот покорно разворачивал карту.

Слава обладателя черной трости была велика, и он выступал даже на ученом заседании императорского русского технического общества. Здесь он окончательно покорил сердца тех нефтепромышленников, кто еще не верил и не хотел верить в чудеса нефтяного кудесника: он безошибочно угадывал, в каком из представленных ему ящиков содержится чистый песок, а в каком нефтеносный. Нюх у этого пройдохи был безусловно тонкий!

...Сурен Григорьевич заканчивает обход буровых—их только две: № 1 и 2. Он хочет возвращаться в поселок, но раздумывает и поворачивает к будущей буровой № 3, к новенькой, еще пахнущей смолой и молодым лесом, вышке. Она расположена на южном крыле складки в шестистах метрах от буровой № 1. Здесь устанавливают моторы, а под полом уже вырыли шахту. Сурен Григорьевич обходит буровую, заглядывает в шахту и про себя в сердцах ругается — моторы устанавливают уже который месяц и все нехватает какой-нибудь чертовщины. Работа затягивается. Установят, пожалуй, к 1 января, а к этому времени, глядишь, будет готова линия электропередачи из Баку, и тогда нефтяные моторы будут уже не нужны.

«У нас вот всегда так»,—закипает молодой геолог. Он нервно срывает кустик пересохшего евшана и вдруг вспоминает о геологическом бюро, о том, что без него молодые коллекторы пошли, пожалуй, вверх ногами и забросили срочные чертежи, выкладки и записи. Он спешит в обратный путь, скорее в поселок, к работе, в родной фанерный домик, складной переносный штаб геолога-разведчика.

Сквозь тонкие стены переносного домика неслись уже звуки глухой гитары, и чей-то девичий голос пел:

«Не верь придуманым рассказам
О нормах нравственной любви...

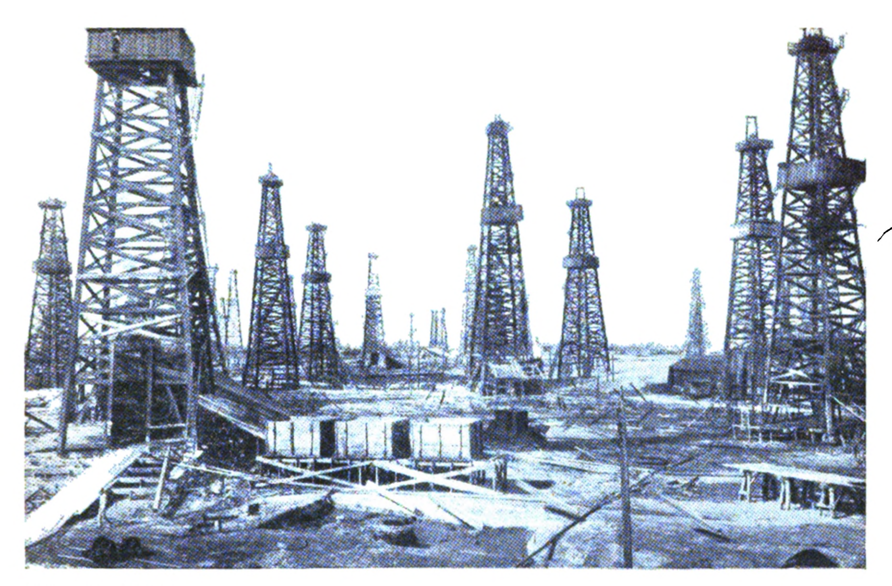
Геолог влетает в бюро... Техник Ваня-маленький объясняет новичку-коллектору, только что поступившему на разведку:

— На мешочке само собою пишешь: скваважина номер такой-то, забой такой-то, с долота и т. д., а кроме того отдельно на бумажке и бумажку внутрь, вместе с породой в мешочек. Как же, ведь это документ! А сверху только для удобства пишется, чтобы каждый раз не развязывать мешочек.

— Где Ваня-большой?— спрашивает геолог.

— В столовой, кружок ликбеза ведет.

Из комнаты коллекторов с гитарой в руке выходит Лидия Алексеевна, микрофаунистка из Чаила. Она приехала в свой выходной день повидать товарищей.



Громыхая родился

... В столовой Ваня-большой проводит урок ликбеза.

Сегодня занятие по арифметике.

— Будем прорабатывать таблицу умножения,— говорит Ваня-большой. Он переходит от стола к столу и заглядывает в ученические тетради рабочих. При неудачном ответе рабочего кто-то пытается поднять насмех сплошавшего ученика, но Ваня-большой сурово обрывает:

— Не смеяться. Все мы были такие. А ну-ка, Федя, сообрази как следует, сколько же будет трижды семь?

Федя добросовестно соображает и приходит к убеждению, что во всяком случае не меньше двадцати трех. К концу занятий Ваня-большой подводит итоги:

— Плохо занимаетесь, ребята. У кого таблицы нет — мог бы списать у товарища, а потом насчет тетрадей. Зачем вам тетради дадены? Чтобы заниматься. А Петька что делает? Любовные записки в них пишет. Каждый из вас хочет вперед продвинуться, в бурильщики, в мастера. Очень хорошо. Вот Павел Иванович, сами помните, был у нас рабочим, а теперь инженер. И вы тоже можете стать инженерами.

... Что вы читаете?— спросил Лидию Алексеевну писатель.

«Ну, конечно, «Петра Первого» или «Поднятую целину», — предугадывал писатель и собирался уже сделать перечень самых последних литературных новинок.

— Фораминиферы, — ответила Лидия Алексеевна.

— Как?— удивился писатель.

— Фораминиферы. Кашмена. Перевод с английского. Очень интересная книга. Это насчет...

— Знаю, — нахохлился писатель,— насчет вашей микрофауны, — и подумал: а ведь только что, чорт знает, что пела под гитару.

Он вынул дорожный блок-нот и записал: «неграмотный рабочий хочет стать инженером и становится им. Караванные пути на Дарибанд и к Персидскому заливу. По ночам геолог не спит. Нефть будет (так сказали скотоводу из Калей-Худата). Конечно, будет! Эти люди возьмут ее, куда бы она ни спряталась. На техминимум приходят, как на молитву. Поют гнусные

романсы и блатные песни. Других не знают. Очень жизнерадостный народ. Смотрят сквозь землю, вниз, в глубину, в залегание пластов, в забой. Видят очень далеко. На старые караванные пути ложится новая дорога — через фораминиферы к социализму».

... Через день, перечитывая свои заметки, писатель поморщился. Не то, — думал писатель. — Все это мелочь. Что-то большое, важное и самое главное ускользает от меня. Насчет социализма — это не мелочь (еще бы!), но зато чересчур общо. Кстати, Сурен Григорьевич очень мало думает о таких вещах. Он ужасно конкретен. У него один объект — буровые. Он живет этими буровыми. Все остальное, включая, может, и самого Муллаева, только придаток к этим буровым. Он проводит беседы по техминимуму, редактирует стенную газету, встречает бригаду журналистов, заседает в промкоме,— но за всем этим встают контуры буровых, забой, глинистый раствор, вязкость, процент песка, омаж, нефтяные пачки.

— Ну, вот, буровая № 1, — говорит Сурен Григорьевич и искоса смотрит на писателя, — заложена на своде складки.

«Сейчас будут рассказывать о вещах, совсем не интересных, а о самом главном — ни слова», — мучительно думает писатель.

— Начата 16-го января 1934 года,— продолжает Сурен Григорьевич.

«Как начата? — хочется крикнуть писателю,—меня интересует, как она начата, как вы пришли сюда, на пустое место, как лаяли на вас овчарки, что говорили чабаны, как пришел первый грузовик с первыми материалами. Наверное было холодно, дул ветер, вы жгли костры и подогревали на них консервы. Наконец, мне интересно, что говорил Муллаев, как он показывал вам место, где должна была быть заложена буровая».

— До четырех метров, — спокойно рассказывает Сурен Григорьевич, — так называемое шахтовое направление, — заложили 24-дюймовые трубы. Затем до ста тридцати метров — восемнадцатидюймовые. До шестисот тридцати шести — восемнадцатидюймовые, а сейчас, на восемьсот девятнадцать метров, — десятидюймовые.

Писатель достает вечное перо и аккуратно заносит в записную книжку все, что говорит Сурен Григорьевич. Цифры у него получаются корявые и совсем не математические — сразу же видно — с цифрами у писателя нелады.

«Дюймы, дюймы, — бурчит про себя писатель,— совсем мне не дюймы нужны, а вы сами, вы, молодой советский специалист, энтузиаст, строитель социализма. Ваша мысль, выше волнение, ваша радость и горесть, ваши порывы».

— Бурение вращательное, — продолжает Сурен Григорьевич. — Мотор — «Рустон». Старенький, но пока ничего — работает. Вот проведут линию — перейдем на электроэнергию.

«Нет, видно, придется изучать геологию и бурильное дело, — думает писатель, — без этого не обойтись. Все остальное придется сочинить самому — волнение, каким был охвачен геолог, когда впервые в пустыне загрохотал ротор, и верблюды, подняв свои дряхлые морды, бросились прочь от буровой».

— На глубине шестьсот двадцать семь-шестьсот тридцать метров, — объяснял Сурен Григорьевич, — началось сильное газирование.

— Первое в истории Миаджика? — поднял голову писатель.

— Первое—подтвердил Сурен Григорьевич. — Оно продолжалось около двух месяцев. Газ с сильным запахом нефти.

Писатель посмотрел на геолога. Геолог был спокоен. Молодое лицо его как будто даже скучало?

— С сильным запахом нефти? — нарочно переспросил писатель.

— С очень сильным запахом.

Сурен Григорьевич потер тылом ладони небритую щеку.

— Но ведь это значит, — начал волноваться писатель.

— Это значит, что мы имеем хорошие признаки. Приезжал Михаил Владимирович Никитин, начальник Азнефтеразведки, и назвал Миаджик вторым Биби-Эйбатом.

— Ну и что? — воскликнул писатель, — ну?

— Как что, — удивился Сурен Григорьевич. — Проходим пески. Наблюдались пески с нефтью.

«Будь ты неладен — мысленно выругался писатель, — вместе с твоими песками. Не пески мне нужны, а Никитин. Что он — прыгал от радости? Кувыркался? Показывал кому-нибудь кукиш? Нате, мол, выкупайте, товарищи-злопыхатели».

— А где был Муллаев? — спросил писатель.

— Муллаев тоже приезжал. Ну что ж, говорит, дело ясное. Проходим верхний отдел продуктивной толщи. Структура закрытая. Газ, говорит, будет и в последующие периоды.

— И он действительно был? — наивно спросил писатель.

— Был, — и Сурен Григорьевич засмеялся тихо и деликатно.

«Я, кажется, уже до глупостей договорился», — подумал писатель. Он спрятал записную книжку, свернул перо и вышел. На улице от вчерашнего весеннего солнечного дня ничего не осталось. Небо беспорядочной грудой облаков нависало над разведкой. Волнистые контуры пустыни беспорядочно тянулись к небу. Нужно было быть очень тонким и понимающим художником, чтобы в этом сплошном сером смешении различить едва заметную игру красок на ребрах опрокинутых гор и на круглых складках поднятий.

Подул ветер. Он прошел со стороны Ших-Карачи, загудел в проводах и закружил поднявшуюся пыль.

На этом коротком и судорожном объятии с землей окончился его первый порыв.

На улице показалась нескладная фигура заведующего разведкой. Он спешил в геологическое бюро и на ходу бросил:

— Барометр падает!

Затрещали телефоны. С разных сторон поселка метнулись люди. Торопливо застегиваясь на ходу, Иван Павлович, инженер по бурению, вытаскивал из квартиры велосипед. Вскочив на него, он помчался к буровым.

«Совсем как на море перед штормом, — подумал писатель, — нехватает только команды: «Боцман! Свистать всех наверх!».

В геологическом бюро Сурен Григорьевич говорил по телефону с Муллаевым:

— Что? Карроттажники? Партия еще не прибыла. Она не у вас? Конечно, ждем. Циклон? Если с утра выехали — успеют.

...Карроттажная партия Архипова вела кочующий образ жизни. В район ее кочевий входила вся площадь дальних разведок — Кизил-Тепе, Шонгар, Миаджик, Чаил-Даг, Чаиэ-Ахтарма, Зубеир, Аляты, Хидирлы, Бендован.

Два грузовика, крытые брезентом — на одном карроттажные приборы, а на другом инклинометр — прибор для измерения кривизны скважины, — дни и ночи метались от разведки к разведке, от буровой к буровой, по дорогам и без всяких дорог, через пески, канавы, овраги. На грузовиках, как на кораблях — команда партии.

Ночевали где попало — в пустых холодных бараках, на канцелярских столах, в помещениях геологических бюро и, в лучших случаях, в комнатах для приезжающих.

По неделям не раздевались, ели что попало — где что находили, — работали днем и ночью — когда как приходилось. Мерзли, голодали, но были веселыми и отчаянными, как все люди, легко подвергающие свою жизнь лишениям.

Их всюду встречали как желанных и дорогих гостей. Они говорили свое последнее и веское слово — приговаривали буровые к жизни или смерти. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал, и, может быть, поэтому буровые мастера делались с их приездом суетливыми, а геологи нервно поеживались.

Сурен Григорьевич ждал Архипова с часу на час.

С изменением погоды дело осложнялось: надвигающийся циклон мог застать Архипова в дороге. Чаил-Даг связался с Алятами и выяснил час выезда Архипова — машины вышли полтора часа назад. Сейчас они должны быть около Сангачал.

На разведке успокоились.

Первый порыв ветра прошел благополучно, но температура сильно понизилась и ожидались ночные морозы.

Муллаев не прерывал телефонной связи с Миаджиком.

Две буровые Сурена Григорьевича волновали его больше всей разведки. Еще бы! — это первые решающие буровые на закрытых структурах Кабристана, на структурах, вызвавших столь горячие споры.

Полтора года назад, на узком совещании специалистов, решалась судьба Кабристана. Муллаев делал доклад. В кабинете Никитина, где происходило совещание, обычное очередное совещание геологов дальних разведок, — все окна были распахнуты. На стене трепетали планшеты геологических карт и разрезов.

Муллаев ничем не выдал своего волнения. Он был уверен в себе, он был уверен в непреложности и непоколебимости выставляемых им положений и был готов к нападению с любой стороны.

Доклад был завершен рукоплесканиями всей аудитории.

Оставалось последнее — опросить членов совещания, решить участь открытых Муллаевым месторождений. И здесь — для Муллаева это не было неожиданностью — мнения разошлись.

— Тут много говорить не приходится, — веско выступил один из специалистов, — складка закрытая, рядом имеются нефтепроявления. Участок заслуживает внимания. Бурить надо. Но только не сейчас, иначе это нас зарежет. Если там электростанция будет — дело другое, а если будут работать двигатели внутреннего сгорания — мы зарежем все остальные районы.

— Месторождение большое, интересное, — выступил второй. — Но есть ли смысл начать бурение, когда до конца года осталось два месяца? Мы не можем удовлетворить новый участок насосами, глиномешалками и роторами. Эти материалы до конца года будут остро дефицитными. Я считаю, что нужно бурить, но не в этом году. Мы не в состоянии оборудовать эти новые буровые.

— Если подходить с точки зрения истории продуктивной толщи, — заявил третий, — все это говорит не в пользу поднятия. Само поднятие довольно ограниченное, — и в этом смысле я воздерживаюсь от бурения.

Впервые за шесть лет работы и борьбы Муллаев начал чувствовать, что теряет самообладание. Он знал, что значит это — «отложить», «подождать», «пока не начинать». И он знал еще: там на разведке в Кабристане с замиранием сердца ждут его возвращения, ждут начала больших работ, верят ему.

Муллаев посмотрел в сторону Никитина. Никитин встал. Ему, директору треста, хозяйственнику, были понятны все эти рассуждения о дефицитности оборудования, о «зарезе», о невозможности дать одному и отнять от другого; ему была понятна боязнь директоров отдельных разведок — «вот дадут этому, а значит урежут у меня, вытащат из-под носа», — но ему, директору треста, геологу и члену партии, еще более понятно другое. Муллаев и его коллектив больше ждать не могут. Через три месяца коллектив может распасться.

...Уже в темноте, при зажженных фарах, въехали на разведку две машины Архипова. В буровой № 2 инструмент был поднят. Все было подготовлено к приезду карроттажников.

Писатель вышел в темноту, в холод, в мороз. Ветер стих, но перелом погоды чувствовался по отрывистому холодному дыханию людей. Вокруг машин суетились незнакомые фигуры. В темноте они казались огромными, неуклюжими и сильными.

Вдали, в огнях, всегда веселых, праздничных и торжественных, по темному, скрытому от глаз, полю, плыли вышки буровых. Отсюда издали они представлялись наполненными весенней музыкой и богатой беспечной жизнью. Отдаленный шум моторов переходил в отрывистую звенящую мелодию — и поселок рядом с этой богатой, идущей мимо жизнью, уходил в еще большую темноту и неприглядность.

«Я неисправим, — думал писатель, — ну какого чорта рисовать подобную картину. Ведь мне отлично известно, что в буровых сейчас холод, что обшиты они паршиво, на полу грязь, слякоть, — лампочки только отсюда, издали, кажутся такими осле-

пительными, — моторы хлопают, буровой мастер ругается».

С противоположной стороны, за холмами, мерно ухал насос водокачки. Старые колодцы отдавали свои воды буровым. Где-то, рядом с поселком, проходила линия передачи и было слышно, как позванивают трубы и как пульсирует в них вода Ших-Карачи.

«Вот конец и начало истории старого каравансарая, — думал писатель, — начало при Шах-Абасе в провинции Ширван, в правлении визиря Аллахвердихана. Визирь должен был построить тысячу каравансараев — построил девятьсот девяносто девять. Приказ Шах-Абаса не был выполнен и визирь должен был поплатиться своей головой. «О, шах, — взмолился визирь, — я думал угодить тебе. Взамен одной тысячи, только одной, я построил девятьсот девяносто девять каравансараев. Разве же это число не внушительней единицы?» Голова визиря осталась на плечах, легкомысленная голова строителя, не выполняющая производственных планов. Он сумел открутиться, веселый прораб, сановный архитектор, — и вот один из девятьсот девяносто девяти — старый придорожный каравансарай, заезжий двор именитых купцов, с башенками, порталом и сторожевой вышкой, одинокий, заброшенный, погруженный в пески и овечий помет. Он снова ожил рядом с разведкой — и рядом с разведкой кончает он свою историю».

—Ну, что, вы готовы?, — спросил Сурен Григорьевич, — поедем на буровую?

— Ах, да, ну конечно,—встрепенулся писатель.—обязательно. И уже садясь в машину, со злобой подумал: «Визири, шахи. пески, история, которой уже нет... Кому все это нужно?..»

Машина выезжала из поселка. Она нырнула в темноту, и вышки, залитые огнем, мерно покачивались впереди нее, успокаивая ее вздрагивания.

...Автомобиль развернулся и задним ходом подъехал к буровой. Высокий, тощий и нескладный бурмастер нервно ходил вокруг зияющей скважины, беспричинно пожимая худыми и острыми плечами,

Писатель отошел в сторону. В буровой его подавляли висящие над головой тали, насосные рукава, вертикально поставленная пачка бурильных труб, — все это тяжелое, ошеломляющее размерами оборудование, покрытое ровным слоем глинистого раствора. Где-то наверху, под крышей, у кронблока, кричал рабочий и ему отвечали снизу. Маленькие, и, казалось, бессильные люди легко ворочали всей этой махиной, и скоро писатель различил во всем этом видимом хаосе строгий порядок и систему.

С первой машины подали конец тросса, зашитый в холщевую оболочку. Над скважиной был уже установлен блок, и один из карроттажников стал подле него, выверяя счетчик. Под брезентом автомашины разворачивали барабан, и конец тросса пошел вниз, к забою.

— Сто! Полтораста! Двести! Двести пятьдесят! — кричал рабочий у счетчика, отмечая метраж.

Люди у машины и приборов ежились от холода.

Первая машина измеряла кривизну скважин. У инклинометра, поставленного на ящик, тут же рядом с машиной, на корточках сидел помощник Архипова Вася.

Тросс начали поднимать — пальцы Васи забегали по выключателям.

— Стой!

— Сколько?

— Пятьсот двадцать пять.

Техник, поместившийся в шоферской кабине, отмечал показания инклинометра. Он с трудом выводил цифры закоченевшей от холода рукой.

Архипов кутался, поднимал воротник и, не выдержав, залез на машину и стал у катушки — тянуть из скважины тяжелый тросс.

— Дай-ка и мне согреться, — попросил он рабочего.

Бурмастер, все еще подергивая от нетерпения плечами, вышел из буровой. Он остановился у инклинометра, ожидая результатов измерения.

Градус отклонения оказался незначительным. Вздохнув, бурмастер широко улыбался, и ветер вытер вдруг вспотевшее на холоде лицо.

Писатель с любопытством смотрел на бурмастера — однако, чорт возьми, этот человек серьезно переживал всю эту канитель. Очевидно, здесь шутками визиря не отделаешься. «Но кто бы рубил ему голову, в случае неудачи? — думает писатель, — очевидно никто. Ну кривизна, ну пожурили бы, ну оштрафовали бы. Нет, нет, здесь дело почище: производственная гордость, самолюбие, работа на самого себя».

Острые нервные плечи бурмастера стали вдруг родными и близкими. Плоское, в редких оспинках лицо—понятным и озаренным глубокими мыслями.

Вслед за инклинометром в буровую потянули тросс карроттажа. Со двора перешли в помещение и у самой скважины, под огромным свисающим рукавом насоса, расположили на штативах потенциометры — тончайшие измерительные приборы.

Архипов и его помощник стали у аппарата.

Писатель делился с Сурен Григорьевичем своими мыслями. Конечно, все это понятно — различные горные породы оказывают различное сопротивление прохождению через них электрического тока. Зная силу тока и определив разницу потенциалов между двумя точками, можно определить, по какой-нибудь там формуле, среднее сопротивление пород в омах для каждого отдельного пункта. Все это хорошо. Но вот, знаете, никак не отделаешься от мысли, что вся эта чертовщина, в конечном итоге, куда проще и примитивнее какого-нибудь малограмотного бумастера, т. е., я хочу сказать, его переживаний, его отношения ко всему этому процессу. Вы заметили?

Нет, Сурен Григорьевич ничего не заметил. Волновался? Конечно, должен был волноваться. Еще бы! Нехватало еще, чтобы скважины вкривь бурили. Я вот никак не могу его, этого самого вашего бурмастера, заставить юз спускать как следует. И кроме того...

В буровой было так же холодно, как и на дворе. Пожалуй, еще холоднее. Окоченевший Архипов стоял у потенциометра и, напряженно следя за колебанием стрелок, быстро и отрывисто вращал ручку прибора. Бумажная лента шла через барабан, и карандаш чертил по ней острые зигзаги.

Сурену Григорьевичу не стоялось на месте.

«Ага, — заметил писатель, — что-то и тебя начинает заедать. Вероятно, волнует ожидаемый омаж».

— Ну как? — спрашивает Сурен Григорьевич.

Но Архипов не отвечает. Он сосредоточенно следит за прибором. Глубинная, скрытая от глаз, жизнь буровой выходит наружу. Она ложится на бумагу косыми линиями, и за ними встают отдельные пласты, пачки, глина, нефть, вода, пески.

В геологическое бюро возвращаются уже поздно ночью. Квадратная каюта Сурена Григорьевича доотказа заполняется карроттажниками. Архипов сидит за столом и уже совершенно окоченевшими руками вычерчивает карроттажную диаграмму.

— Сопротивление тринадцать ом. Везет же этому Миаджику, — воскликнул Архипов. Писатель смотрит на молодого геолога. Геологу хочется быть равнодушным, но из этого ничего не получается. Как капитан, только что переживший бурю и хорошо справившийся с нею, он вдруг размякает, становится болтливым и начинает шутить. Архипов уезжает? Как? Так поздно ночью? Спешит? Правда, укладывать не на что — постелей нет, но без ужина он их не отпустит. В столовой уже заказано. Вот он еще раз распорядится.

Сурен Григорьевич выходит, раскрывает дверь, но ветер с силой вырывает ее из рук и яростно хлопает.

...Ураган свирепствует всю ночь. Снежные хлопья носятся по Кабристану, ветер бьет их о землю, снова поднимает, и земля попрежнему суха, пустынна и безжизненна.

Выждав затишье, Муллаев выезжает в Миаджик. От чувства одиночества, захватывавшего его в эти дни, не осталось и следа. Он вспоминает о детях. Ему всегда было больно покидать их, выезжая на разведку. Но не

они были виновниками острого напряжения. Это была минутная слабость, и Муллаев понял, откуда она: забой буровой № 2 подходил к шестистам шестидесяти пяти метрам, к глубине, на которой буровая должна была обязательно начать активно проявлять себя. Но буровая молчала...

И вот ночью, когда циклон закружил снежные хлопья, вчера ночью была первая весточка.

Взволнованный голос Сурена Григорьевича сообщал:

— Тринадцать ом!

Муллаев встал и больше не мог заснуть.

Через час новый звонок:

— При спуске инструментов буровая сделала выброс нефти.

Муллаев бросился к гаражу. Он хотел выехать к месту происшествия, но отступил: на широком просторе пустыни метался ветер.

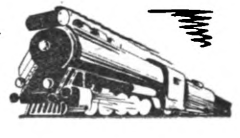
В соседней комнате от шума проснулась микрофаунистка. Она приподнялась, и с ее груди на пол упала аккуратная, в коричневом переплете книга: «Фораминиферы».



Трудно представить положение человечества на нынешнем этапе развития культуры без нефти. Если бы нефть внезапно иссякла в недрах, и человечество лишилось бы ее продуктов,—жизнь замерла бы.

Без бензина, лигроина и керосина аэропланы, автомобили и тракторы стали бы ненужной затеей.

Остановились бы все электростанции, лишившись масел (турбинное, трансформаторное), добываемых из нефти.

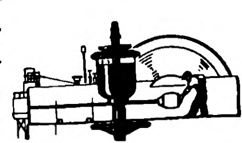


Прекратили бы движение все поезда и пароходы, работающие на нефтяном топливе.

Остановились бы все фабрики и заводы,—машины не стали бы работать без масла.

Города и деревни погрузились бы в темноту.

Человечество лишилось бы асфальта (дороги), нефтяного кокса (электродная и алюминиевая промышленность), парафина (спички, свечи, кондитерская промышленность), вазелина, сажи (тушь, типографская краска, резиновая промышленность), мылонафта (мыло). Все эти продукты, и еще огромное количество других, получаются из нефти.



судьба племени

З. Закиров

Древняя крепость Надир, построенная еще при Ширван-Шехе, похожа на мрачную башню молчальников. От стрельчатых бойниц, от ее стен с иероглифами тянутся извилистые улицы, шириною в восемь локтей, тихие и сиротливые, как руины. Не видно ни окон, ни дверей, ни деревца. Еле клубящаяся теплота, вся незатейливая первобытная жизнь стыдливо запрятана за камнями, за высокими заборами.

Приземистые лачуги с плоскими крышами, ушедшая вглубь земли баня, мечеть с длинным, несуразно торчащим минаретом. Все селение имело лишь две геометрические формы: прямую линию плоскостей, полушарие куполов Нагромождение из камня пепельно-серого цвета нагоняло скуку и сон. Улицы чуть расширялись лишь к мечети, к чайханэ, где уже могли пройти рядом три навьюченных осла. По этой улице сиротливо бродили остромордые собаки с вылезшей шерстью, с чесоточными язвами на тощем теле. Суровые, как саркофаг, каменные коробки служили убежищем нищего и убогого племени, гордо именовавшего себя Кэони-Мэрд — логовищем богатырей.

На крыше одной лачуги сидел, свесив босые ноги, старик Гюль-Оглан, а рядом молодая женщина, одетая в пестрые тряпки, палкой выбивала пыльный ковер. С высоты минарета раздался утренний тягучий крик муэдзина. В лохматой шапке, в рваной чухе, босоногий Гюль-Оглан не спеша слез с крыши. Во дворе, под смоковницей застыл он, мечтательно уставив глаза в одну точку, в той любимой позе старцев, которых можно и сейчас встретить в ордебатской бане или в ленкоранских москательных лавках, сидящими в сосредоточенной, молчаливой неподвижности.

...По зову муэдзина старики шли в мечеть. Шли они вдоль каменных заборов и крепостных развалин. Шли медленно, взмахивая руками, неповоротливые, седые, бледнолицые, с помутневшими от лачужной тьмы глазами. Лишь Гюль-Оглан остался у себя во дворе и молитвенно простер руки под одиноким деревцом. Он был нелюдим, не переносил толпы.

— Зачем показывать людям усердие своего сердца, предназначенное лишь одному богу, — часто говорил он своей жене.

Гюль-Оглан жил в низкой хибарке, состоящей из двух темных каморок. Жена его, хрупкая и молодая, справедливо именовалась Гюля-Батан — утопающая в цветах; смуглая женщина с изогнутыми ресницами над черными глазами и с волосами до пят. Неразговорчивая, робкая Гюля-Батан сидела всегда дома перед камельком, вечно озабоченная, занятая; она то сушила инжир на зиму, то молола фисташковые орехи, сопровождая каждое движение своей руки или громким пением или совсем тихим переливчатым фальцетом. Гюля-Батан любила песни и мужа. Перед каждой пятницей она пекла пунцовые лаваши, вкусно приправляя тесто анисом и сушеным шафраном, была такой аккуратной и работящей хозяйкой дома, каких правоверные мужья очень любят и крепко колотят. Так медленно и верно они вгоняют их в гроб. Но Гюль-Оглан ни разу не бил жены и не очень любил ее. Гюль-Оглан писал чужим женам молитвы против бесплодия и весь заработок отдавал Гюля-Батан. Он давно убедился, что его жена также страдает бесплодием, и никакие талисманы не в силах помочь ей. Однако, об этом он умышленно старался не думать.

После утреннего намаза улица заливалась криком:

— Аняст ки дэр, хаби ди дэр...

По улице чинно шел хромой оборванец Джафар-Кули. Он был длинный и тощий, медлительный в движениях, но



Чучело бека самодура

Карт. худ Азим Заде

ловкий в речах. Его поблекшие глаза и сморщенное лицо с жиденькой бородкой окаменели,— весь он являл собой облик уже исчезающих людей, которые лет пять назад на бакинском Куба-майдане за небольшую плату писали витиеватые письма, — и куда, куда только не уходила безутешная тоска, занесенная их рукою в пожелтевшие бумажные клочки. Нищие одежды рваной бахромой едва прикрывали костлявое тело Джафар-Кули. Впереди его пара облезлых ослов лениво ковыляла ногами.

— Эй вы, старые, молодые, — кричал Джафар-Кули. — Шах-Аббас великий. за праведные деяния прозванный Джанат-Мяканом, не смог обогатить исфаганского ткача, хотя и вручил ему целый горшок золота, ибо на это не было воли творца. Слушайте новости из Хазара и Ширвана. На золотник шафрана пять «абасы», на пучок лука и редиски — три «шаи» надбавили на прошлом базаре...

На крик Джафар-Кули из ворот, шлепая остроносыми башмаками, выходили женщины.

— Я видел сон, — творцом я был вознесен в небесный сад. В небесном саду на ветвях деревьев я видел чаши, наполненные маслом до края, и горели они ярким огнем. Это — счастливое предзнаменование судеб ваших.

Женщины плотнее окружали Джафар-Кули, а некоторые из них гладили взлохмаченные гривы ослов.

— Ослы эти не простые, — говорил он, — а хамаданские, на них когда-то восседал сам Шах-Аббас великий. Счастье ваше приедет на спинах этих ослов...

Старуха приоткрыла лицо, улыбнулась. Старуха спросила:

— Не видел ли ты в своем сне что-нибудь, радующее нас, вдов?

— В саду этом завивали локоны молодым женихам. Один из них, красавец, сказал мне: «Я скоро женюсь на беззубой Пустэ-Баджи»...

Женщины расхохотались. А Джафар-Кули, не изменяя выражения застывшего лица, все кричал:

— Аняст ки дэр, хаби ди дэр, — все это я видел во сне...

Убогий балагур Джафар-Кули таким криком ежедневно сзывал женщин, принимал от них лук, редиску, а иногда сушеный шафран и отвозил на бакинский базар. За речистость, за веселые шутки и, главное, за честность уважали его все женщины, они даже доверяли свои мелкие женские тайны. Засовывая зелень в корзины, перекинутые через спины ослов, часто шептали ему на ухо просьбы привезти тайно от мужей сурьму для окраски бровей или стеклянные побрякушки. Возвращаясь с базара, Джафар-Кули отдавал полностью вырученные деньги и брал себе только то, что ему предлагали за труд. Женщины любили с ним подолгу шутить, смеяться, ибо ни один муж еще не ревновал их к убогому погонщику ослов. В минуты встречи с Джафар-Кули женщины чувствовали себя счастливыми и так громко смеялись, словно их не ожидал маленький дворик, жалкий кусочек неба у смоковницы или фисташкового дерева, мрачный, замкнутый камнями мирок, где они проводили всю жизнь от колыбели до могилы.

Молодая женщина отозвала в сторону Джафар-Кули и украдкой сунула ему что-то мягкое, завязанное в тряпки. Джафар-Кули вопросительно взглянул на нее:

— Что это, Гюля-Батан?

— Ради повелителя, молчи, — шепнула женщина. — Не обесчесть меня, храни эту тайну, как свою. У меня в огороде ничего еще не созрело, а дома нет ни куска хлеба. Продай городским модницам эти локоны.

Всегда веселый Джафар-Кули понуро опустил голову:

— Это уже второй раз, — тихо сказал он. — Что же ты хочешь остаться совсем без волос?

— Что же делать. Ведь не голодать же моему Гюль-Оглану.

Джафар-Кули молча постоял, а затем запрятал пышные волосы в глубоком кармане. Он погнал ослов к чайханэ, мимо Гаджи-Багира, торговца фруктами. Гаджи-Багир сидел на корточках рядом с корзиной и пил чай маленькими глотками. Хромой осел задней ногой свалил его корзину и рассыпал фрукты. Торговец равнодушно взглянул на Джафар-Кули и сказал:

— Аллах простит. Вот я три года слышу твою сладкую речь. От нее твой

осел не стал умнее, а, наоборот, начал хромать и на заднюю ногу...

— Не от речей,— перебил его Джафар-Кули,—а от воли творца ослы станут мудрецами, убогое нищенство, — счастьем. Это случится тогда, когда и ты, скряга, станешь великодушным...

—

Медленно текла жизнь в курных хибарках. Смрадная вонь прелых тряпок и дым кизякового костра застилали темные жилища. Весною выходили из лачуг, как из нор, с заспанными глазами. Неторопливо шли на пашни. Царапали скрягу-землю, сеяли ячмень, сажали шафран на солончаковой почве. Редко сгущались облака на высоком небе и скупо падали дождем. Вокруг скрипучих чархов медленно кружились верблюды, — люди качали на поля воду из колодцев. Корявые руки часто простирались к небу, спекшиеся губы шептали слова суфического поэта Саади:

— Небо дает земле дождь, а земля небу пыль. Пахарь дает земле пот, а земля пахарю слезы. О, ты, ищущий хлеб насущный, не спеши, сядь, попользуйся зачерствелым комом земли, о, ты, человек, ищущий счастья на земле, не беги, тебя ищет смерть...

Крепко возненавидели кэони-мэрдцы землю и свою жизнь на ней.

В темные осенние ночи Гюль-Оглан видел, как закоулками и кривыми улицами пробирались кэони-мэрдцы в мечеть. Кэони-мэрдцы шли густой толпой с ритуальными знаменами, с ярко пылающими факелами в руках. И нелюдимый Гюль-Оглан, не вытерпев, иногда присоединялся к ним.

В мечети под огромным голубым, как небо, куполом молча застывали люди. В кругу их стоял Гаджи-Багир мэрсиячи — предводитель мистерии. Гаджи-Багир чавкал языком, шевелил бородой, крашенною хноей. Монотонно, похожим на плач голосом, он причитал о мученической смерти имама Хусейна:

— Да скорбят сердца, да зальются слезами очи над трагедией, совершившейся в месяц Мухаряме, и ключ, открывающий райские ворота, да будет в руках ваших...

Люди тяжело сгибали головы. Слушали молча, не глядя друг на друга. Мэрсиячи взбирался на момбэр, простирал руки к каменным сталактитам.

Однажды Фатьма, достойная дочь пророка Мухамеда, причесывая сына, увидела на гребне нечаянно вырванный волосок и разревелась. Один волосок, случайно вырванный из головы имама Хусейна, стал причиной обильного потока слез ее. О, люди, один лишь волос, один волосок. Нет, не волосы, а голова имама Хусейна снесена врагами шиитов...

В круг вышли дети, не по-детски серьезные, все в черном траурном одеянии. Дети закричали тонкими голосами. Дети приплясывали и били себя ладонями в грудь. К ним присоединились подростки, также в черных рубищах, с маленькими отверстиями на спинах. Подростки начали остервенело истязать себя цепями:

— Шах Хусейн, Вай Хусейн...

В верхней палате мечети, в толпе закутанных чадрами женщин, сперва послышались тихие всхлипывания, а затем поднялся рев. Женщины громко кричали, со слезами на глазах царапали свое лицо и выдергивали волосы:

— Шах Хусейн, Вай Хусейн...

А потом вошли в круг бородачи, за ними юноши в белых как саван балахонах. Впереди их шел Джафар-Кули — нищий погонщик ослов. На обнаженном до пояса теле, на руках были приколоты замки, кольца и шомпола, на которых жарят шашлык. Он странно шевелил нечесанную бороду, выкатывал покрасневшие глаза и кричал:

— Слезы не мед, не тают во рту, слезы очищают сердце от тоски. А кровь — перл вечной красы и утешение от горя...

И босыми ногами закружился Джафар-Кули в страшной пляске. Вот он сильно размахнул рукой и первый ударил кинжалом по своей бритой голове.

— Шах Хусейн, Вай Хусейн..

Сильнее разрастался крик. Среди кружащейся плачущей толпы деловито сновали мальчики-водоносы. Мальчики были разодеты в пестрые парчевые одежды, у них были длинные завитые волосы. В руках они держали графины, пузатые стаканчики с розовой водой. Мальчики улыбались и предлагали истомившимся прохладные напитки.

— Не забывайте о жажде имама Хусейна, — кричал мэрсиячи Гаджи-Багир.

На лицах самоистязающихся уже не было ни печали, ни ужаса. Все блаженно улыбались и кружились в дикой пляске, бесчувственные, как курильщики гашиша. Кровь текла со лбов, кровь свертывалась на коврах. И от стона и воплей вздрагивал зал:

— Шах Хусейн, Вай Хусейн...

Гюль-Оглан стоял у двери, прислонившись к стене. Молча наблюдал он за резней, за кровавой пляской толпы. В темном углу он услышал зловещий шопот и обернулся. Несколько женщин тянули за ноги уже замертво павших — первые три жертвы мистерии. Один из них—красивый юноша — тупо смотрел на потолок еще с полуоткрытыми глазами, но уже с искаженным мертвым лицом. Мать без слез тянула его за руки, волокла ногами по полу. К ней подбежал Джафар-Кули и резко оттолкнул ее от трупа:

— Уйди. Не трогай его поганой рукой...

Джафар-Кули поник головой, и капля крови с его обритого черепа упала на красивое лицо мертвеца. Джафар-Кули поднял несуразно длинные руки и обратился к толпе:

— Кроме двух ослов и греха ничего не имел я на свете. Но щедр и милосерден творец, и я, бедняк Джафар-Кули, сейчас имею святого сына...

И тогда не выдержал Гюль-Оглан, поднялся над толпой. Сбросил с головы папаху и в отчаянии, притоптывая ногами, крикнул:

— О, хранители богатырского логовища... Из каждого кувшина проливается только то, что в нем налито. Земля, прозванная нами Кэони-Мэрд, несчастна, в нее налит яд.

Перед ним вырос грузный и свирепый Гаджи-Багир. Взмахнув рукой, он ударил Гюль-Оглана и крикнул:

— Не богохульствуй, Гюль-Оглан. Вот уже десять лет ты пишешь чужим женам талисманы, а твоя жена все бездетна...

Гюль-Оглана окружила толпа. Его колотили в затылок и грудь, били по лицу. От обиды, от слов Гаджи-Багира, он уже не чувствовал физической боли и даже не заметил, как вытолкнули его за дверь.

... На рассвете Гюля-Батан увидела мужа и испугалась. Без шапки, с синяками под глазами, шумно ходил Гюль-Оглан взад и вперед по конуре. Ходил, чуть покачиваясь, нервно покусывая пальцы, молчаливый и суровый. В такие минуты правоверные мужья без лишних слез вьют плети из конских хвостов и от горя и тоски истязают жен. Гюля-Батан робко смотрела на мужа и ждала первого окрика. Но Гюль-Оглан все ходил по конуре и не кричал. Вот, наконец, по привычке он сел с ней рядом и тихо сказал:

— Решил я изменить профессию свою... Надо купить баранов и заняться скотоводческим трудом...

И Гюль-Оглан застыл, не глядя на жену. Томительно долго шли минуты. Гюля-Батан молча ждала. Наконец, Гюль-Оглан шевельнулся, взглянул на жену и также тихо сказал:

— Жена без детей — смоковница без инжира, и не видел я садовника, который не подрубал бы корни бесплодных кустов. Согрешу я, рубить тебя не стану, ибо благочестивы были родители твои. Да простит нас милосердный, вездесущий, чьей волей разлучаемся мы...

Гюля-Батан тихо, без слез, заплакала. Тревожно забегали ее глаза, зашевелились чуть влажные ресницы. Она взглянула на мужа, а затем сказала:

— Там в шкатулке наши сбережения от проданных... редиски и лука. Пригодится тебе на черный день, на старость.

Она постояла у дверей, сжав под локтем все свои тряпки. Последний раз окинула взором каморку и покинула мужа.

—

От Сураханов до мардакянских виноградников тянется унылая и мертвая пустыня. В ней песчаные дюны, мутножелтые, как верблюжья шерсть, омываются вечно живым, восплескивающим морем. С осени до поздней весны пустыня покрывается осоковой порослью, а местами хохлатыми травами кровниц и горицветов, пока их не выжигает суховейный ветер-гермиш. На рассвете равнину оглашает блеяние

овечьих гуртов, вой сторожевых собак, приветствующих беззвучный пожар загорающегося дня. И тогда просыпается и медленно приоткрывает глаза пастух Гюль-Оглан. Проснувшись, он долго лежит в дыгяне — неглубокой собачьей яме, не двигаясь, не шевелясь.

Гюль-Оглан презирал людей и любил скот, мертвую землю и покатые горы в ней. Суровым пастухом жил он бок-о-бок со своим скотом и, устремив взор на утреннюю звезду, потухающую в лучах рождающегося дня, шептал певучие слова стихов.

Вокруг пастуха кружатся сторожевые псы, смотрят в лицо старика, в глаза, обильно истекающие слезами.

—

...Вдали по зыбучим пескам, по желтым стерням горицвета, по выцветшим синевицам — пробирался геолог. Он шагал, перепрыгивая через выбоины, через расщелины земли, огибал грязевые сопки и холмики, знакомые ему, как линии собственной ладони.

О разведках, о работе его ходили нехорошие слухи. Молчание, скрытые улыбки, шопот, а затем ехидные выкрики по адресу покровителя разведок проф. Голубятникова еще до сих пор вызывали в нем злобу.

Этот профессор — геолог с мировым именем — и сейчас еще стоял перед его глазами.

Вчера на совещании рассказал об итогах разведки на Кала. Он начал тихо, по-стариковски покряхтывая:

«Наличие благоприятной тектонической формы, куполообразный свод апшеронского яруса, сопровождающийся многочисленными выходами газа, создают сходство Калинского месторождения с Сураханами, а отсюда и предпосылки для разведки. Разведочные бурения начались в 1904 году, и девять скважин с общей глубиной в четыре тысячи метров, заложенные фирмами Нобель и Бенкендорф, нефти не встретили. Одиннадцать скважин, заложенные после советизации пока также не обнаружили нефти, за исключением нескольких газовых фонтанов...» И тут раздались выкрики: «Тридцать лет разведочного бурения, — крикнул кто-то, — невидано, неслыхано в истории!» «Это ловкость рук, легкость мысли!», «Мошенничество!», «Прожектерство, граничащее с вредительством».

Проф. Голубятников, чье имя и многотомные классические труды по тектонике Кавказа вызывали величайшее уважение в геологическом мире, сконфуженно согнулся и выронил бумагу из дрожащих рук. Жалко вздернулись его плечи, качнулась седая голова. Растерянно озирался он по сторонам, искал поддержки среди этих людей, которые нередко вылезали из щекотливых положений благодаря его авторитету. Хмурое молчание и опущенные глаза были ему ответом. Тяжело задумавшись, долго стоял проф. Голубятников, он хорошо знал в эту минуту, что его авторитет может пошатнуться. Холодные юные глаза блеснули, и сурово сжались брови:

— А все-таки там нефть, — почти крикнул он.

—

...Вдруг оборвались певучие слова стихов. Сторожевые псы, окружавшие пастуха, сорвались с места, свирепым лаем оглашая степь. Глаза пастуха скользнули по земле, — длинная тень легла на пески.

Пастух лежал в той же позе и лениво поглядывал то на собак, то на незнакомца. Легкая улыбка жалости пробежала по старческому лицу. Он видал подобных людей, он даже знал их привычки. Каждый из них, побывав во всех углах пустыни, облюбовывал потом Калинское озеро. За ними приходили бурильщики, сверлили землю в тяжелом труде.

Вначале деловая сутолока и грохот пугали пастуха; непонятные люди с непонятными машинами могли завладеть степью. И тогда здесь, как и в Сураханах, появится нефть, земля пропитается вонью, по ней будут шататься пьяные люди и бедняки так же, как пьяные, от усталости. Вырастут дворцы, прохладные чайханэ и за высокие стены, в сады с фонтанами заманят мальчиков и девушек, а за ослушание посадят их на колы. Жизнь племени Кэони-Мэрд станет не только тяжелой, но и постылой и срамотной. Так думал пастух, видя пришельцев.

Опасения скоро улеглись. Пришельцы проклинали Калинское озеро и, не

добившись своего, оставляли вышки на дрова пастуху. Незнакомец, отбивающийся сейчас от собак, был уже одиннадцатым, которых видел пастух в этой пустыне.

Пастух чмокнул языком и свистом отозвал собак. Он остановил свой взгляд на незнакомце и, взглянув на юхтовые сапоги его, пробормотал:

— Новые сапоги, жалко попусту износит.

В расстегнутой косоворотке, с покрасневшим лицом, с взъерошенными волосами, будто только что вышедший из рукопашного боя, геолог устало сел у костра. Пастух, не глядя на него, молча курил, иногда пальцем выбивал пепел из трубки. Пылал костер. Глаза двух человек, встретившихся вдали от людей, смотрели на дым, на синее пламя, вздутое ветром, как копна девичьих волос.

Занятые каждый своими мыслями, они забывали подкладывать поленья в уже потухающий костер и как бы не замечали друг друга.

— Тридцать лет разведочного бурения, — воскликнул геолог. — Все газ, да газ—дым без огня. А где же нефть?

Пастух прислушался к словам незнакомца, взглянул в лицо его и засмеялся.

— Запах мускуса, — громко сказал он, — слышен раньше, чем крик продавца.

Геолог неожиданно качнул головой. Улыбка скользнула с губ. Он встал, просветленный внезапной мыслью. Почему же нефть должна быть именно здесь у озера, где выделяются газы. Ведь газы любят пустоту, газы могут мигрировать из других геологических пластов, притти из соседних куполов. Газы — это не «мускус», газ — это ложный след, как злой рок путавший мысли геолога.

— А где же этот купол, — бормотал он.

Геолог бросил взгляд под ноги пастуха, на дыган — собачью яму. В неглубокой, похожей на шурф, яме геолог заметил известняковый пласт, волнообразной пологостью идущий с запада на север. Геолог толкнул ногой и посыпался обломленный край ямы. Два человека, встретившиеся в Калинской пустыне, увидели отпечаток огромной рыбы на обнаженной породе. На сверкающем от солнца окаменелом отпечатке каждый из них читал свою мысль; геолог видел окаменелый хаос веков, а пастух — парусную шхуну, простор и ширь Каспия с живыми прыгающими рыбами.

Пастух медленно встал, сгреб ногою песок в костер. Согнал овец в кучу и медленно поплелся по овечьей тропе за стадом. Вперед пошли лохматые собаки, за ними козы, за козами — овцы, крохотными ножками поднимая пыль. Пастух шел в Алты-Агачские горы, на тучные луга, он покидал пустыню и знойное лето.

В раздумьи застыл геолог. Фуражка сползла на затылок, лицо побагровело, на лбу выступили капельки пота.

— Где же купол? — все шептал он.

Пастух остановился, издали крикнул.

— Слышал я, как молла Насрудин, навьючив непосильным грузом осла, пытался превратить его в верблюда, — и мертвой падалью слег этот осел. Сколько бы ты ни рылся в этом пастбище, ничего, кроме падали, кроме мертвых рыб не найдешь в ней.

Поднялся ветер, в пустыне вихрем закружилась пыль.

—

От ветра, от кружащейся пыли заколыхались верблюжьи колючки, срывались бледноватые листья червяниц. Гарминш — суховейный ветер — поднимал высокие волны и с силой бросал их на берег. Геолог стоял с поникшей головой, прислушиваясь к разрастающемуся грохоту моря.

...Геолог Толбин был грубоват и неловок в движениях, как человек, таящий в себе большую силу. Задумчивость делала его зеленоватые глаза слегка раскосыми. Над бровями собирались морщины, и вспыхивали глаза. Глаза скользили по окружающим предметам, но не видели ничего. Он шел по пустыне, как бы слепо ощупывая ногами землю. Вот он обогнул озеро, поднялся на бугор, тут в недрах земли остатки древней Каспийской террасы граничили с бурыми глинами, а дальше известняки смешивались с

Ушедший Баку



Деллях цирульник



Шэрбэтчи, продавец напитков—рис.

худ. Азим Задэ



Баку. Дом в Арменикенде

вулканическими пеплами. Вряд ли рыбак Толбин, его отец, знал так свою утлую шхуну, как его сын-геолог подземные глубины этой пустыни.

Неприметные, часто ускользающие от равнодушных взоров, мелочи, незначительные факты, когда-то примеченные его глазами, сейчас слагались в стройные явления, вплетались в ткань ясных и точных формул. В песчаном бугре он видел берега исчезнувшего моря, в отпечатках микрофауны—жизнь, теплившуюся в дни невозвратных тысячелетий. Время уже не измерялось им стрелками примитивных часов, а складывалось в пестрые чередования пластов земли.

У буровой, похожей на сторожевую башню, геолог внезапно остановился и отпрянул назад. Два факта припомнились ему и так сильно его смутили. Песок из забоя этой скважины, пробуренной его предшественниками, имел такую ржаво-бурую окраску, что трудно было поверить, будто эти породы взяты из глубины в тысячу метров. Такое окисление пород могло служить лишним доводом, что эти пласты континентальные, то есть произошли отложением мелководья. В этих породах не было даже следов серного колчедана, так часто встречающегося в нефтяных пластах, зато они содержали много сульфата в виде кристаллов гипса. И буровые воды также были сильно насыщены сульфатом. А между тем вода нефтяных земель, как это широко известно, характерна бедностью сульфата. Причину этого явления научная мысль видела не в геологии, а в биологии, — в изумительном процессе дессульфирующих бактерий. Первая ли тварь, возникшая в воде от первых световых лучей, или более поздняя разновидность плазмы когда-то начала жить на дне моря. Время то вулканическими ударами сотрясало землю, то медленно выветривало горы и глину превратило в драгоценные сапфиры, жизнь морей — в нефть. И жизнь исчезнувших морей не исчезала, она продолжается по сей день в недрах нефтяных месторождений.

Долго бродил геолог по пустыне, не заметив, как скрылось солнце и затих ветер. Внезапно, точно разбуженный, поднял он голову вверх к черному небосводу, и взгляд его встретил ярко сиявшую на небе синюю звезду.

Взмахнув рукою, он стер мелкий пот со лба, словно хотел этим жестом заглушить мысли, мчащиеся в стремительном полете.

В пустыне засверкали фары, тревожно взывала сирена. Он, шатаясь, подошел к автомашине, грузно опустился на сидение. Рычал мотор, покачивалась земля, бежала ночь навстречу машине. Ночь посвистывала холодными ветрами. Шофер все нажимал на газ, тревожно поглядывая на молчаливого геолога:

— Что с вами, Иосиф Ильич?

— Болен я, очень болен, — зазвучал голос, грубый и почти враждебный.

И с этого дня геолог перестал улыбаться, отказался видеть друзей, стал неразговорчивым, угрюмым, как отшельник. На десять дней он заперся в своей комнате и не отвечал на телефонные звонки. Тихо, на цыпочках, подходила жена, подавала ему пищу три раза в день. Она видела его в табачном дыму, с каждым днем худеющего, с пожелтевшим лицом и с впалыми глазами. Поздно ночью слышала она бесконечный топот ног; геолог встревоженно ходил взад и вперед по комнате и вел с кем-то беседу. Встревоженная жена звонила по телефону, вызывала на дом врачей:

— Уйдите, оставьте меня в покое,— кричал геолог и садился за письменный стол.

Из-под его руки и волосяной кисти на планшете рождались целые тектонические картины. Темный, скрытый от глаз, подземный рельеф уже обнажался в анатомическом разрезе. И вот, кропотливый труд, бессонные ночи, проведенные с потухшей папиросой во рту, анализ десятков мелких, непримеченных глазами его предшественников, фактов, наконец привели его к простым началам сложных тектонических законов.

Цвет пород, менявшихся по скважинам в северо-западном направлении с ржаво-бурого на серый, указал путь к нефти. Структурная карта, еще сверкающая от свежих красок, наброшенных его рукой, говорила, что купол — повышенная часть участка, лучшие

нефтеносные породы — находится в двух километрах к северо-западу от озера Кала, от мест разведок.

—

Однажды, в осеннее утро, в пустыне солнце грело по-весеннему ласково. Геолог в белоснежном воротничке и брезентовом плаще ловко выплюнул недокуренную папиросу и медленно шагнул к грохочущей буровой. Сквозь легкое позвякивание свеч, сквозь урчание ротора он уловил заглушенное шипение и стремительно побежал к бурильщику. Не успел геолог крикнуть в его ухо «качать раствор», как вдруг раздался оглушительный подземный гул. Кто-то из рабочих пронзительно свистнул, кто-то кого-то выругал зычным окриком, упоминая бога и гроб... Длинные бурильные трубы с неудержимой силой вылетали из скважины.

Прозрачный воздух наполнился легким туманом беспрерывно вздымающегося газа, а по степному простору разносился гул и грохот встревоженных недр.

Приморская равнина, две тысячи лет назад приютившая воинов Помпея, шестьсот лет назад — диких всадников хромого Тимура, и на протяжении многих веков лениво созерцавшая убогую жизнь племени Кэопи-Мэрд, содрогнулась и закачалась, продырявленная долотьями.

Тенью взметнулся в сторону геолог:

— Будь она проклята, опять газ!

Снова задрожала земля, затем с треском разбилась вышка, и в щепки разлетелись доски.

У согнутых труб, у разбитых бревен стоял геолог, стиснув зубы, сжав кулаки, точно готовясь вступить в драку.

Вот у кратера сначала разлетелись пески и камни, а затем огромный черный столб поднялся ввысь.

В непромокаемых сапогах, по колена в журчащем ручейке стоял геолог. Медленно согнувшись, он обмакнул палец в жидкость — и так принял первую каплю нефти.

Лучи падали на палец и, переливаясь, играли на капле. Это была причудливая оптическая игра световых переливов, игра химических тел холестерина, волнующего тайной происхождения, изумительного вещества, находимого лишь в нефти, яичном желтке и мозге человека.

Он увидел свою простертую руку, свой палец, сверкающую на нем каплю нефти дрожащими в сизом слегка дымчатом воздухе, четко выделяющимися среди бегущих туч и сломанных труб.

Он понял, что мысль, рожденная от случайно брошенной пастухом фразы, воплотилась в ощутимую, весомую материю — нефть. И эта же мысль скоро обратится в партийный план, а план — в трудовой порыв. Сотни вышек, тысячи метров труб скуют пустыню. Крик, топот, шипение недр и громыхание роторов — сложная промысловая симфония зальет пустыню. Нефть потечет из сотен скважин. Нефть высосут глубокие насосы, нефть захлюпает в трубах. Нефть эта станет исходной точкой индустриального движения.

— Иосиф Ильич! — зычно крикнул кто-то сквозь грохот недр.

Геолог увидел сутуловатого бурильщика, погрузившегося также по колено в нефть. Около бурильщика нефть журчала ручейком, нефть разливалась живописным каскадом. Нефть образовала уже огромное озеро в пустыне.

— Это преступление — так разливать нефть, — кричал бурильщик. Надо найти людей, протянуть нефтепровод до Сураханов!

—

Придавленный глухой подземный гул доносился до селения. Земля слегка вздрогнула, и задрожали стекла жилищ. Словно на пожаре, тревожно завыли псы. Из лачуг, из хибарок торопливо вылезали люди. Плоские крыши наполнялись детьми и закутанными женщинами. Беспокойные взоры стремились к синему контуру моря, к вышке, рокочущей фонтаном.

По узким и извилистым улицам кубарем катился мальчик, спешил к мечети, к чайханэ, чтобы первым сообщить новость и получить пешкеш. Мальчик, задыхаясь, вбежал в круг толпы и крикнул:

— В Кала появилась нефть!

Немым и неподвижным остался круг толпы. Мальчик постоял, растерянно засунув палец в рот и, увидев молчаливых людей, исподлобья глядевших на него, отвернулся и мрачно поплелся по улице.

— Ты получил бы больше, — крикнул в след мальчику кто-то из толпы, — если бы сообщил о смерти твоего отца.

На крышах задвигались пестрые тряпки, вытягивались любопытные женские головы. Среди них была и Гюля-Батан, вся в черном, с закрытым лицом. Она приоткрыла край покрывала, улыбнулась мальчику, поманила его к себе, указывая рукою на кисть винограда:

— Скажи, что там случилось? — спросила она. — Весь этот виноград и в придачу пять серебряных «абасы» получишь ты за это.

Мальчик торопливо протянул руки и, чувствуя всю важность своей персоны, влез в круг женщин.

— Из-под земли бьет там дым, а нефть, как море; все потонуло в волнах нефти...

Подкосились ноги дряхлой старухи, задрожало все ее тело. Она ударила себя в грудь и завопила:

— Я видела во сне, как море надвинулось на долину, дома и сады потонули в воде. Горе, великое горе постигло племя...

Гюля-Батан удивленно взглянула на старуху, на дрожащие ее плечи и залилась хохотом:

— Вот несчастная, — сказала она. — Как пуганая ворона боится своей тени. Нефть даст твоему мужу заработок, а тебе шелковый кялагай.

— Свихнулась старуха, — сказали женщины.

Громыхая колесами, подкатил шарабан к мечети. Вылез из него геолог, весь забрызганный нефтью. Вошел в круг молчаливых сельчан. Сотни враждебных глаз глядели на него. И было заметно, как среди оборванных сельчан шевелились упитанные, крепкосложенные старцы, пугливо озирались по сторонам, дергали полы одежды и осторожно нашептывали:

— А что будет с садами, с домами...

— Все снесут...

— Лишится племя своих полей...

— Племя разорится, племя пойдет по миру...

Геолог беспокойно топтался в кругу собравшихся, искал глазами в толпе хотя бы одного дружелюбно настроенного к нему. Все сидели молча, не шевелясь, поджав ноги под себя, с поникшими головами. И трудно было понять их мысли под папахами, надвинутыми по самые уши. Геолог наморщил лоб, слегка приоткрыл рот, но не нашел нужных слов. Долго стоял он немой и неподвижный, стараясь смелее смотреть в глаза людей. И вот встретился он с черными глазами седого старика, на корточках восседавшего в середине толпы. Не моргая впился в него глазами. Не вытерпел старик Гаджи-Багир пронизывающего взгляда, шевельнулся, встал. Согнувшись всем телом, точно под тяжелым грузом, он простер большие исполосанные рубцами руки:

— Племя Кэони-Мэрд большим трудом создало оазис на этой бесплодной земле. Труд предков и рук наших, труд десятков поколений вложен в эти сады, в эти дома, в скотные дворы и во всю нашу живность. Ты хочешь лишить нас благ нашего труда, снести дома, сады и стереть следы наших отцовских могил.

Гаджи-Багир замолк, пристально взглянул на толпу. Геолог следил за его взглядом и заметил потупившиеся лица, услышал нарастающий шопот и тогда понял, что нужно немедля кричать что-то громко и решительно:

— Неправда! — крикнул он точно чужим голосом. — Ни один сад и ни один дом не будет снесен без согласия хозяина, без возмездия за убытки.

Он посмотрел на толпу, в ней не слышались больше злобные шопоты. И заговорил уже тихо и спокойно:

— Нам нужна помощь ваших рук, ваших лошадей, ваших верблюдов, чтобы протянуть нефтепровод от Кала к Сураханам. Пять вагонов муки, сахара, много мануфактуры уже грузится в Черном городе.

К нему подошел Гаджи-Багир и льстиво улыбнулся. Старик потянул за руки геолога, посадил рядом с собой и громко сказал:

— Никто не будет работать, пока своими глазами не увидим упомянутых вами благ, ибо никто еще не покупал себе верблюда с завязанными глазами...

— Мы хотим знать, крик этот — не грохот ли барабана, который изнутри пуст и ничтожен...

— Мы хотим видеть товары.

Гаджи-Багир властно поднял руки и крикнул:

— Не криком сотни глоток, а разумом одной головы решаются серьезные дела. Если среди вас есть такая светлая голова, пусть да выйдет сюда и возьмет на себя всю ответственность за судьбу племени Кэони-Мэрд...

Гаджи-Багир кинул взгляд на толпу и, заметив, что люди замолкли, снова заговорил с геологом. Говорил он тихо, малословно, взвешивая каждое свое слово. Гаджи-Багир вел тонкую политику, хитрыми наводящими вопросами справился о размерах вознаграждения за его посредничество. А геолог все молчал. И тогда снова Гаджи-Багир громко обратился к толпе:

— Народ худой, маломощный, сначала его надо хорошенько подкормить, тогда он возьмется за работу. Фунт сахара на Куба-майдане стоит семь рублей, пуд муки сто. Все дорого, очень дорого, и никто не согласится работать меньше, чем за пятьдесят рублей в день...

— У каждого, сад и осел!—кричали из толпы.

— У каждого много забот по хозяйству!

— Меньше пятидесяти рублей не согласимся!

Геолог заметил, как толпа снова смыкалась плечо к плечу и враждебно поглядывала на него. Старцы снова озирались по сторонам, дергали полы одежды и осторожно нашептывали:

— Никто не должен согласиться...

— Никто не должен итти меньше, чем за пятьдесят рублей...

Геолог поднялся, вышел из круга толпы и торопливо сел в шарабан. И вдруг за мечетью он увидел кучу женщин с лопатами в руках с детьми за плечами. Впереди шла низкорослая хрупкая Гюля-Батан и криком подбадривала робко идущих подруг.

— Не папаха красит мужчину, а смелые дела. А у мужчин наших нет ни смелости, ни зрячего глаза. Не видят они детей и жен своих, сидящих без ломтика хлеба...

Вздрогнула толпа, и в круг вышел убогий хромой Джафар-Кули:

— У бедняка Джафар-Кули нет забот, нет осла во дворе и нет кипяченой воды в закопченном котле. Таких бедняков, как я, здесь больше половины. Кто не хочет посрамиться перед женами и детьми пусть последует за мной.

Он шагнул, прихрамывая, догнал женщин. За ним робко пошли еще несколько человек. И не прошло пяти минут, как вся огромная многоликая толпа двинулась к берегу моря, к вышке, грохочущей фонтаном.

Шли женщины, за ними шагали мужчины, за мужчинами верблюды, за ними кони, запряженные в высокие двуколки. Впереди шла Гюля-Батан, с полуоткрытым лицом, с туберкулезным румянцем на впалых щеках. Ветер шевелил ее черное платье и зеленую шаль, накинутую на худые плечи.

У мечети, у чайханэ одиноко и неподвижно стоял Гаджи-Багир. Он смотрел на черные пятна двигающейся вдали толпы помутневшими от кизякового дыма и ненависти глазами.

—

Лето прошло внезапно. В случке и стрижке овец, в жаркие дни в тени деревьев, с несмолкаемой песнью Гюль-Оглан не замечал дней. А тучные луга по утрам уже покрывались белесоватым инеем, и далекие горы уже студено дрожали в морозной истоме.

На зеленой лужайке, у медного тазика три собаки лакали похлебку. Старый пес недвижимо лежал вдали. Забеспокоился Гюль-Оглан — уж не болен ли его любимый пес. Гюль-Оглан нащупал около себя длинную палку и встал. Он слегка ударил пса по боку и крикнул:

— Топтых, встать...

Большая, кавказская овчарка огненно-рыжей масти, с гладкой мордой и лохматыми лапами, похожая на медведя, по окрику пастуха встала и спокойно начала ходить вокруг него. Бодрая

походка и гордо поднятая голова пса рассеяли опасения Гюль-Оглана. Он хотел уйти к стаду, но собака внезапно завыла. Пастух обернулся, взглянул на пса. Пес мотнул головой и гладкой приплюснутой мордой уставился на пастуха. Странно, не по-животному осмысленно заблестели масляничные щелочки собачьих глаз. Долго всматривался в них Гюль-Оглан, не в силах понять бессловесные собачьи предчувствия, но смутная тревога и суеверный страх одолели его.

В позапрошлом году, перед спуском на низменность так же завыл этот пес, так же смотрел на Гюль-Оглана. И тогда вся зима выла метелями, снежными буранами, овцы и ягнята падали от мороза, и сам пастух, внезапно сваленный болезнью, три недели лежал в горячем бреду. Надо было что-то предпринять, чтобы согнать дурной глаз от стада.

Пес все еще смотрел на него и продолжал тревожно выть. Старик топнул ногой и крикнул:

— Цыц! Что ты воешь, как облезлый осел? Человек или собака встретят на своем пути только то, что положено милосердной рукой.

Старик медленно поплелся к речке, к стаду. Среди овец, тихо щиплющих утоптанную траву, он поймал за курдюк барана.

Пастух развернул переметную суму и начал затейливо красить белую шерсть барана. Баран, слегка прижатый коленом пастуха, спокойно дышал, и ковровые краски яркими пятнами ложились на его шерсть.

Увлеченный своей работой, пастух уже забыл загадочный вой собаки и свой тревожный испуг. От шестидесяти окотных овец — шестьдесят семь ягнят за лето, — этот обильный приплод повеселил старика, он хотел покинуть горы с бараном, с вызолоченными рогами, впереди стада. Вот он подойдет к селению, где уже не был два года, и каждый с завистью посмотрит на него, на сытый гурт. Среди них и Гюля-Батан украдкой поднимет край платка, взглянет на него, на ягнят и не выдержит, вечером придет к нему в лачугу. И пастух мяткосердечно простит ее порок. Снова в тиши хибарки зашелестит платье, сядет она перед пылающим камельком и на цветном подносе много блюд с кюфтой, с пучками лука и барбарисом положит перед Гюль-Огланом: «Ешь, мой покровитель. Вся эта снедь приготовлена рукою твоей любимой Гюля-Батан,— с улыбкой скажет она.

Пастух ласково защекотал пах барана:

— Лежи, мой ненаглядный.

Баран, заблеяв, встал и взметнул головой и вызолоченными рогами. Баран шагнул к стаду, чинно и гордо покачивая раскрашенную шерсть, похожую на свадебный попон.

Тихий утренний ветерок без шума зашевелил сухие бурьяны, беззвучно брызнули капли растаявшего инея. Пастух свистнул, взмахнул палкой, согнал овец в кучу. Остановился он рядом со стадом, задумчиво почесал затылок, будто забыл еще что-то сделать, а затем уставился в синюю даль. Еще не показалось солнце, но уже весь восток залился багрянцем зари, и засияли снежные вершины ближайших гор. В дымчатой дали, где горные отроги выделялись в синем мареве, ничто не колыхалось, не двигалось. Суровый и молчаливый пастух поклонился в пояс горам.

Овцы и бараны перестали щипать траву, изумленно и пугливо подняв мокрые морды к старику. Он простер руки к горам и пал ниц, бормоча неясные слова, стучал лбом о землю.

Когда брызнули первые лучи солнца, овцы по крику и свисту пастуха выстроились волнующейся лентой. Впереди пошел раскрашенный баран, за ним козы, за козами овцы, за овцами зашагал навьюченный осел. Гюль-Оглан, не спеша, шел позади стада, спокойно потягивая дым из трубки.

Узкая овечья тропа тянулась вдоль горного ручейка, глубоких оврагов и, извиваясь змеей, уходила в покатую степь, в ширванскую пустыню. Вдоль тропы, по которой шел пастух со стадом, возвышались песчаные холмики, небольшие известняковые горы. На песках, на дороге иногда ползли черепахи, валялись змеиные шкуры и следы джайранового стада терялись в степи.

На другой день к полудню в далеком дымчатом тумане пастух увидел море и черный дым, заслонивший черные вышки Сабунчи.

Пастух с криком забегал вокруг стада и круто свернул его налево, на скотопрогонную дорогу.

Пустыни и серые кряжистые горы, каждый валун, каждый кустик, вдоль которых медленно шагал Гюль-Оглан, были известны и знакомы ему. Вот дорожка пересекает его тропу, она ведет к Баладжарам, следы джайранов — на Алятские горы, а оттуда рукой подать на Ширванский булыжный шлях. Оттого ли, что все здесь было ему знакомо и понятно, или потому, что тропа эта пройдена им бесконечное множество раз, и он, старик, все еще живой, бодро шагал по ней — вся эта земля слегка пологая, покрытая зеленой травой, радовала пастуха. Он шел легким шагом, молодцевато взмахивал рукой, точно в пляске, оглашая степь заливчатой песнью.

И вдруг скотопрогонная дорога исчезла. Овцы непривычно заковыляли по асфальтовому шоссе. Пастух постоял, рассеянно и удивленно вытянул шею. Через минуту и он непривычно засеменил ногами. Гладкий, твердый асфальт неприятно давил мягкие верблюжьи лапти и ступни ног. Он шел за стадом, тревожно думая и озираясь по сторонам, и вдруг увидел... Город раскинулся в долине. Испуганно и растерянно остановился пастух, тоскливо поглядывая кругом, то на шоссе, то на город вдали.

Весь гурт сошел с шоссе, назойливо залаяли собаки, встревоженные остановкой хозяина. Поправив переметную суму за плечами, пастух снова шагнул. Вдоль дороги непрерывно гудели телефонные провода, кричали сиротливые галки. В голове пастуха помутнело. Он шел, ничего не видя, все увеличивая скорость шага, точно от быстроты ходьбы зависела разгадка его темных мыслей.

Мимо него промчалась машина, пронзительно прогудев сиреной. Пастух очнулся и увидел свое стадо, испуганно прижавшееся к каменной стене. Он стоял уже на широкой улице рядом с многоэтажными новыми домами. Тоскливо озираясь по сторонам, он увидел слоняющихся людей и среди них Джафар-Кули. Джафар-Кули шел, заложив руки за спину, походкой беззаботного человека. В новом ватном пиджаке, в каракулевой шапке, он был совсем не похож на робкого погонщика ослов. Джафар-Кули, заметив Гюль-Оглана, вежливо поклонился. В улыбке, в поклоне Джафар-Кули пастух уловил жалость к себе.

Джафар-Кули поднялся по лестнице, смело схватил медный поручень и быстро скрылся за дверью вестибюля. Пастух проводил его взглядом, удивленно пожал плечами. Он погнал овец по широкой улице, украдкой, с завистью поглядывая на большие окна домов. В раскрытых окнах между цветами и занавесками он видел смуглые женские головы, кудрявые волосы детей и слышал музыку и смех. В этих домах люди говорили непривычно тихо, совсем не похоже на говор желающих перекричать скотину. Да и шагали они как-то беззвучно, будто по мягким коврам.

В середине улицы Гюль-Оглан увидел сад, огороженный невысокой решеткой, через которую мог перешагнуть любой его ягненок. От удивления всплеснул руками пастух и остановился. В саду этом цвели молодые акации, олеандры и еще какие-то деревья, то с мясистыми листьями, то с игловидной хвоей.

В безмолвии, очарованный, смотрел пастух на деревья и, не выдержав, сорвал первый попавшийся под руки цветок.

И тогда перед ним предстал черноволосый мальчик в таких коротких штанишках, что даже стыдно стало пастуху. Мальчик вежливо улыбнулся и подал ему огрызок карандаша:

— Распишитесь, — сказал он, все еще улыбаясь. — С вас штраф — рубль. Цветы срывать не полагается...

Гюль-Оглан печально взглянул на мальчика и выронил цветок из дрожащих рук:

— А зачем же они растут, зачем?— залепетал пастух невпопад.

— Они посажены, чтобы украсить нашу жизнь...

И вдруг увидел... Город раскинулся в долине

Мальчик говорил долго, ясно и членораздельно, вежливым тоном и с заметно подчеркнутым снисхождением к пастуху. Слова мальчика раздражали старика, а от подчеркнутой вежливости ему было жалко самого себя.

— Вот тут распишитесь, — повторил мальчик, подавая книжонку пастуху.

Старик медленно облизал кончик карандаша и трясущейся рукой вывел свою подпись арабскими крючками. Мальчик взглянул на натуженное лицо пастуха, на кривые иероглифы и тихо засмеялся.

— За вашу темноту и отсталость, ваш поступок на первый раз прощаю...

Пастух густо покраснел и крикнул:

— Это ты меня, Гюль-Оглана, называешь темным, старым, меня, знающего наизусть весь Гюлистан и все тысячи четырехстиший Хаяма.

— А тридцать две латинских буквы не знаешь...

Пастух еще сильнее побагровел и сгорбился. Он постоял молча, растерянно, не зная куда деть большие черные руки.

В конце улицы за садом Гюль-Оглан увидел вдруг, как зашевелились пестрые точки и задвигались разноцветные колонны людей. Улицы залились криком и звонкой музыкой.

Мимо пастуха прошли стройные юноши, за ними девушки. Их лица были смело подняты к горячему солнцу, к ясному небу. В пестрых безрукавках с яркими знаменами в обнаженных руках, они шли победным маршем, легким широким шагом.

Пастух долго глядел на бесконечный людской поток, почувствовав вдруг всю тяжесть своего одиночества среди людей.

Шли уже женщины с раскрытыми лицами, со слегка поникшими головами. Они несли высоко над головами венки цветов. Позади них шли пожилые женщины, все в черном, неся в руках склоненные знамена и огромный длинный ящик, задрапированный красным сатином.

Гюль-Оглан взглянул туда и увидел прикрытые глаза, впалое лицо, утопающее в цветах. Восковая бледность и мертвая улыбка женщины испугали Гюль-Оглана страшным сходством с лицом Гюля-Батан. Пастух встрепенулся и испуганно отскочил от похоронной процессии. Спустя минуту успокоился, — покойница была совсем без волос, а он знал Гюля-Батан с пышными волосами до пят. Уже спокойным взглядом старик провожал похоронное шествие и, не увидев среди них ни одной плакальщицы, удивился.

— Так хорошо не хоронили еще ни одного мусульманина, — услышал он позади.

Гюль-Оглан обернулся, это снова был Джафар-Кули. Прислонившись к телеграфному столбу, он смотрел на пастуха, прищурив глаза.

— Не знаю, кто она, — заметил Гюль-Оглан, — блудница иль святая. Не вижу я среди провожающих ее ни одной плакальщицы.

— Ха-ха-ха!

Джафар-Кули расхохотался таким неудержимым и веселым раскатом смеха, что даже Гюль-Оглан отпрянул назад. Джафар-Кули по-дружески похлопал по его спине и сказал:

— А зачем плакать, зачем? Слезами не вернуть ее, как и небо не спустить на землю.

Гюль-Оглан вспомнил: неуклюжий Джафар-Кули с приколотыми кольцами и ржавыми замками на обнаженном теле, капля мутной крови на остром, как у мумии, носу и обезображенный труп у его ног. Гюль-Оглан ощутил в себе презрение к Джафар-Кули и былую жгучую ненависть.

— Слезы не мед, не тают во рту, — ехидно напомнил Гюль-Оглан крик погонщика на мистерии, — слезы очищают сердце от тоски. А кровь — перл вечной красы...

С лица Джафар-Кули исчезла беспечная улыбка. Он стал печальным.

— Не кощунствуй, Гюль-Оглан. Женщина эта умерла, как герой, для того, чтобы никто больше из племени Кэони-Мэрд не лил слезы, не истязал себя, и от голода и нищеты не шел на бесчестье... не торговал волосами своей жены, чтобы приобрести себе десяток баранов...

Гюль-Оглан ничего не сказал, он точно онемел в эту минуту. Он робко посмотрел на Джафар-Кули, а затем под ноги на лоснящийся асфальт, точно не верил ушам своим. И тогда неестественно поднялась его верхняя губа, и

оскалились зубы. Молча поклонившись, простился Джафар-Кули.

И вдруг Гюль-Оглан начал колотить палкой своих животных. Побежал с ревом осел, поскакали овцы, за овцами собаки, за ними козы.

За стадом шел Гюль-Оглан. Он шел, крепко прикусывая губы, не помня себя, не чувствуя своих ног и бессмысленно смеялся, страшно оскалив зубы.

Далеко позади остались дома, а он все шел, с злобным криком размахивая палкой. Перед ним раскрылась знакомая пустыня, Калинское озеро, его зимнее становище, но нигде он не увидел пастбища. Всюду в пустыне поднимались пики нефтяных вышек. И только тогда Гюль-Оглан понял жуткий смысл слов Джафар-Кули; уж нет больше ни Гюля-Батан, ни пастбища в Калинской пустыне. В ужасе перекосилось его лицо. Руки в кармане нащупали что-то холодное. Он пошел неестественной, шатающейся походкой, которой ходят лишь люди, внезапно потрясенные и в отчаянии становящиеся или преступниками или жертвами темных мыслей.

—

Расставив широко ступни ног, слегка согнувшись, стоял геолог над желобом, где длинной, узкой лентой стекала глина. Сквозь тихое дуновение ветра, среди лязга и грохота ротора он услышал исконные звуки, знакомые ему с детства, звуки тоскливые, как забытые песни.

Геолог обернулся, качнул головой. На скуластом лице появилась улыбка. Рядом с грохочащими сталью буровыми, рядом с нефтяными вышками, на молодой поросли трав геолог увидел блеющее стадо. Упитанные овцы лоснились от жира, тонкие ноги подкашивались под тяжестью разбухших курдюков. Впереди овечьего гурта, рядом с бараном с вызолоченными рогами и раскрашенной шерстью, застыл пастух в неподвижной позе, опершись на посох.

Простерлась рука, и блеснул металл. Острый сверкающий нож был крепко зажат между длинными пальцами пастуха:

— Где мое пастбище! — кричал Гюль-Оглан.

Геолог видел кривой нож, похожий на рог, черную волосатую руку и длинные узловатые пальцы, точно корни вывороченного бурей дерева.

Щуря глаза, геолог встретился с лицом пастуха. Зубы постукивали, так странно смеялся пастух. По слабой морщинке в углу его рта геолог понял, — минутой решается жизнь, нож вонзится в горло.

Пастух коленом припал на землю и медленно повернул голову жертвы на восток.

— Иррахман, рахим,—зашептали его дрожащие губы.

Он взмахнул ножом, и захрипело распахнутое горло. Кровь брызнула на землю, на сапоги геолога и черными пятнами легла на брюки.

— Чудак, — сказал геолог, — зачем это?

У широко расставленных ног, между забрызганными кровью сапогами геолога, вытянулся жертвенный баран с позолоченными рогами, с раскрашенной шерстью. Баран еще конвульсивно дышал, выкатив прозрачные роговины глаз.

Геолог с улыбкой смотрел на пастуха, на красноватое лицо и на знакомые взлохмаченные клоки седых волос. Старый пастух в гордой позе стоял перед ним с жертвенным бараном в руке:

— Сердце у меня одно, а баранов много. Вместо сердца приношу в жертву этого барана тебе. Не пастбище, не кишлак отнял ты у меня, а мое несчастье, мою нелюдимость. И старому пастуху Гюль-Оглану из племени Кэони-Мэрд, родину которого ни во сне, ни в легендах, а на яву, среди белого дня посетило счастье, больше ничего не нужно.

С гордо поднятой головой озирал старик то геолога, то серую землю, то вышки, как минареты, устремленные к небу. Ветер трепыхал взлохмаченные клоки его волос и рваную бахрому его одежды. Ветер гнал из садов и с шафрановых гряд в равнинные гребни, опыленные цветами, жаркое дыхание.

три километра к северо-западу

А. Письменный

I

Фонтанирующая буровая еще не была видна, загороженная соседними вышками, но гул фонтана был так силен, что Милюгин не расслышал приближения грузовика, подкравшегося сзади. Дорогу покрывала жидкая серая грязь. Канавы были переполнены. Вышки со стороны фонтанирующей буровой, были окрашены этой же грязью и походили на башни бетонных заводов. Со вчерашнего дня ветер переменился, и теперь фонтан заливал северную часть промысла. Но здесь, в южной части, работу еще не начали, а в северной — прекратили, грязевой фонтан на одной скважине вывел из строя половину промысла.

Грузовик осторожно проплыл мимо Милюгина. Шофер вел машину зигзагом, выбирая направление по памяти, потому что грязь скрыла все ухабы, но, конечно, ошибался, и машину бросало из стороны в сторону, раскачивало и кренило, и ярко желтые доски, которые она везла, хлопали, как трещотки.

Милюгин шел за грузовиком, не разбирая дороги. Болотные сапоги его до колен покрылись грязью. Он смотрел прямо перед собой, руки держал за спиной, оттопырив короткую куртку.

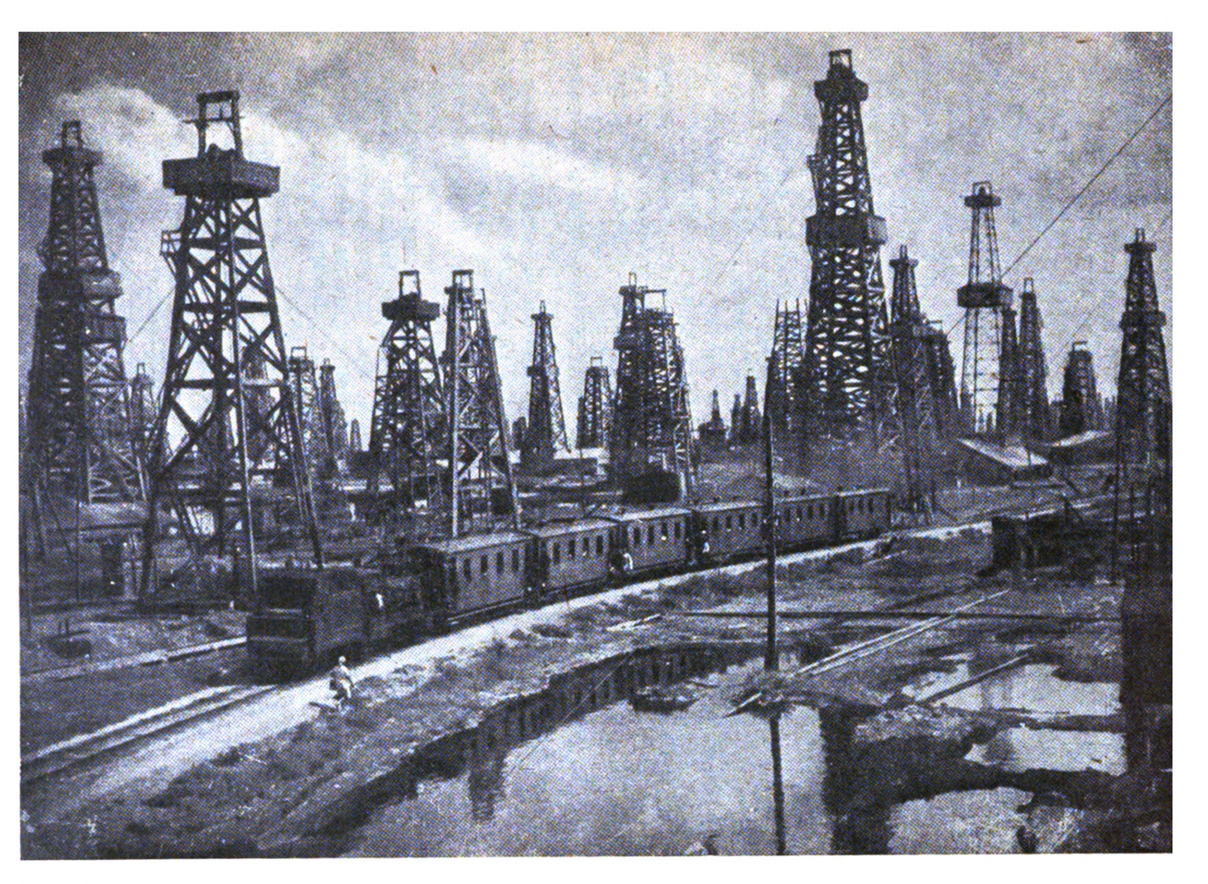
Низкорослый пожарный остановил грузовик. Шофер высунулся из кабины и, махнув рукой, посмотрел зачарованными глазами на вышку. Подошли рабочие в чистых брезентовых комбинезонах и начали сбрасывать доски на дорогу.

Инженер-механик Милюгин видел фонтан впервые. Из скважины вздымался серый стремительный столб, пересекал тридцатиметровую высоту вышки и медленным облаком, развеваемым ветром, оседал вниз. Фонтан бил частыми порывами, и, когда затихал гул, слышен был дробный стук летящих камней. Сильный и рослый Милюгин почувствовал себя унизительно беспомощным.

По дороге прохаживалась сестра в белом халате и сапогах. На подсохшем бугре лежала сумка, набитая ватой, и бутылка с борной кислотой. У самой вышки с надветренной стороны стояли люди, вымазанные с головы до ног. Милюгин нерешительно подошел к ним; он думал: раз они все там стоят, значит, не так опасно. Высокий парень в грязном брезентовом плаще что-то закричал и пошел по доскам к буровой. Доски хлюпали, с крыши насосной будки на парня лились потоки воды, но он не робел и манил рукой подмогу. К нему пошли еще трое и под брызгами, по пояс в грязи, они минут десять вытаскивали шлангу. Затем один из них выскочил обратно и, покачивая головой, складным ножом стал счищать глину с брезентового комбинезона. К ногам Милюгина упал камень. Он поднял его. Камень был теплый и сильно отдавал сероводородом. На сердце у Милюгина стало пусто. Он вспомнил вечерние огни на Пушкинской площади в Москве и улицу Горького весной, в два часа выходного дня. Милюгин повернулся и пошел к управлению.

Директор промысла Кузьмин был у себя. Милюгин покосился на строгую секретаршу в зеленой кофте и без предупреждения открыл дверь. На диване сидел человек с меланхолическими бровями. Милюгин кажется встречался с ним в Азнефти. Директор говорил по телефону. Ростом он не уступал Милюгину, говорил медленно и спокойно.

— Я просил начальника группы. Ну, кто там есть в конторе? Инженер



Промысловый транспорт

по бурению? Давайте вашего инженера. — Кузьмин покашлял, посмотрел на Милюгина и продолжал разговор.— Слушайте, вы требовали новый канат?.. Он был доставлен вам третьего дня. Знаете? Лестная осведомленность. А бурильные трубы свалили на этот канат по вашему распоряжению? Ничего не знаете? Лестная осведомленность. Ваша буровая партия испортила канат. Да, прямо на канат. Понятно? Когда приедет начальник, доложите ему, чтобы он позвонил мне. Все.

Кузьмин положил трубку и сел. На Милюгина он не обращал внимания. Человек, который сидел на диване, вопросительно посмотрел на механика и перевел взгляд на Кузьмина. Милюгин молчал. Кузьмин записал что-то в настольном блокноте, распечатал конверт, прочитал бумажку и сказал сидевшему на диване:

— Люди не умеют работать. Вы слышали—канат. Мы его с боем вырвали в отделе снабжения. Дали на группу и, пожалуйста. Они его измяли, он поработает у них гораздо меньше, чем полагается, и будут требовать новый...

Милюгин переступил с ноги на ногу, затем сел без приглашения и сказал:

— Николай Михайлович, я к вам.

— Очень приятно, — сказал Кузьмин.

— Я осмотрел предложенную вами квартиру в Бинах и хочу сообщить, что поселиться в ней не могу. Там нет печей, нет электричества, двери не имеют запоров, нет вторых рам. Стены не белены. На полу мусор на три вершка. В таких условиях я жить не могу. Прочтите, пожалуйста, акт.

Кузьмин спокойно взял из рук инженера лист бумаги и насмешливо спросил:

— Бумажками запасаетесь?

Милюгин промолчал. На сердце его было пусто.

Кузьмин прочитал акт.

— Все, что здесь указано, будет сделано через три дня. Через три дня, я даю гарантию, будет электричество, печи, вторые рамы. Я прикажу побелить стены и убрать мусор. Все?

— Да, в отношении жилья — все. Но я там жить не могу.

— Вам место не нравится? Я предлагал вам в Мардакьянах, на берегу моря.

— Нет, спасибо. Меня не устраивают Мардакьяны.

— Но ведь вы дали мне акт. В отношении акта все?

— Да, по акту все.

— В чем же дело? Вы понимаете?... — Кузьмин обратился к сидящему на диване. — Я тоже ничего не понимаю.

— Николай Михайлович, я вам уже неоднократно говорил. Бины и Мардакьяны меня не устраивают. Я не могу жить один, один в целом селе. Это тюркские деревни, там нет ни одного инженера.

— Вы не можете жить без общества инженеров?

— Да, — сказал Милюгин, — я не могу жить без среды. Это, в данном случае, главное.

— Значит, акт — это только более удобная форма для отказа?

— Сейчас инженерно-технические работники имеют право предъявлять более высокие требования, чем три года назад...

Кузьмин поморщился и поднял руку.

— Мне это известно. Вы отказываетесь. Пишите заявление.

— Я не отказываюсь. Дайте мне комнату в Баку. Я не отказываюсь работать...

— Я вам говорил, что в городе нет у нас квартир. Пишите заявление. Я тоже буду запасаться бумажками. Вы не хотите жить ни в Бинах, ни в Мардакьянах... Кстати сказать, — я живу в Мардакьянах...

— Но у вас есть также квартира в Баку, где живет ваша семья...

Кузьмин поморщился. Он не видел жену четверо суток, не был два года в отпуску и давным-давно забросил занятия боксом.

— Пишите заявление: отказываюсь, потому что ни в Бинах, ни в Мардакьянах нет среды,— сказал Кузьмин.— Я поговорю о вас с Петерсоном.

— Хорошо, — сказал Милюгин. — Я напишу.

Кузьмин проводил его взглядом до дверей и негромко выругался.

— Видели? — сказал он. — Инженер тыловик. Одел сапоги до пупа, а хочет, чтобы промысел был выложен метлахскими плитками.

— Да, — сказал его собеседник и помедлил, — но, мне кажется, вы не совсем правы...

— Не совсем прав? Я четыре года жил на Артеме — я и жена. На острове. Один инженер на целый остров. На Артеме, товарищ Слуцкий, не было ни радио, ни телефона. Газеты приходили через семь дней, вместе с очередной порцией макарон и мяса. Во время шторма мы были отрезаны от материка, как Робинзоны.

— Да, это так, — неопределенно сказал Слуцкий.

Кузьмин встал и надел пальто.

— Кала? Я поехал на первую группу, — сказал он телефонистке.

Грязь начиналась сейчас же за крыльцом управления. Это была жирная, тяжелая грязь.

Они ехали молча.

Крутой спуск от управления поворачивал направо. Затем налево. Вышки обступили дорогу. Автомобиль шел в зоне фонтана. Грязь здесь была более жидкой и более серой — грязь, выброшенная фонтаном с глубины семьсот метров. Пешеходы здоровались с Кузьминым. Он поминутно поднимал руку к козырьку кепки.

— Я понимаю, что дороги пока бессмысленно проводить, — сказал Слуцкий. — Первый же фонтан загадит дорогу. Нужно сперва научиться бороться с фонтанами.

— Вы ничего не понимаете, простите меня, — сказал Кузьмин.

Слуцкий обиделся.

— Николай Михайлович...

— Мы обязаны несмотря на фонтаны проводить дороги. Мы должны вызывать потребность в чистоте. Это диалектика. Фонтаны прекратятся, когда люди будут ценить дороги, ценить чистоту промысла, ценить чистоту работы. Дороги нас убивают.

— Так в чем же дело, чорт возьми?

— Люди, транспорт, — сказал Кузьмин. — Вы понимаете, что у нас нехватает транспорта на подвозку бурильных труб к скважинам. На ремонт дороги я снял два грузовика—вероятно десять буровых из-за этого могут остаться без инструмента.



Н. М. Кузьмин, директор промысла им. Азизбекова (Кала)

В Америке Кузьмин сделал на маленьком студебеккере тридцать тысяч километров. Он проехал: Луизиану, Техас, Оклахому, Канзас, Колорадо. Он пересек Скалистые горы, объехал Калифорнию и Флориду, побывал в Иллинойсе и на Ниагаре — тридцать тысяч километров на студебеккере, и машина вернулась целехонькой в Нью-Йорк. На Кала за 2 года он износил три фордика.

В Оклахоме-сити промысла вдавались клином в город. Некоторые буровые стояли на бульварах. Их использовали для электрических реклам. Кругом росли олеандры и акации. Кузьмин хотел увидеть нефть. Он видел вышки, насосы, он слышал грохот ротора, он видел компрессора и качалки глубоких насосов — нефти не было в Оклахоме. Тогда он подошел к нефтепроводу и открыл кран. К нему испуганно подбежал негр в белой ру-

башке. «Минуту, минуту», сказал он и принес стакан.. Но Кузьмин не хотел пить. Он уже знал язык и мог свободно заказать яичницу с ветчиной и быть вполне уверенным, что ему не принесут бербэнковский плод — грейт фрут, который постоянно ему приносили на пароходе, когда он заказывал яичницу с ветчиной. Негр налил в стакан черновато-бурую, как венское питье, нефть и подал—«пожалуйста». Этот случай Кузьмин рассказывал Орджоникидзе и Орджоникидзе не смеялся.

Разве не ехал Кузьмин сюда, на Апшерон, с тайной мечтой так поставить работу, чтобы никогда не видеть нефти, но знать, что ежесуточно одиннадцать тысяч тонн по широким нефтепроводам текут в резервуары треста? Разве не мечтал он о том, что вокруг буровых будут расти олеандры, туя и японская сирень? Когда местные садоводы сказали ему, что почва вокруг буровых по всему промыслу так обмазучена, что даже полынь на ней не взрастить, разве он не поехал на совещание с мичуринцами и разве не записал в свой блокнот их советы, как разбить палисадники вокруг вышек?..

Дорогу преградил дорожный мастер. С поднятой рукой он подошел к машине. Кузьмин застопорил и открыл дверцу.

— Что?

— Там не проедете, Николай Михайлович. Всю дорогу занесло. Хоть бы приказали обшить ее, 205 номер. На дорогу стыдно смотреть.

— Обошьют, — сказал Кузьмин и захлопнул дверцу.

II

За вышками поднималось море. Оно было бледным, как небо, и сливалось с небом. Дорога бежала вниз, открытая равнина простиралась на запад и на восток, был январь, снег лежал только в одном месте — во впадине, которую пересекала дорога, словно его привезли сюда нарочно — снег был рыхл и печален, апшеронский снег в январе. Пятнами проглядывала бледнозеленая трава.

Толбин сидел, развалясь и широко расставив ноги. Это была правильная посадка при промысловых дорогах и, хотя шофер давно срезал планку над сиденьем и угрозы набить шишку не было, — при таком положении меньше бросало. Машкович сидел прямо, он был хмур. Только что он рассказывал Толбину о затруднениях с квартирой. Больная жена лежала в поликлинике в Баку, квартира же находилась в Сураханах, и ему очень трудно было навещать жену.

— Нет теперь смысла нам жаться к промыслу. Работа налажена, теперь не нужно нам ночевать на промысле. Я свободно могу жить в городе,— говорил он.

«Мы» — это были пока только одни геологи. Когда лопнула камера, и они вышли из машины, оказалось, что по равнине несется ветер. Машкович запахнул пальто и, прищурив по привычке глаза, наблюдал за шофером, поднимавшим домкратом заднюю ось. Толбин сбежал с дороги, перепрыгнул с криком канаву и сорвал кустик травы.

Промыслу им. Азизбекова (Кала) исполнилось два года. За этот короткий срок некоторые из трехсот новых буровых вышек уже умерли, многие еще не родились, и бурильные станки день и ночь сотрясали свежие желтые доски и укосины. Ежесуточно, в нормальное время, законченные и действующие скважины выплескивали в отстойники и резервуары одиннадцать тысяч тонн первосортной нефти, больше, чем вся Грознефть, больше, чем всякий другой промысел в Союзе. Но сколько лет было потрачено на то, чтобы выросла первая вышка, чтобы в эксплоатацию вступила новая площадь, чтобы в программу Азнефти влилась первая тонна калинской нефти! Много раз Толбину задавали вопрос: почему так долго шло освоение района? Почему так долго не давалась калинская нефть?

Толбин стоял, наморщив лоб, с пучком травы в руке и смотрел на панораму нефтяного промысла. Завтра он должен прочесть студентам лекцию о калинской нефти, сможет ли он рассказать о ней так, как чувствует ее историю сейчас? Сейчас, когда он стоит на возвышенности, у дороги и видит весь промысел там вдали?

Прежде всего он скажет, что выявление нефтеносности района глубоким бурением — последняя фаза геологической разведки. Это наиболее ответственная фаза, потому что обычно в предполагаемом районе намечаются одна-две, максимум, три скважины и, если они не дадут положительных результатов, зачастую район окончательно забрасывают. Но заложить первые скважины труднее всего. Правильно наметить пункты можно только в том случае, если тектоника района по поверхностным данным изучена детально. Однако, даже если район по данным поверхности изучен достаточно, часто указание мест для первых скважин очень затруднительно.

С этого Толбин начнет, а дальше будет говорить о долгой и трудной истории промысла.

Предистория промысла, скажет он, по существу началась сорок лет тому назад, когда впервые геологи Симанович и Сорокин исследовали район у Калинского озера, где были обнаружены выходы газа — первый признак нефтяных месторождений — и пришли к выводу, что озеро занимает свод, купол или антиклиналь, — говоря языком геологов, — и что на берегу озера нужно ставить скважины.

Это была первоначальная фаза геологического исследования, совершенно ошибочная, как увидим дальше, но нефтепромышленникам этого было достаточно. Нет надобности, считали они, разведывать всю нефтяную площадь, если соседние участки могут достаться конкурентам. Точно так же и теперь, в Америке, каждый владелец оконтуривает только свой участок и держит полученные данные в строжайшем секрете.

Через семнадцать лет Нобель, самый ловкий и самый удачливый нефтяной король, заложил первую скважину, но скважина не оправдала его расторопности, нефти не дала, и Нобель поспешил оставить участок. Через шесть лет в 1911 году участок купил Бенкендорф и, решив во что бы то ни стало добиться результатов, выстроил здесь деловой двор и заложил пять скважин. Однако, и ему нефти получить не удалось, и он оставил участок. В 1914 году снова вернулся Нобель, пробурил еще три скважины, но снова ничего не получил и бросил участок. Пытались получить нефть на Кала и другие фирмы — Каспийско-Черноморское общество, «Русское товарищество нефти» — по 1917 год на Кала было пробурено десять скважин общей глубиной свыше 4 000 метров, но ни одна скважина нефти не дала, и тогда, в 1917 году, всем им пришлось покинуть участок.

После национализации нефтяной промышленности, Азнефть не скоро смогла приступить к разведочному бурению на новых площадях.

Несколько лет пришлось затратить на его восстановление. В 1922 году на Биби-Эйбате вращательным бурением был получен первый советский фонтан, и делегаты республики на Генуэзской конференции отказали в нефтяной концессии капиталистам. Еще через два года Азнефть начала разведку на новых площадях, и седьмого февраля, одиннадцать лет назад, у Калинского озера была заложена первая советская скважина. Ее начальный диаметр был исполинского, по теперешним понятиям, размера. Ударные штанги пробивали скважину сорока двух дюймов в диаметре и только на глубине 508 метров скважину переоборудовали для вращательного бурения, ударное же было сдано в архив.

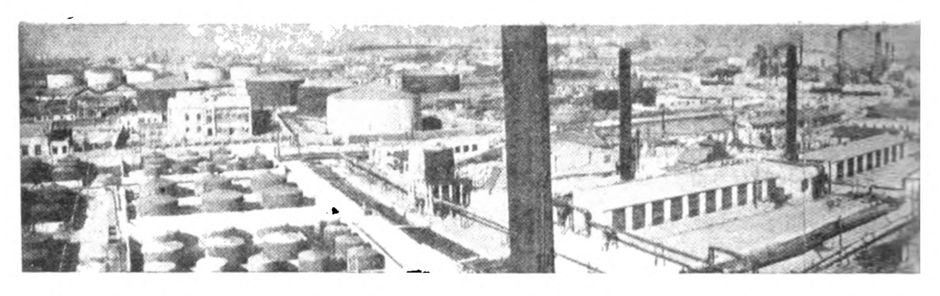
Крупный геолог профессор Голубятников, составляя обзор Апшеронского полуострова, дал первостатейную оценку Калинским залеганиям. Район Кала в его определении значился первым по запасам нефти, а самый богатый из старых промышленных районов — Сураханы—вторым.

Однако, к 1926 году на разведочных площадях Кала было пробурено пять скважин, и ни одна из них нефти не дала.

Среди геологов начались разговоры, что Голубятников ошибся.

— Это безнадежно, — говорил геолог Абрамович, — признаки нефти настолько слабы, что месторождение вряд ли представляет промышленное значение.

Ему возражал один из виднейших деятелей нефтяной геологии Ковалевский:



Баку

— Мы не имеем права этого утверждать. Вращательный способ бурения непригоден для разведки. При этом способе признаки нефти крайне убоги и скудны, по ним невозможно составить точный геологический разрез. Кроме того, крайне трудно закрыть воду. А Кала неблагополучна в отношении водоносности.

Ковалевский рекомендовал вернуться к ударному бурению.

— Это отсталый способ, — возражал Абрамович.

— Однако, ударным бурением осваивались многие районы и дали прекрасные результаты, а вращательным не освоен ни один.

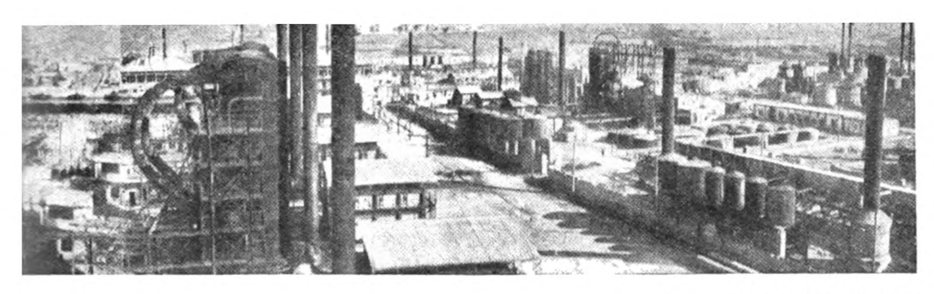
Абрамович выступал как защитник современных способов бурения, его поддерживали геологи Поляков и Шульгин: «Причины неудач нужно искать не в технических недостатках бурения, не в том, что при вращательном способе трудно закрыть воду, а в геологии района». Абрамович, Поляков и Шульгин подвергали сомнению ценность самого месторождения. Бороться с ними было трудно. Скважины подтверждали их доводы. И, если бы не настойчивость руководителя Азнефти Серебровского и сменивших его Баринова и Агавердиева, если бы не упорство профессора Голубятникова и не поддержка академика Губкина, Калинский район был бы ликвидирован.

В августе 1928 года было созвано авторитетное совещание под председательством академика Губкина, на котором предстояло окончательно решить—стоит ли продолжать разведку. На этом совещании было решено: пункты для бурения на Кала избраны правильно, в наиболее повышенной части складки. В продуктивной толще обнаружены бурые пески. Это означает, что Калинское месторождение бедно и промышленного значения не имеет.

В зале, где происходило совещание, сидел белокурый парень, которого никто не знал. Он внимательно слушал выступления геологов и ему казалось странным, почему они с таким упорством доказывают, что в Кала нет нефти. Позже, когда весь Апшерон узнал его имя, он уже хорошо понимал, что это упорное отрицание было вызвано необходимостью поддержать авторитет. Раз в местах, которые указаны геологами, нефть не обнаружена, значит, нефти здесь нет, геология не ошибается. Но Голубятников предложил отложить окончательное решение до тех пор, пока не будет проведена еще одна скважина. Эту скважину укажет он, Голубятников. По его мнению, бурят вокруг нефти. По его мнению, тектоника более глубоких горизонтов продуктивной толщи недостаточно изучена.

Белокурого парня, который сидел на совещании, звали Иосифом Ильичем Толбиным. В то время ему было немногим больше двадцати пяти лет. Он учился в АПИ — Азербайджанском политехническом институте на горном факультете, учился и служил. Он служил чертежником, техником, геологом, он проучился из-за этого семь лет и кончил только в двадцать девятом году, но зато он практически знал геологию.

На последнюю студенческую практику институт послал его заменять уеха-



Нефтезаводы в Черном городе

шего в трехмесячную командировку геолога В. И. Куликова. Толбин приехал на место и поселился в приземистой скотоводческой деревушке Кала, окна которой были обращены во дворы, словно население не желало замечать огромных богатств, скрытых под пастбищами. Днем Толбин собирал геологические данные, ночами вычерчивал карты района.

Случайно в руки Толбина попал весь геологический материал, добытый из девяти скважин, пробуренных до национализации, и десятка пробуренных после нее. Вопреки мнению Ковалевского о недостатках вращательного бурения, отбор грунтов был детальным, и документация геологической разведки точной.

Геологам структура Апшеронского полуострова прдставлялась в форме слоеного пирога. Геологи считали, что там, где кровля продуктивной толщи образовывает купол, точно также куполообразно залегают глубокие нефтяные пласты. Это ошибочное мнение только поддерживало то обстоятельство, что выходы газа наблюдались как раз в местах, где кровля продуктивной толщи образовывала купол. Поэтому всякий раз, когда возникал вопрос, где закладывать очередную скважину, все геологи указывали точки у выходов газа в наиболее приподнятых местах складки, и никому не приходило в голову, что обычное апшеронское залегание пластов может быть нарушено.

Толбин, воспользовавшись чужими материалами многолетней разведки, заново составил структурную карту района. Она совпала с теми картами, которые чертились до него — наиболее возвышенная часть находилась на юге, где велись все разведывательные работы. Но там нефти не было. Толбин же был глубоко убежден в том, что Калинский район по нефтяным богатствам превосходит Сураханы, и вопреки ортодоксальной геологии, решил проверить, соответствует ли кровля продуктивной толщи ее основанию. И когда он составил карту по подошве первого горизонта, на ней с предельной ясностью вырисовалось, что купол, лучшая часть района, находится совсем не там, где его искали больше сорока лет. Лучшая часть района находилась на три километра к северо-западу, далеко от тех мест, где имелись выходы газа, далеко от тех мест, где были пробурены скважины.

На три километра к северо-западу. Карта молодого геолога нарушала все представление о тектонике района, подрывала авторитет старых исследователей, утверждала ошибочность их указаний, и почти все геологическое бюро Азнефти отнеслось к открытию Толбина скептически. Толбин настаивал на своем. Он заявил:

— Я считаю, что в районе нарушены пласты, считаю, что выводы всех исследователей совершенно верны, и именно потому на Кала не получаем нефти. В том месте, где велось бурение, действительно, месторождение не представляет промышленного интереса. Нужно бурить на три километра к северо-западу. Три километра к северо-западу — и мы получим нефть.

Открытие Толбина было настолько необычным, что практического значения ему не придали и предложили молодому геологу написать статью в журнал.

Когда его работа появилась,— шел тридцатый год, — нам ним начали издеваться, шутить, его дразнили. Он был скромен, но оскорблен и хотел удрать из Баку. К его счастью, Губкин прочел статью, увидел карты, глубоко заинтересовался ими и на совещании хозяйственников заявил, что по данным молодого геолога есть шансы найти калинскую нефть.

Но на этом предистория Калинских промыслов не кончилась. Наступил только переломный момент.

Первая скважина за номером 14 была выброшена на три километра к северо-западу, к Мардакьянской дороге, и начата бурением 13-го февраля 1931 года. Бурил ее Смирнов, опытный и искусный мастер.

В то время еще не применялся карротаж — прибор, определяющий при помощи электрического сопротивления природное качество пластов, в которых проходит скважина — пласты исследовали с помощью колонкового бура, способом не столько устаревшим, сколько медленным.

Геолог Ионисян — калинский старожил, так же, как Толбин, верил в будущность Кала и чуть ли не ежечасно требовал спуска колонкового бура. Смирнов посмеивался. Смирнов говорил:

— Иван Сергеевич, так ведь блох ловят, а не проходку дают.

Когда колонковый бур впервые вынес серые, а не бурые пески, разведчики возликовали. Это был первый признак, подтверждавший теорию Толбина,— именно в серых песках обычно залегала нефть, скважина была заложена теперь на месте.

Но 25-го июня с глубины 800 метров ударил мощный газонефтяной фонтан, из скважины выбросило девяностометровую двадцатидюймовую трубу (кондуктор), вышка разлетелась в щепы и сгорела до тла.

Это многих обескуражило, мастер Смирнов вскоре уехал бурить на Чусовские городки, геолог Ионисян был очень расстроен, и когда рабочий из буровой партии ему сказал, что видел в клубах дыма в течение получаса специфический цвет горящей нефти, Иван Сергеевич строго посмотрел на него:

— Ты мне, пожалуйста, не завинчивай.

Однако, Толбин, которому сообщили, что будто бы в клубах дыма был замечен цвет горящей нефти, с уверенностью показал новый пункт — на 300 метров к западу, и там был заложен дублер — 15-й номер. Толбин считал, что его предположения подтверждены этой сгоревшей скважиной и был уверен в надежности района.

Но 15-й номер был доведен только до 379 метров, во время подъема инструмента скважина начала интенсивно газировать, и затем поднялся мощнейший газовый фонтан. Скважина выбрасывала камни на высоту в 200—250 метров, бурильные трубы вылетели вон и, исковерканные, грохнулись на землю. Вышка разлетелась вдребезги, на месте скважины образовался кратер, газирующий до сих пор.

Калинская нефть не хотела сдаваться.

Снова в Азнефти раздались голоса о том, что пора ликвидировать Кала.

К этому времени уже были заложены 13-я, 16-я, 17-я скважины, к востоку выбросили 18-й номер, и ничего не оставалось делать, как продолжать бурить.

Через некоторое время на 16-м номере получили нефтяные признаки. Скважина шла в серых песках, в каких обычно залегает нефть. Карротаж давал хорошие пики[1] и однажды колонковый бур вынес породу с сильным запахом нефти.

Толбин в это время работал старшим геологом на Кара-Чухура, на Кала часто заезжать не мог — не было транспорта, Ионисян ежедневно по телефону сообщал ему все события на Кала и часто таскал на Кара-Чухур пробы грунта, вынесенные колонковым буром. Толбин осматривал пробы, думал о чем-то и ничего Ионисяну не говорил. Но однажды он растер на ладони песок и долго, как дегустатор, вдыхал его запах.

— Попробуйте пласт, — сказал он.

Когда начали тартать, желонка вынесла из скважины воду.

[1] При карротировании нефтеносные породы оказывают наибольшее электрическое сопротивление, отмечаемое записывающей частью аппарата в виде острых и резких зигзагов.

Разведка снова подтвердила мнения противников Кала. Скважина с нефтяными признаками обводнена.

Решили подняться и попробовать в этой же скважине другой горизонт, где карротаж показал тоже хорошую пику, и просверлили дыру в стенке скважины на глубине 573 метра. Сверление было произведено технически неграмотно, так как во всей Азнефти не было необходимого оборудования. Не успели бурильщики поднять сверлильный аппарат, как ударил газовый вихрь, и все полетело к дьяволу. Фонтан бил с силой, превышавшей 100 атмосфер, суточный дебет газа составлял не менее 5 000 000 кубометров. Рев фонтана был так силен, что на расстоянии километра от него, нельзя было разговаривать. Это была канонада двенадцатидюймового орудия, продолжавшаяся восемь суток.

16-й номер как бы подвел итог высказываниям противников нового промысла. Он подтвердил, что нефтерождения обводнены, и что Кала является только газовой проблемой, и что в недрах скрыты исполинские ампулы газа, взлетающие в просверленные дыры взрывами в 100 атмосфер, и что нефти в калинских недрах нет.

Это подтвердилось на 18-м номере, где газовый фонтан ударил при подъеме инструмента и в мгновение выбросил из скважины 240 метров шестидюймовых бурильных труб. Через несколько дней ударил фонтан на 19-м номере, через день на 13-м. Одна за другой взлетали на воздух все скважины.

Нужно было понять упорство людей, которые верили в Калинское месторождение и не сдавались, получая один шанс на успех и девяносто девять на поражение. Их вдохновляла каждая примета, каждый скромный намек на нефть. Ионисян заметил в пламени 13-го номера струю горящей нефти, хотя точно выяснить—нефть это или нет — он не смог, нефть летела вместе с кипящей водой и газом, и близко никак нельзя было подойти. Нефтяной песок бросал 18-й номер, и по краям дорожки, протоптанной в грязи, выступила нефть, Ионисян набрал ведро песка и в лаборатории выжал из него два литра нефти — два литра первой нефти, полученной на Кала. К сожалению, наиболее ярые противники Кала — Абрамович, Куликов, Шульгин, написавшие целую книгу в доказательство того, что Кала бесплодна, не видели первой калинской нефти.

Агадулла Атаев, сураханский буровой мастер, вскоре получил точку для бурения новой 20-й скважины. Эта точка была отнесена на 800 метров к западу. Ежедневно приезжали Баринов, Агавердов, Борц, неотлучно сидел у скважины Толбин, люди стояли и с трепетом ждали, что даст эта скважина: воду, газ или нефть? Оправдает ли скважина силы, время и средства, которые были вложены в Кала?

На глубине в 700 с лишним метров встретили нефтяные пески, карротаж показал прекрасные пики. Бурение шло нормально, и надежды крепли и росли.

Баринов говорил Агадулле:

— Если ты сохранишь скважину...— и не договаривал. Лицо его становилось напряженным.

На проектной глубине раствор начал шалить, это значило, что сила пластов растет, в раствор проникает газ, газирует циркуляцию, угрожая выбросом. Отдел эксплоатации, тем временем, начал подготавливать скважину к пуску.

30 ноября 1932 года скважина дала мощный газовый фонтан. Он шел вскрытую, по трубам, но все-таки верили в эту скважину, и так ждали нефть, что разочарованные даже не отметили: впервые на Кала обуздано мощное давление пластов, нормально закончена и подготовлена к эксплоатации буровая. Но нормально законченная буровая дала газ, снова не оправдав надежды разведчиков, и Баринов, насупившись, сказал Толбину:

— Очевидно они правы, Иосиф Ильич. Кала — газовая проблема. — Он хотел еще сказать, что теперь нужно ликвидировать район, но только махнул рукой, и все поняли это сами.

Из трубы с диким ревом вылетала газовая струя. Она была бесцветна и только у самого устья имела бледно-голубой оттенок. Трудно было бросить все и уйти. Когда все уехали, Ионисян снова пошел к скважине. Он шел сгор-

бившись, барабанные перепонки лопались от рева. Вдруг ему показалось что струя уже не бесцветна, а окрашивается в рыжий цвет. Он остановился. Потом ускорил шаги.

— Агадулла,— закричал он, — Агадулла, нефть!

Скважина ревела, струя с бешеной силой летела в деревянный фонарь, доски фонаря трещали от напора. Ионисян пошел к фонарю, но близко подойти не смог. Сбоку он видел, как на стенки брызжет бурая влага, но на дне было сухо, нефти не было.

Ионисян чувствовал запах нефти, нефть летела в газовой струе, распыленная, как в пульверизаторе, однако, никаких следов не было видно, не галлюцинировал ли он?

Он пошел прочь и вдруг свернул в сторону и почти бегом направился к лаборатории. Там он достал ведро и длинную жердь и побежал обратно к буровой, похожий на рыбака. Ведро вероятно звенело, но звук терялся в адском реве скважины. Он прицепил ведро к жерди и поднес к трубе. Агадулла тащил его за рукав.

— Что ты делаешь, Иван Сергеевич? С ума спятил, что тебе сказать?

Но когда Ионисян принял ведро, в нем блестела тяжелая черновато-бурая вонючая нефть.

Под фонарем вырыли яму. Почва была песчаная, и потому-то не видно было нефтяной лужи под фонарем, нефть просачивалась под почву. Яму обмазали глиной, и к концу дня ее заполнило до краев.

Через день фонтан дал 100 тонн, на другой—скважина выбросила 500 тонн и вскоре дошла до 2 000 тонн в сутки, и продолжает фонтанировать до сих пор.

Итак, собственно, промысел родился 30-го ноября 1932 года на скважине номер 20-й. За ней дала нефть 17-я скважина, потом 39-я. Через два года промысел давал уже 11 000 тонн в сутки.

Как рассказать все это студентам? Не расскажешь всего. Не расскажешь, как жил промысел дальше, как снова начинали бунтовать пласты, и взлетали фонтаны в десятках буровых.

Далеко внизу ползла кукушка. Над бензиновозиком подымался белый дым.

Шофер крикнул:

— Готово! — и кинул домкрат в автомобиль. Машкович влез в машину.

Они поехали дальше, вниз по дороге, море за вышками исчезло, рядом вдоль дороги лежали нефтепровода, показалась Калинская арка, и Толбин увидел грязное облако над вышкой.

— У вас фонтан?—сказал он Машковичу.

— Да, — равнодушно ответил тот.

Что он мог еще сказать? Фонтан, конечно, фонтан. Он ударил вчера утром и вот хлещет до сих пор грязью и газом.

— А ты, Костя, говоришь, что теперь нет смысла жаться к промыслу,— сухо сказал Толбин.

— У меня работа налажена. Почему нефтяники не могут ее наладить?

Толбин опять развалился на сиденьи и сердито смотрел на фонтан. Он относился к промыслу им. Азизбекова так, как относится инженер к своему изобретению, или врач к человеку, которого спас от гибели. И хотя на других промыслах точно так же бывали фонтаны, фонтаны на Кала сердили его. Он иногда думал, что руководство промысла не может освоить месторождение. Был бы он директором...

— Был бы я директором,— сказал он Машковичу.

— И что же?

— Нет, ничего, — сказал Толбин.

III

Поезд двигался со скоростью пятнадцать километров в час. Это была игра в железную дорогу. Машинист бензиновозика получал на каждой станции путевую депешу. Кассирша выбивала билетики, стоимостью в десять копеек. Ударял колокол — два раза, а третий звонок, как на больших вокзалах, — отменен. Свистел кондуктор, тучный мужчина с желтыми от махорки усами. Гудел локомотив, и, лягая, поезд устремлялся вперед. Если вы опоздали, не беда, поезд можно догнать на ходу — два прыжка, это сделает даже человек с пороком сердца.

Бурильщик Абдула Абельфес поклонился Юсупову. Комсорг стоял на площадке с девушкой в красном берете. Они проехали игрушечный семафор, под колесами треньками игрушечные рельсы. Абдула вполне свободно держался за потолок. Юсупов сказал девушке:

— Почему ты не посещаешь уроки западных танцев? Пора уже всем комсомольцам культурно танцовать.

Он сказал это очень строго, точно собирался закатить выговор на бюро.

Девушка улыбнулась.

— Я научилась танцовать еще до того, как ты научился заводить патефон.

— Вот как? — подозрительно посмотрел на нее комсорг.

На площадке было тесно. Здесь, кроме Абельфеса и комсорга с девушкой, стояли женщина, милиционер и железнодорожник. Женщина медленно и нудно расспрашивала железнодорожника о страховании жизни: она хотела обеспечить свою дочь, хотя умирать, очевидно, не собиралась. Абдула Абельфес вошел в вагон.

На лавках сидели его ребята.

— Застраховаться никто не желает? — сказал Абдула.

— От чего страховаться? — спросил Анащенко.

— От смерти. Там вот на площадке женщина интересуется. Может кто за компанию, а?

Бурильщики захохотали. Штанговщик восхищенно хлопнул Абельфеса по спине и сказал.

— Ай, юморист.

Тормозчик из партии Абельфеса вдруг помрачнел и, зажав локти в коленях, опустил голову.

— У Алеши живот болит, нет? — спросил Абдула.

Бурильщики снова захохотали. Тормозчик поднял голову и сказал раздельно:

— Ю-мо-рист!

— А что так? — спорсил Абдула.

— Меня Агадулла не пустит в буровую, — сказал тормозчик, — зря еду.

— Почему не пустит? С ума сошел.

— Вот тебе и сошел, — тормозчик выпрямился. Брезентовая куртка его была застегнута наглухо. Видал? — сказал он, — баба заболела, пошел в магазин, моего номера нету.

Абдула покрутил у лба пальцем и сказал:

— Маленько ему в амбулаторию надо бы сходить, а?

— Видишь ли, — сказал штанговщик, — у него вида нет. Без галстука едет.

— А-а... — Абельфес сочувственно покачал головой.

— Не понимаю я этого дела, — сказал Анащенко. — Какой галстук ни надевай, а на буровой танцульки не устроишь.

— А ты в галстуке только румбу стучать обучен?

— Грязная работа, понял?

— У кого грязная, у кого нет, — сказал Абельфес.

— У тебя не грязная? Интересно посмотреть! — закричал Анащенко. — В белом халате клистиры ставить, а не скважины бурить. Небойсь год назад, во время газовой стены, не до галстуков было.

Абельфес промолчал.

Год назад, в мае Абельфес из партии Агадуллы бурил 145 номер. Бурение шло нормально. Событие, получившее в дальнейшем наименование газовой стены, случилось на рассвете. Абельфес поднимал инструмент — к приходу сменной вахты он хотел закончить подъем.

Агадулла Атаев, буровой мастер, в это время вместе с Анащенко ехал на промысел. Они слезли на станции Джапаридзе в пять часов утра и направились к вышке. Погода была спокойная, но пасмурная. На вышках еще горели огни. Они появлялись вдруг, и желтый свет лампочек делал вышки похожими на подсвечники. Анащенко шел впереди. Грохот роторов подстерегал их у каждой скважины.

Буровые Анащенко и Агадуллы соревновались. В честь соревнования Агадулла развесил на своей вышке красные флажки. По ним можно было издали узнать 145-й номер.

Бурильщики подошли к конторе. Это был низенький белый домик, окруженный тонкими трубами, стоявшими чуть на отлете. По трубам уходил дым из печек, отапливающихся газом. Из-

дали домик стоял, как на костылях, прозрачный дым окружал его, и стены конторы дрожали и расплывались в воздухе.

Когда они обогнули контору, Анащенко внимательно посмотрел вперед и воскликнул:

— Атаев, у тебя фонтан!

— Ну-ну, — сказал Агадулла, — баран шутил, а его зарезали.

— Ты посмотри, Атаев, флажков твоих не видать.

Агадулла оторопело посмотрел на вышку, потом на Анащенко, он ничего не понимал, флажки, верно, как будто сбиты, но почему не видно фонтана? Он снова посмотрел на буровую и бросился бежать.

— Нет, Анащенко ошибся. Никакого фонтана не было и нет. Флажки?.. Может быть, их сняли?.. Может быть, снесло ветром?...

— Анащенко, ночью был норд?

Они бежали минуту-две, утренний мрак прояснялся, Анащенко поднял руки на бегу.

— Смотри, Агадулла, смотри!..

Над вышкой, как флагшток, торчала бурильная труба. Мертвая тишина была на промысле.

Абельфесу оставалось поднять свечу и удлинитель. Все шло нормально. Рабочий крючком оттащил в угол вышки предпоследнюю свечу. Абельфес снова пустил лебедку, и в этот момент в скважине раздался рев, из трубы ударил раствор, затем, словно что-то взорвалось, и трубы полетели вверх. Они вылетели из скважины, пронзив вышку навылет, вахта выбежала из буровой, мокрая и испуганная, — бил столб жидкости и газа, медленно прошло пять минут, и вдруг скважина затихла, точно ей зажали рот.

Буровой мастер прибежал на буровую.

— Что случилось?—закричал он,— что случилось, Абельфес?

— Ударило! Как ударило... — бурильщик больше ничего не мог сказать. Он не мог сказать, как ударило и как било минут пять, а потом все заглохло. Он ничего больше не мог сказать.

На расстоянии 150 метров бурилась скважина 146-я. Ее бурил молодой мастер, по имени Эгельман. Он услышал взрыв. В сумерках ничего не было видно. Штанговщик крикнул с полатей:

— У Агадуллы фонтан!

Эгельман хотел взглянуть, какой фонтан у Агадуллы, но не успел выйти на мостки, как тормозчик испуганно закричал:

— Раствор уходит! — Эгельман растерялся, побежал к насосу и совершенно ничего не мог понять. Раствор ушел в момент взрыва, словно именно этот его раствор взлетел на воздух в буровой 145-й. Один насос был маломощен, второй не работал, и Эгельман ничего не успел понять и ничего не успел сделать, как произошел выброс на его скважине и толстый столб газа взмыл кверху. И тогда произошло то, что выглядело, как землетрясение.

От 145-й к 146-й по земле пробежала трещина. Земля дрожала, и люди хотели бежать, кругом начинались трещины шириной в метр, и из трещин на тридцать метров в высоту летели огромные камни, газ бил прямо из земли, возле 145-й образовался кратер и из него било, как из вулкана, и все это заливала грязью 146-я — там вышки уже не было, она разлетелась в щепки, и инструмент торчал из земли, как игла из катушки ниток, и трещины разбегались по промыслу, охватив площадь в десять гектаров. Люди были испуганы и не знали куда бежать. Кто-то позвонил Машковичу — старшему геологу и Толбину— основателю Кала и сказал им, что из земли бьет нефть, на промысле вулканы и землетрясение. Они не поверили, но примчались на Кала и, когда увидели все это, были весьма поражены.

Кузьмин — огромный, в развевающемся плаще, бросил сюда сто лопат, и начались работы по обваловыванию — в газе, под грязевым дождем, на земле, которая рычала и тряслась, перед газовыми стенами, где трудно и страшно было дышать. Тогда взошло солнце. На солнце газовая стена светила желтым, точно из земли действительно била нефть, прямо из земли, и из кратера выбрасывало камни на сорок метров вверх, камни по метру в диаметре.

Дежурной сестре от такой перепалки до смерти захотелось курить. Она пошла в землянку и зажгла спичку, и все в землянке полетело к чертям, сестра выбежала в пылающем халате, по трещине бежал тридцатиметровый огонь, он бежал по стене, охватившей площадь в десять гектаров, к вышкам, к нефтяным амбарам, к нефтепроводам.

Тогда люди бросились к трещине. Мог сгореть весь промысел, могли сгореть все они, вместе с сапогами и лопатами. Они снимали куртки и плащи, кидали их в трещину, пожарные лил в трещину углекислоту, и комсомольцы бросались на огонь, телами придавливая пламя.

Вот какая была эта газовая стена! И, когда вспомнили про нее, в вагончике прекратились шутки, и люди стали вспоминать удивительные случаи из истории промысла Кала, его мощные пласты, которые долго не давались бурильщикам, его бешеные фонтаны.

— Кто помнит, ребята, фонтан на 147-й... — сказал Михайлов. — Вот это фонтан! 10-го сентября прихватило у меня инструмент. Я крутил, крутил, — сидит в скважине, точно присохло. Решили промывать нефтью. Подготовку поручили провести зав. группой Буниатову. Его, может, никто и не помнит уже. Трус, неряха, проканителился массу времени, а когда надо было промывать, ушел с буровой. Я должен прямо сказать, мне не приходилось иметь такое дело. Но тут ничего не поделаешь. Взял я на себя ответственность и начал промывать. В двенадцать часов ночи — газовый фонтан. В пять минут разбило вышку, за двадцать километров шапка его была видна. Часть буровых на промысле стала, а он ревет неделю, другую. Ничего нельзя сделать: летит газ, летит грязь—возились полтора месяца. Наконец, решили возвести мост и сверху забросать глотку камнями. Бросали, бросали, вот такой известняк. Скважина его глотает, как грибы. Наконец, помню, взобрался на мост Усейнов, здоровую каменюку притащил. Бросил, и скважина замолчала. Ну, думаем, точка. Только подошли к устью, ка-ак бабахнет! Только к утру удалось забросать.

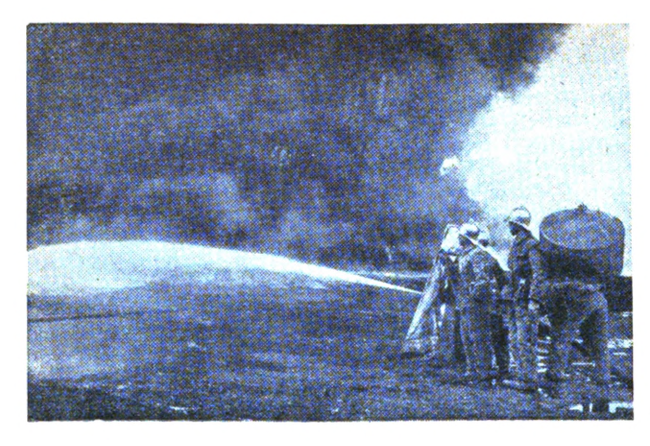
— А буровую 64-ю помните? — сказал комсорг Юсупов.

— Ну, еще бы, ты ее что ли бурил?

— Ну, не я, конечно. Ее бурил Аскеров, знаете, который под суд попал. Дело было так. Вечером мы сидели в парткоме. Дежурил Терпунов, инструктор райкома. Вдруг слышим гул. Ревет на весь промысел. Прибегает кто-то, кричит: на 64-й фонтан. Побежали на буровую. Газ бьет, Аскеров мечется, инструмент остался в скважине. Ничего сделать нельзя. На следующий день лучшие плотники полезли на вышку — обшивать. Кое-как обшили, стало легче. Через два часа искра, пожар, и в пять минут вышки не стало, но газ продолжает гореть. Газ горит, и летит грязь, и вообще музыка такая, что уши заткнули ватой и кажется точно по вате и по ушам кто-то наворачивает кувалдой. В сутки вылетает из скважины не менее 10 000 тонн. И огонь. Столб огня над скважиной — вулкан. Никакими способами закрыть его не удается. Чугунные задвижки в десять пудов сбрасывает, как крышку с кофейника. Мобилизовали весь свободный народ. Глушили скважину камнями, водой, бросали в жерло железные баки, заполненные цементом. Через месяц все работы на промысле остановились. По дорогам езды нет. Только гусеничные тракторы, еле-еле проползают, все залито грязью и водой. Матевосян, он сейчас замдиректора на Лок-Батане, предложил задвижку, чтобы не разбрызгивалась грязь. Через три дня задвижку сбросило. Три месяца возились с 64-й и когда влили ей в горло больше пятисот бочек цемента, фонтан заглох, но до сих пор в кратере жидкость кипит и газирует. Почему же такое произошло? А потому, что Аскерову через два дня нужно было сдавать скважину. Он и решил, где наша ни пропадала, давай поднажмем, — и за два дня пробурил 25 метров, не промывая, не расширяя, в результате сломал инструмент и довел скважину до такого фонтана.

— Да, при таких пластах осторожность необходима, — сказал Анащенко.

— Почему же так выходит — фонтаны, фонтаны, без конца? — спросила комсомолка, которая раньше времени научилась танцовать.



На пожаре

— Пласты чересчур мощные, — сказал Анащенко, — газовые пласты. До 20 атмосфер доходило.

— Это правильно,—подтвердили другие, — пласты слишком мощные.

Абельфес покачал головой.

— Не потому, что мощные. Слыхал — на 64-й почему фонтан произошел? Буровой мастер скважину испоганил.

— А у тебя газовая стена — тоже ты испоганил?

— А я что? Чем я лучше. В Сураханах—другое дело, там пласты истощенные, можешь прямо сельтерскую воду качать и выброса не будет.

— Бывают...

— Ну, бывают, потому что тоже что-нибудь да не так.

— Это верно,—сказал Шишканов,— условий нету. На промысле грязь, на работу ехать — кто в Баку живет — два часа собаке под хвост, да обратно два...

— Ты-то ведь в Сураханах живешь.

— Ну, в Сураханах. Тоже радости мало на этом червяке ездить. Вот когда поселок построят...

— Будешь плакать — в поселке театра нет.

— В театр не каждый день ездить.

— Конечно, условий нету, — сказал Анащенко. — Сюда люди шли, как в ссылку. Теперь-то, конечно, стало лучше. Я помню, оборудования не то, что нехватало — не было совсем. В Сураханах воровали. Поедет мастер по промыслу, видит элеватор восьмидюймовый лежит, он его цап — и на машину. А то и машины не было — в поезд с собой тащил.

— Правильно,—сказал Абельфес,— условия были плохие. Воды не было, воду в цистернах возили. А в августе в позапрошлом году люди бегали, кружку испить просили. Помню, парень приехал из Сурахан, а его спрашивают:«воды привез?»

— Борц с собой всегда двадцать-тридцать бутылок нарзана привозил,— сказал Юсупов.

— И дороги у нас никуда, и грязь,— продолжал Абельфес,—но все так выходит как раз потому, что работать не умеем.

— Ну, покажи работу, — разозлился Анащенко, — покажи работу!

Поезд огибал промысел. По левую сторону пути были видны котлованы и насыпи, кое-где торчали широкие жерла труб. Это были места, где бурились первые бесплодные скважины, кладбище бесплодных буровых. На остановке часть пассажиров сходила. В вагон вошел нищий и запел трогательную песню о двух братьях—красноармейце и беляке — специально для мужчин. Люди выходили, толкая нищего, никто не обращал на него внимания. Нищий спокойно кончил петь для женщин и запел жалостливую песню для мужчин. Она кончалась так:

Два креста стоят,
Где лежит мамаша и дочь.
Я кончаю петь рассказ жалобный
И хочу вам мужчины сказать:
Если померла жена первая,
Не спешите вторую мать
Детям брать.

Нищему подавали мало и равнодушно, его провожали недобрыми и подозрительными взглядами.

Бурильщики сошли на первой группе и зашагали к буровым. Буровой мастер Агадулла встретил свою партию у вышки. Он стоял на мостках. Ветер раздувал его брезентовый плащ. Грохотал ротор. От постоянного крика и ветра движения мастера были решительны и величавы. Абельфес прошел к доске, где мелом была записана проходка вахты, глубина забоя. Агадулла внимательно посмотрел на сменных и шагнул к тормозчику.

— Расстегнись, — приказал он.

Тормозчик угрюмо повернулся к нему спиной и пошел к лебедке.

— Опять, Ваня, у тебя вида нет, — сказал мастер.

— Баба больна. Честное слово. В магазин ходил, хотел новую рубаху купить, номера не оказалось.

Агадулла замахал руками.

— Ты мне не закручивай, я тебя вижу насквозь. Сегодня ты без воротничка пришел, завтра ты скважину загубишь. В Америке люди в шелковых рубашках работают, а ты...

— Ты в Америке был?—спросил рабочий.

— Не был, а знаю. Люди говорят. Ты думаешь, раз грязная работа, то можно, как нищий ходить? В Москве люди метро строят...

— Ты в Москве был? — спросил его рабочий.

— Не был, а люди говорят. Ты что шутишь?.. Во дворец на танцульку итти, так и жена здорова и рубаха есть...

Он кричал долго, и всем было стыдно, и тормозчик угрюмо шептал:

— Уйду отсюда к чортовой матери. Душу он из меня тянет.

Агадулла вышел на мостки и вместе с Абельфесом начал осматривать трубы. Нагибаясь, он прикладывал руку к сердцу, словно хотел поклониться. В карманчике лежали часы, и он боялся их выронить. Абельфес ломиком поворачивал трубу за трубой, Атаев говорил:

— Мы их научим, — и прутиком от метлы проводил по резьбе замка, проверяя нарезку.

Верховой поднимался на полати.

— Довольно копаться, — крикнул он с лестницы.

Агадулла поднял руку над собой — помолчи-ка там—и злорадно воскликнул:

— Ага! — На одной трубе резьба была сбита — две нитки блестели серебром. Агадулла победоносно посмотрел на бурильщика и пошел к телефону.

— Кала? Отдел снабжения давай.

Абельфес, усмехаясь, направился к желобам. Серый, как бетонное молоко, бежал по желобам глинистый раствор.

— Какой качаете?—спросил Абельфес сменившегося бурильщика. Тот пригладил волосы, посмотрелся в карманное зеркальце и ответил:

— Один двадцать четыре сотых.

Абельфес окунул руку в раствор, взмахнул ей, стряхивая жидкость. Если раствор хорош, он покроет руку тонкой и серой, как лайковая перчатка, пленкой.

— Чистая рука, — закричал Абельфес. — Эй, один двадцать четыре, иди смотреть.

— Масло, а не раствор, — сказал бурильщик.

— Давай ареометр, — сказал Абельфес, — я тебе покажу.

Подошел Агадулла.

— Я им, в снабжении, сказал. Они пять дней трубку снимать не будут. Мне смятую резьбу давать?.. А ты что скандалишь?

— Масло, говорит,—буркнул Абельфес. — Пусть он на таком масле картошку жарит...

Буровой мастер взглянул на ареометр и сунул руку в раствор. Рабочий засмеялся и толкнул Абельфеса локтем. Агадулла смущенно обернулся, — это, конечно, не дело не доверять арео-

метру, вот чортова привычка,—и снова пошел к телефону звонить на глинозавод.

Толбин увидел голубую машину Кузьмина, когда директор сворачивал с Мардакьянского шоссе к первой группе бурения.

— Езжай за ним, — сказал Толбин шоферу, — он, наверно, пробирается к фонтану.

Нужно было поговорить с Кузьминым о разведке на новой площади, правда, говорить удобнее было бы в управлении или в промысловом геологическом бюро, но разве известно, когда директор вернется в управление?

Вскоре они нагнали директорскую машину. Геологи видели через целлулоидовое окошко машины, что Кузьмин оглянулся и, следовательно, узнал машину Толбина. Однако, директор ехал вперед и не обращал внимания на то, что Толбин следует за ним по пятам. У конторы они вышли одновременно.

— Я думал вы на фонтан, — сказал Толбин. — Опять бросает?

— Да нет, это ерунда, — сказал Кузьмин, — знакомьтесь.

Его спутник поднял брови и пожал Толбину и Машковичу руки.

— Как выполнение?

— Фонтан подгадил. Половина буровых со вчерашнего дня стоит.

Толбин крякнул.

— А говорите ерунда. Николай Михайлович, отгадайте загадку.

— Трудную? — засмеялся Кузьмин, — трудную не отгадаю.

— Не очень. Скажем, две недели назад я ездил в Лок-Батан и на повороте к нагорному парку посреди дороги лежал здоровенный камень. Так? Теперь, скажем, я ездил на Лок-Батан сегодня. Спрашивается, лежит на дороге камень или нет?

— Лежит, — ответил Кузьмин

— Вы отгадали, — сказал Толбин, и все рассмеялись.

— А теперь я вам загадаю загадку.

— Трудную? — спросил Толбин, — трудную я не отгадаю.

— Такую же. Скажем, нужно починить трубопровод. Трубопровод проходит под полотном дороги. Ремонтная бригада починила трубопровод. Спрашивается, что должен делать шофер, когда он приблизился к этому месту, и что должен сделать пассажир?

Все рассмеялись, не выслушав ответа.

— Иосиф Ильич ничего бы не сделал, у него всегда особая посадка, — сказал Машкович.

— Почему же это происходит, Николай Михайлович,—сказал Толбин.— Разве нельзя не принимать работу у ремонтной бригады до тех пор, пока шоссе не будет заделано так же, как было до ремонта трубопровода.

— Можно, — сказал Кузьмин.

— А бурить без открытых фонтанов?

— Тоже можно.

— Пошли всерьезную?

— Валяйте.

— В чем же дело?

— А вы не знаете? — и с хитрым видом Кузьмин произнес, — мощные пласты.

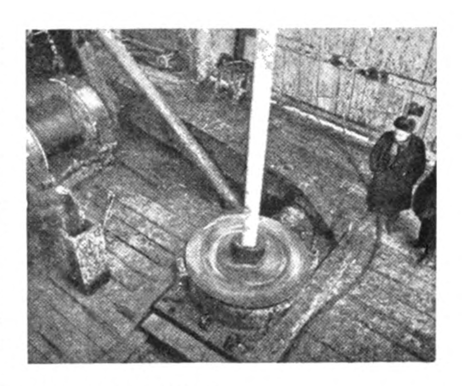
Все рассмеялись, но Слуцкий не понял и промолчал.

Да, это была самая лучшая отговорка — мощные пласты. В самом деле, это уж такая объективная причина, уж такое ни от кого не зависящее обстоятельство, что остается разве только радоваться — какая мы богатая страна. По сути дела это так и есть — мы богатая страна, богатейшая в мире. Но Америка в мощности пластов не уступает Апшеронским залеганиям, однако, фонтанов там нет, и бурильщики, по свидетельству того же Кузьмина, во время бурения играют в футбол.

У Кузьмина не было желания говорить всерьезную. Толбин не хуже его самого понимает, в чем причины наших недостатков. Из Америки Кузьмин кроме технического опыта, впечатлений о прекрасно налаженном автодорожном хозяйстве, кроме потребности в ежедневном бритье и чистом воротничке, вывез добродушный юмор, который, смягчая житейские неурядицы, делает мужчину мужественным и таким, какого приятно хлопнуть по плечу и сказать о нем — хороший парень. Что это за вопрос: можно ли бурить без открытых фонтанов? Конечно, можно. Нужно уметь работать и не будет открытых фонтанов и не будет грязи на промысле, и работа будет

итти во много раз лучше и быстрей— без аварий и без простоев, американскими скоростями проходки. Но научиться работать! О, тут длиннейшая цепь...

Несколько лет тому назад эта цепь была гораздо длинней. В нее включались все звенья, предшествующие добыче нефти: и предприятия, готовящие металл для оборудования. (следовательно, коксохимические и огнеупорные заводы и т. д.), и машиностроительные заводы, и трубопрокатные заводы, и вузы, готовящие кадры для промыслов и для заводов, и карьеры, где добывается глина и где добывается барит. Множество этих звеньев отпало или отпадает,— страна растет и растет быстро, и люди обучаются уменью работать. Однако, эта цепь еще достаточно длинна. Оборудование и теперь еще не идеально, его нехватает, и приходится иногда бурить по пяти скважин одной сменой труб, тогда как в Америке почти на каждую скважину идут новые трубы. И трубы определенного сорта у нас не всегда одинакового качества, и долотья не всегда одинаково наварены, но главное сейчас не в оборудовании и не в инструментах, на них жаловаться особенно нельзя. Промысел режет глина и вода. Разве Толбин этого не знает? Можно не говорить о том, что нехватает барита — материала, который необходимо добавлять в раствор для увеличения его удельного веса (а нехватает барита потому, что организации, снабжающие им, часто не выполняют план), но обычный глинистый раствор готовят на промысле глинозаводы. Качество же работы глиноземов не всегда безупречно. Бурильщики, зачастую, невнимательно следят за циркуляцией и часто в скважину закачивают недоброкачественный раствор. Скажем, скважина газирует, газ насыщает раствор, делает его более легким, а бурильщик не замечает этого и не меняет циркуляцию. Вот вам, пожалуйста. выброс или фонтан номер один. Если же бурильщик достаточно опытен и, скажем, сменил циркуляцию, но вскоре ему нужно снова ее менять или, может быть, увеличить удельный вес, или вязкость и он звонит на глинозавод, а глинозавод не поспевает дать



Вращательное бурение

ему раствор—вот вам выброс или фонтан номер два. Поставить у каждой буровой запасные чаны с глинистым раствором? Это легче всего сделать, пожалуй. Но это значит — долой механизацию, систему централизованного снабжения — даешь кустарщину, мешалки, баб с лопатами. Так?

Они подходили к буровой.

— Агадулла,—закричал рабочий,— Кузьмин идет!

— Баран кричит, когда его режут,— прошипел буровой мастер и вышел на мостки. Кузьмин остановился перед вышкой, озеро грязи, выплюнутое 205-й буровой, не давало пройти. Агадулла молчал.

— Атаев, где тут переправа?—спросил Кузьмин.

Буровой мастер усмехнулся.

— Ищите броду, Николай Михайлович. — Он стоял торжественный, под брезентовым плащом сверкала белая рубашка. Верховой крикнул с полатей.

— По досточкам, по досточкам, Николай Михайлович. Что же это 205-я пачкает?

— Ладно, — сказал Кузьмин, — обошьют.

Толбин с удивлением смотрел на эту нарядную буровую. Среди моря грязи, среди сумасшедших дорог работала партия Агадуллы, и люди были одеты так, словно отсюда, с буровой, должны были отправиться в театр.

Слуцкий, усмехаясь, думал о том, что Кузьмин привел его сюда для аги-

тации и, хотя это была наивная затея, ему стало очень приятно. Приятно, когда чувствуешь заботу о себе.

Вид у бурильщиков на вышке Агадуллы был шикарен. Но не этот же внешний облик определил успех буровой. В конце концов и нарядно одетый человек может безобразно работать. Не белый воротничок решает судьбу скважины. Это ясно. Агадулла прежде всего умел бурить. Бурить так, как требует каждая данная минута, внимательно следить за раствором, не нажимать, где не надо, не зевать и не «сушить» инструмент в скважине. Но кроме того Агадулла умел добиваться от подсобных предприятий точного выполнения требований скважины. И это, пожалуй, самое главное. Если ему привозили трубы со сбитой резьбой на замках, он заставлял отдел снабжения переменить замки. И в следующий раз снабженцы были аккуратнее с погрузкой, и уж Агадулле не привозили резьбу с брачком. Если мастеру требовалась более густая циркуляция, — он заставлял глинозавод дать ему то, что нужно. Работать среди традиционной неряшливости очень трудно. Но выбить эту неряшливость, исправить это производственное косноязычие во всех звеньях — от поставщиков оборудования до бурильщиков — еще трудней. Открыть промысел было трудно. Нужно было преодолеть традиции старых геологов и разбить их привычные представления о тектонике Апшеронских пластов. Нужно было справиться с мощными газовыми фонтанами. Нужно было суруханским бурильщикам научиться вскрывать неистощенные калинские пласты. Нужно было наладить транспорт и получить оборудование. И многое нужно было сделать еще. Но, пустив промысел в эксплоатацию, не менее трудно было решить такую проблему, как проблема руководства и исполнения, решить вопрос о кадрах, создать стиль работы на советском предприятии.

Бурильщик остановил ротор и пустил лебедку. На скважине начался подъем инструмента. Слуцкий тронул Кузьмина за рукав.

— Николай Михайлович, — сказал он, — вы правы, я ничего не понимаю. Если Агадулла, один Агадулла может работать, так как надо, почему десять других мастеров не могут также хорошо работать, несмотря на все? —

— Барита нехватит, — засмеялся Кузьмин и пошел к телефону. В эту нелепость, как и в то, что фонтаны неизбежны из-за мощности пластов, убежденно верили многие бурильщики. Истина лежала рядом — в умении обуздать газовые пласты, в умении добиться необходимого количества барита для промысла.

Агадулла поднял руку.

— Есть хорошая пословица, — сказал он, — нельзя одной рукой держать два арбуза.

— Вот правильно, — остановился Кузьмин.

— А ты и не держи, — добавил мастер, — у тебя вторая рука есть.

Кузьмин снова развел руками, засмеялся и взял трубку.

— Кала? — сказал он, — дайте мой кабинет. Слушайте, что там 205? Стала? Пробка? Ага, хорошо.

— Ну, слава богу, — сказал Агадулла.

— Вот какие дела, — сказал Кузьмин, — надо вытягивать цепочку, — и повернулся к Слуцкому.

— Ну, что вы решили?

Слуцкий пожал плечами.

— Я согласен завтра приступить к работе, — улыбнулся он.

Культура на промысле

А. Алиев

Зам. директора промысла им. Кагановича

Еще пять лет тому назад площадь, занимаемая промыслом Кагановича, называлась Кара-Чухур, что значит по-русски «Черный ров». Здесь у склона горы паслись стада баранов амираджанских и зыхских крестьян. Чуть поодаль серое каменистое плато привлекало внимание охотников, промышлявших змеиными шкурами.

Новый нефтяной промысел стал строиться с 1931 года. Вышки, компрессорные, конторы, рабочий поселок — все это возводилось бурно, стремительно. Испугавшись, змеи переполали в более укромное место, стада перекочевали на более тихие пастбища.

Пока создавался промысел, люди, строившие его, мало обращали внимания на чистоту и культуру. Многие нефтяники в то время утверждали, что промысел без грязи, в порядке существовать не может. «Образование луж и болот из глинистого раствора, грязь в буровой,— говорили они,— явление неизбежное».

Мы, люди нового, советского промысла, не могли считаться с традициями, возникшими еще при старых хозяевах Баку. Мы создавали новый промысел, и именно здесь нагляднеи, чем на старых промыслах, можно было видеть, что захламленная территория, загрязненное оборудование или поломанная машина, клоп на воротнике и грязная одежда враждебны высокой производительности. Со всей энергией мы решили бороться за культурный быт на ряду с внедрением культурного производства.

Эта борьба за культуру промысла началась год назад. За это время мы накопили некоторый опыт, и я рад поделиться им.

Начать надо было с промысловой территории, которая уже успела покрыться грязью, обрасти неряшливыми постройками и утонуть в нефтяных болотах.

Почему, главным образом, загрязняется промысел? Из бурящейся скважины выбрасывают глинистый раствор вместе с разбуренной породой. Эта жидкая серая масса разливается на десятки и сотни метров, образуя лужи, преграждая дороги.

Мы предложили при сооружении вышки одновременно делать амбар для спуска раствора. Эта мера значительно помогла нам в борьбе за культурный промысел. Но привычка к неряшливости и грязи все еще срывала культурные начинания. Мастер 253-й буровой Бабулла иронически посмеивался над нашим приказом и попрежнему заливал дорогу раствором. Тогда мы остановили однажды на двое суток работы в буровой и заставили бригаду очистить дорогу. Это помогло. Мастеру внушили, что борьба за чистоту промысла—это не вздорная затея и не «кампания», сейчас мы с удовлетворением можем сказать, что старые болота осушены, а новых больше не будет.

Мы снесли временные монтерские будки и конторы, похожие на шалаши, и построили прочные дома. Для управлений группами выстроили так называемые «стандартные» дома с отдельными кабинетами для руководителей, для партийных и профессиональных организаций.

Одна из особенностей нефтяного производства такова, что буровому мастеру, инженеру, руководителю группы подчас приходится быть на промысле несколько суток подряд. Утомленные люди, вырвав короткую минуту отдыха, укладывались на столах или просто в буровой — выспаться. Мы построили для них три дежурки. Дежурка — это уютное помещение с чистыми кроватями. В дежурке можно получить днем — обед, вечером — ужин, в любое время суток — чай.

Работа на нефтяном промысле ведется, главным образом, в буровых. Буровая — это, по существу, самостоятельный хозяйственный организм со своим сложным оборудованием, механизмами, штатом бурильщиков, тормозовых, верховых, рабочих, руководимых буровым мастером.

Грязный станок, плохо смазанный насос — мы знаем это из практики — ведет к остановкам и авариям. Чтобы повысить скорость проходки, чтобы достичь американских скоростей, нужна предельная четкость работы буровых механизмов, нужна безукоризненная чистота.

Осушив болота, мы взялись за очистку промысловой территории. На субботниках приняли участие сотни рабочих. Мы засыпали

ямы, подравняли дороги, подвели к буровым подъездные пути, а главное, убрали разбросанное по всему промыслу оборудование.

Но в буровых было все еще грязно.

Пол в буровых месяцами не подметался и не мылся. Шагая по болотам, жонглируя по проложенным через болото доскам, рабочий добирался до своей буровой и, пробыв в ней вахту, уходил домой, похожий на трубочиста.

Однажды в буровой я спросил у рабочего— деревянный или железный подшипник у станка? Рабочий долго смотрел на то место, где должен быть подшипник и потом молча пошел за кувалдой.

— Вот, сейчас постучим по этому подшипнику и узнаем какой он,— стараясь обратить все это в шутку, ответил смущенный рабочий.

Чтобы навести хотя бы элементарный порядок, мы снабдили буровые: метлами, лопатами, промывочными штангами. Это, естественно, не могло решить успеха нашей борьбы за чистую буровую. Здесь нужна была иная организация людей и перераспределение обязанностей. И мы обязали в каждой вахте: тормозового отвечать за чистоту мелкого инструмента и насоса, верхового — за чистоту верхней части оборудования, бурильщика — за чистоту бурильного станка, и рабочего—за чистоту самой буровой и культурной будки.

Наши мастера Шихали Абасов, Яр Ялп, Бектемиров, Азбукин, Счастливцев, Спиридонов, Али Абас и другие в короткое время сделали свои буровые, свои станки и все оборудование образцовыми по чистоте и культурности. Теперь эти мастера — наши знатные люди.

Надо сказать, что чистая буровая сыграла не последнюю роль в рекордном ускорении проходки на нашем промысле.

Но были и закоренелые в грязи мастера вроде Лагутина, который считал, что грязное оборудование и буровая совершенно законное явление для нефтяного промысла и поэтому, мол, нечего бисер метать. Лагутин умышленно не хотел приводить в культурный вид свою буровую, и хотя он был и квалифицированным мастером, мы вынуждены были снять его с работы и перевести в бурильщики.

Мы установили правило: мастер не принимает новую буровую, если возле нее разбросаны доски, навалены камни и песок, если не выкрашен станок, если грязен мелкий инструмент. В каждой буровой были заведены специальные ящики для мелкого инструмента. Постепенно стал меняться не только пейзаж промысла и внешний облик людей. Многие рабочие приезжают на промысел уже в чистых костюмах, оставляя их в шкафах культурной будки. После работы, умывшись в той же культурной будке, они вновь переодеваются в чистое платье. Это явление, правда, еще не массовое, но дело клонится в эту сторону.

Еще совсем недавно наши рабочие и даже специалисты считали обросшее бородой лицо и грязный костюм чертой хорошего тона. Производство, мол, отнимает столько времени, что некогда побриться и привести себя в порядок. Положение изменилось, когда мы создали на промысле парикмахерскую.

Однажды, вскоре после этого, ко мне в кабинет пришел заведующий инструментальным складом Абдуллаев. Его запущенная черная борода взывала о бритве. Я не стал с ним разговаривать. То же проделали и другие руководители промысла — мы отсылали небритых работников в парикмахерскую. Это помогало: люди стали следить за своей внешностью.

Как-то, идя по промыслу, я обратил внимание на то, что Азбукин, один из лучших мастеров промысла, безобразно запустил свою буровую и культурную будку. Он так загрязнил глинистым раствором дороги, что невозможно было подойти к его буровой, а культурная будка буквально плавала в разлившемся на несколько десятков метров болоте.

Я вызвал мастера к себе и сказал:

— Я не приду к тебе в буровую до тех пор, пока она не будет чистой.

Вечером я поехал на квартиру Азбукина, он занимает несколько комнат в новом корпусе. Жена мастера, аккуратная женщина, навела в квартире чистоту и уют. Азбукина не было дома. Я рассказал его жене о грязи в буровой и попросил пристыдить мастера.

Прошло несколько дней, и Азбукин пригласил меня в буровую. Я не знаю, что на него больше подействовало,— внушение жены или мое демонстративное нежелание посетить его грязную буровую. Во всяком случае, теперь она по чистоте немногим отличалась от квартиры мастера. Каждый болт и рычаг, пол буровой и дорога,– все было безукоризненно чисто.

Меня увлекла удача моего опыта с мастером Азбукиным. Я обошел 22 квартиры наших рабочих и специалистов, из тех, что появлялись на промысле неряшливо одетыми и грязными.

В квартире заместителя заведующего первой группой бурения Али Мирзы я увидел развешенную по стенам замазученную спецодежду. В комнатах в беспорядке валялись вещи. Али Мирза стал приглашать меня выпить чаю, я отказался: «Мне неприятно в такой грязи пить с тобой чай,— сказал я.— Убери, тогда приду».

На следующий день, не предупредив Али Мирзу, я послал на его квартиру рабочих сделать побелку.

Али Мирза — инициативный хозяйственник, хороший специалист, сам принимающий участие в нашей борьбе за благоустроенный, культурный промысел,— понял, что он, командир социалистического производства, не имеет больше права жить в грязной и неряшливой домашней обстановке. Его надо было только натолкнуть на эту мысль. Мы это сделали, Али Мирза не только очистил от грязи свою квартиру, но и с величайшим усердием расставил цветы и взялся за озеленение своего приусадебного участка.

То же произошло и в квартире бригадира группы эксплоатации Асавердиева. Семья его не следила за чистотой квартиры, а сам бригадир, много уделяющий времени промыслу, не успевал заняться своей квартирой. Мы привезли жену бригадира на промысел, показали ей культурные будки, чистые буровые, рассказали о том, как ее муж борется за благоустроенный промысел. Жена бригадира стала примером для жителей всего нового поселка.

Ясно, что на этом остановиться мы не могли. Понятие культурный промысел содержит в себе много элементов. И одним из них мы считаем озеленение.

На старых нефтяных промыслах, существующих 60—70 лет, при всем желании невозможно было найти хотя бы одно дерево или зеленый куст. Цветам и зелени вход на промысла был запрещен.

Нобели, Ротшильды и другие нефтепромышленники по совершенно понятным причинам не проявляли заботы о рабочих. Им нужна была только нефть. Ее они добывали нечеловеческой эксплоатацией нефтяников.

За прошедшие 15 лет, после национализации нефтяной промышленности, советская власть создала новые промысла и поселки. Баку становится одним из самых благоустроенных городов нашего Советского Союза. Но только несколько лет тому назад стал расцветать зеленью город нефти.

Дело в том, что многие «ученые мужи» утверждали, что климат и почвенные условия в Баку исключают возможность роста зеленых насаждений. Эта теория распространялась на городские площади и на пригородные участки.

О промыслах говорили коротко: пропитанная нефтью промысловая площадь не даст цвет зелени. Бесполезны самые разговоры об озеленении промыслов.

Секретарь партийного комитета тов. Варунц пригласил на промысел специалистов-садоводов и рассказал о нашем намерении озеленить промысел.

Такого опыта в Баку еще не было. Мы начали с разбивки зеленых площадей возле зданий управления промысла и групп.

Архитектора Бакинского совета составили проекты. Работы начаты.

В нынешнем году мы предполагаем создать основную аллею, соединяющую наш промысел с промыслом имени Орджоникидзе. Для этого уже вырыты 400 ям. Эти ямы выкладываются бутовым камнем и засыпаются землей. Насаждаются восмилетние сосны, высотой 3—3½ метра каждая. Вдоль аллеи расставляем скамьи.

Возле управления промысла асфальтируется площадь. Уже посажены мелиги — турецкая сирень — и различные вечнозеленые растения. Тут же строятя фонтан и беседки, устанавливаются статуи.

Чтобы представить себе, с какими трудностями связана эта работа, можно привести, например, такие цифры: для озеленения площадки возле управления пришлось взорвать и вывезти 500 кубометров камня, взрыхлить участок в тысячу квадратных метров и привести 600 кубометров удобрений. Такие работы проделаны почти на всех участках, намеченных к озеленению. Работы развернуты с таким расчетом, чтобы к апрелю уже сделать посадку корней.

Озеленение промысла — это радостное дело, возможное только на социалистических промыслах, сейчас привлекает внимание всего Баку. Руководители других промыслов приезжают к нам, знакомятся с нашим небольшим опытом и намечают провести у себя такие же работы.

Бороться за культуру промысла мы только начали. Мы будем вести ее до тех пор, пока не превратим наши промысла в зеленые цветущие сады, пока наши промысла не будут по чистоте и производственной культуре уступать нашим социалистическим производственным гигантам тяжелой индустрии.

Записал Н. Кулешов

в америке и в баку

Гарри Тупико—
американский специалист

Я работал 14 лет на американских и год на бакинских нефтяных промыслах. Этот срок достаточный, чтобы сравнить производственную культуру промыслов Америки с бакинскими.

Вспоминаю первые дни своего приезда в Баку. Этот замечательный город, одетый в блестящую асфальтовую одежду, с новыми парками и прекрасными рабочими поселками, оставляет глубокое впечатление.

Советская власть заботится о нуждах своих рабочих, благоустраивает их жизнь. На промыслах Баку почти возле каждой буровой ставится культурная будка. Я видел, как хорошо оборудованы эти будки: диваны, радио, телефон, газеты, умывальник, шкафы для платья.

На советских промыслах озеленяются площади, дороги, строятся скверы. Это делает работу нефтяника радостной.

В Америке этого нет. Там только где-нибудь в углу буровой пристраивается ящик для чистой и грязной одежды и поблизости буровой устроена баня и прачечная.

Но попав на нефтяной промысел, к сожалению, на ряду с этим наталкиваешься и на грязь и на непорядок. Видишь нефтяные болота, лужи, разбросанное оборудование и скверные ухабистые дороги.

На промыслах Калифорнии, например,— Вентюра, Эдвуд, Кателмен-Гильс, Калинга и других, даже при большом желании невозможно найти на промысле оставшийся после строительства мусор. Все лишнее немедленно убирается.

После того, как установлено место для строительства буровой, американцы проявляют свою заботу о дорогах. Американцы знают, что плохая дорога задерживает буровые работы и кроме того изнашивает транспорт.

Проезжая по тому же промыслу имени Сталина, вы видите рядом с прекрасной асфальтированной дорогой дорогу, изрытую ямами и выбоинами. Дороги — это культура. Я не говорю о том, чтобы все промысловые дороги были обязательно асфальтированы. Этого не надо. Даже не обязательно мостить все дороги. Но культура промысла, да и само производство, требуют, чтобы дорога была проезжая, без болот, ям и разбросанного на ней оборудования. Этого добиться нетрудно.

За год работы на нефтяных промыслах Баку я много раз убеждался в силе страстности и любви, с какой работают советские рабочие и специалисты. Такого энтузиазма я не видел нигде. Тем досаднее наблюдать те мелкие промысловые непорядки, которые так мешают овладению настоящей производственной культурой.

Буровые вышки сколачиваются из досок. Между тем я ни разу не видел у буровой партии простого плотничьего инструмента: топора, пилы, молотка, гвоздей. Для своей мелкой плотничьей работы буровой мастер вызывает плотника. И часто в ожидании ремонта останавливается бурение.

Цепи Галля в буровых работах играют громадную роль. Очень часто в местах соединения звеньев выскакивает шпилька и тогда, как это я наблюдал в ряде буровых, соединяют эти звенья простыми гвоздями. Такой, с позволения сказать, ремонт часто ведет к остановкам и даже авариям. А между тем, можно в любой промысловой мастерской заказать стандартные шпильки и снабдить ими буровые.

Или взять хотя бы такой факт. Помещение, где стоит насос буровой номер 813 промысла имени Сталина, сплошь обшито камышитом. В этом помещении окон нет. И где-то наверху пристроена 25-свечевая лампочка. В помещении темно. Рабочим приходится ощупью возиться с насосом. Эту же лампочку можно было бы повесить с таким расчетом, чтобы она рассеивала свет на все помещения.

Вот именно из таких мелочей и составляется производственная культура.

Работа нефтяника грязная. Он постоянно связан с глинистым раствором, с замазученным инструментом и т. д. Но я не видел в буровых тряпок для вытирания рук. Рабочий вытирает руки о свою спецодежду.

Кстати, о спецодежде. Я появляюсь на промысле в спецодежде американского образца.

Это очень удачный комбинезон с хорошо расположенными карманами. Нефтяник, надевая такой комбинезон, имеет возможность разместить в нем записные книжки, карандаш, мелкий инструмент, часы, метр и другие необходимые для работы предметы.

Почему нефтяников Баку снабжают страшно неудобной, на мой взгляд, спецодеждой, состоящей из неряшливо сделанных брюк и неудобной куртки? Из этого же количества материала можно сшить комбинезоны американского образца, которые значительно удобнее для работы.

Нефтяник в Америке работает в буровой обязательно в перчатках. Они сделаны, чаще всего, из брезента и одеваются на все пальцы. А в Баку нефтянику дают рукавицы независимо от размера его руки. Это тоже мелочь. Но и от этой мелочи зависит высокая производительность работы, или же, наоборот, авария.

В Америке нефтяника не допустят к работе в головном уборе, в котором он явился на промысел. Он одевает шляпу, напоминающую шлем с широкими полями. Эта шляпа предохраняет от случайных ударов и загрязнения лицо и шею.

В Америке и с оборудованием обращаются очень внимательно и заботливо: там возле каждой буровой построены 2—3 площадки. Там не сбрасывают, например, трубы прямо на землю; трубы от этого мнутся, портятся и срывается резьба. Там скатывают трубы с автомобиля на площадку, которая расположена на одном уровне с платформой грузовика. На этих же площадках идет сборка эксплоатационных труб и различные подготовительные работы для буровой партии. Мне кажется, что промысла Баку должны заимствовать и этот опыт американской нефтепромышленности.

Бурение в Америке не знает простоев. Это достигнуто правильной организацией работы. Предположим, готовится спуск колонны. Специальная промысловая бригада перед сборкой колонны осматривает резьбу каждой трубы. Если на ней обнаружен дефект, бригада тут же его удаляет. Эта же бригада подкатывает к буровой весь инструмент, чтобы у буровой партии не было ни минуты задержки.

Но если что-нибудь случилось с насосом во время бурения или же погас свет, для исправления не вызываются ни специальные мастера, ни бригады. В буровой есть все необходимое, чтобы немедленно отремонтировать насос или электролинию.

В каждой буровой в Америке имеется буровой журнал. В нем фиксируется до мельчайших подробностей вся работа буровой партии и все события, происходящие в буровой. Этот журнал по существу является биографией скважины и оборудования.

На бакинских нефтяных промыслах очень много говорят об американских скоростях бурения. Советские нефтяники хотят догнать и перегнать Америку и в этой отрасли промышленности. Это похвально. Скорости бурения, которых достигли американцы, понятно, не являются пределом. Они достигнуты, главным образом, внимательным, продуманным отношением к каждой мельчайшей детали нефтяного производства. Производственная культура американских промыслов и состоит из этих мелочей.

Я уверен, что бакинские нефтяники, которые проявляют в своей работе невиданный героизм и самоотверженность, скоро возьмут и эту крепость.

Записал Н. Кулешов

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ

Эм. Миндлин

I

Городок, в котором протекало ее детство, словно прибит неуемным ветром к подножию синих и коричневых гор. И только потому не несет его дальше, что — некуда. С одной стороны серо-зеленый сварливый Каспий, с другой — горы. В лицо городу — ветер солончаковых степей и моря. И весь Порт-Петровск — одноэтажный, иссушенный горячими игольчатыми ветрами, пыльный, окраинный... С гор Дагестана в город сходят молчаливые горцы в бешметах, украшенных газырями, бродят среди пестрых многоголосых базаров. Город пахнет гниющей рыбой, иодными испарениями водорослей, выброшенных на берег, нефтью, которая тут и там просачивается сквозь скрепления толстых труб нефтепровода Грозный — Петровск... В порту наливаются нефтью суда с черными, промасленными бортами. Отсюда плывут они через Каспий к широкой волжской дельте... Темнолицые грузчики тащат по круто поставленным сходням рыбу последних уловов — в бочках и плетеных корзинах, хлопок — в тюках, рис и зерно — в кулях из брезента...

Грузчик Имамалиев грузит и рыбу, и рис, и зерно, и хлопок, все что угодно,—платил бы деньги хозяин.

Камер — десятилетняя дочка Имамалиева—боится черных, короткобородых людей, работающих на пристани...

Все ее детство, которое, кажется, никогда не кончится, медлительное, протекающее среди множества непонятностей и страхов, все это детство маленькой тюркской девочки из города Порт-Петровск сопровождается длинным и долгим звуком ветра с моря и из степей...

Неверно, что человеческое детство — как сон золотой. Такое детство живет только в воображении взрослых, верующих в него, подобно тому как человечество с незапамятных времен верует в никогда не бывавший рай, в золотое детство народов, в давнюю пра-эпоху мира и счастья.

У тюркской девочки из города Порт-Петровск, родившейся в самый конец столетия, страхов так много, что можно бы их поделить между десятками детств, и все равно это были бы детства, полные страхов и непонятностей.

Она родилась женщиной — не вполне человеком, существом низшего ранга. Ее брат на год моложе ее и как ни унижен он перед отцом и как ни ниже отец их перед другими, но маленькая тюркская девочка ниже своего младшего брата, ибо брат — все же мужчина.

Так один из начальных страхов Камѐр — страх к мужчине в о о б щ е.

Был страхом — мужчина-городовой, мужчины-офицеры на улицах пыльного дагестанского городка, мужчины-горцы в домотканных бешметах. Мимо дома Имамалиевых два раза в день проходил самый непонятный из всех мужчин. У него была черная маленькая бородка и кривое пенсне на носу. На голове фуражка с синим околышком и гербом, а на плечах — черный плащ-разлетайка. Маленькая Камѐр из всех мужчин больше всего боялась мужчины в черном плаще. Она говорила себе, что он «самый страшный», бежала в дом, завидев издали «разлетайку». Несколько раз он снился Камѐр, и тогда она кричала во сне.

Страх жил не только в образе человека. Так пугал воображение православный собор с золотыми и серебряными священниками и русской толпой, «страшной» как все вообще русское. Были «страхи», которые она не могла видеть: страх-бог, страх-царь. Таким же отвлеченным невидимым страхом были «Россия» нечто неопределенное, пугающее и существующее там, за горами и морем. «Оно» представлялось ей миром мужчин с главным мужчиной — царем.



Девушка с апельсинами Худ. Мангасаров

Страх был мужского пола. Все, чего боялась она, как-то само собой принимало в ее воображении мужеподобный облик.

С затаенным дыханием шла сквозь детство маленькая тюркская девочка, подавленная иерархией страхов.

Она знала, что есть какой-то другой мир, куда отправляются после смерти. Брат, который обучался с другими мальчишками, сообщил ей, что Аллах наказывает грешников вечными муками, а для праведников имеется у него обильный сад с гуриями. Но и слово «праведник» было мужского рода, и никто не говорил ей о «праведницах». Рай, как и земной мир, казался ей миром, принадлежащим только мужчинам. И она не могла представить себе, что станется с маленькой девочкой на том свете, если она умрет.

Она была убеждена, что звезды — блестящие золотые стеклышки, иногда слетающие на землю, и так часто думала об этом, что однажды они приснились ей: она набрала полную горсть звезд, но они прожгли ей руку и унеслись на небо.

Она прожила до четырнадцати лет в Порт-Петровске, на берегу Каспийского моря, пугаясь всего и всех.

На улице, у ворот дома Имамалиева, четырнадцатилетнюю Камèр однажды остановил Сражедин—офицер русской армии, черноусый сорокалетний чеченец. Расставив ноги, он преградил ей дорогу и, улыбаясь, смотрел, как она стояла, прикрывая рукой лицо и повернувшись боком к бесстыдному офицеру. Потом он позволил ей пройти дальше и заметил дом, в который она вбежала. В другой раз он послал денщика за грузчиком Имамалиевым. Лежа на диване, он сказал грузчику, что дочка у него хороша. Оражедин подумает еще—может быть, даже возьмет ее, а Имамалиевым убытка не будет от этого. Имамалиевы знали, что значат подобные женитьбы офицеров-чеченцев, и какая цена посулам офицерским. А Оражедин вновь посылал денщика за отцом Камèр и, встречая ее на улице, норовил преградить ей дорогу, называя по имени, уговаривал отвести руку от молодого лица, показать свою красоту, зазывал в гости.

Тогда, чтобы спасти дочку, Имамалиевы решили поскорее отдать ее замуж за кого-нибудь из своих. В мужья был определен Аликпер Ахвердов, двоюродный брат матери, бездетный вдовец, лет на тридцать старше Камèр. Он жил в Баку и работал там на нефтяных промыслах.

Ей было четырнадцать лет, когда ей сказали, что она будет теперь женой Аликпера, и увезли ее по железной дороге в город Баку.

Они стали жить в двух комнатках с низкими прокопченными потолками в Сураханах. Домик одноэтажный, кое-как вылепленный из глины, частью сложенный из пористого песчаника. Такие жилища лепились одно к другому, образуя тесный поселок среди черного леса облитых нефтью вышек.

Ей пришлось привыкать к панораме промысла. Все казалось, будто она не туда попала. Она воспринимала бесчисленные окружавшие ее черные башенки, как растущие из земли громадные и злые растения. Муж каждодневно уходил в этот черный промасленный лес, был тих и неразговорчив.

Сперва она боялась его, тосковала по матери, несмело отвечала на его вопросы, сама никогда не спрашивала ни о чем. Потом привыкла к тому, что он — хозяин ее. Привыкла, — что если выйти из дома, то увидишь все тот же лес вышек; куда ни взглянешь — все растущие, растущие черные прозрачные башни... Лес черных башен...

Все, что окружало ее, воспринималось ею, как однажды и навсегда сотворенное при самом начале мира. Нефтяной промысел — заболоченная нефтью земля, вся поросшая черными вышками, — был для нее местом, где тюрки и персы могут заработать на жизнь. Она знала еще, что все это принадлежит каким-то хозяевам, о которых слыхала от мужа. Зачем хозяевам эта некрасивая, дурно и тяжело пахнущая нефтью земля, что происходит дальше с нафтой — жидкостью, которую вытаскивают из земли, — об этом она не умела думать.

Аликпер однажды сказал ей, что его дед имел когда-то свой собственный немалый кусок земли. О, если бы дед Аликпера не продал землю, Ахвердовы были бы богачи! И Аликпер был бы,

как, например, Тагиев, или Султанов— хозяева. Он тоже был бы хозяин! Но тогда все продавали свои участки. Эта земля не кормила: ветры иссушали ее... Аликпера тогда не было на свете. Каждый тюрк с радостью отдавал свой участок за тридцать, за пятьдесят рублей. И только один из нищих крестьян отказался продать. Он был едва ли не беднее всех остальных. В городе и в порту он тащил на себе самые тяжелые грузы. Он был носильщик-амбал. И он не взял даже ста рублей. Сначала думали, что он сумасшедший: амбалы часто сходили с ума. Дорого бы дал Аликпер теперь, чтобы его дед в то время оказался таким же сумасшедшим, как тот! В старости этот носильщик-амбал стал так богат, что его дом превратился в сокровищницу драгоценных вещей Запада и Востока. Он понял, раз инженеры так добиваются, чтобы он продал им свой кусок земли, значит земля эта стоит чего-то. Он не торопился продать. И в конце концов решил: нужно не продавать, а рыть. Первый колодец он рыл собственноручно... Потом он стал нефтепромышленником, богачом, его дети тоже нефтепромышленники, богачи... И Аликпер был бы тоже нефтепромышленником, богачом, если бы его дед поступил так же, как умный амбал. Тогда бы сотни других Аликперов тащили сейчас желонками «нафту» из глубокой земли. А «нафта»— это золото.

Так впервые до сознания Камѐр дошло, что «нафта» — это золото, то-есть, что за «нафту» дают золото, а за золото дают все. Но подобно тому как ей не приходила в голову мысль, почему же за золото дают «все», — она и не задумывалась над тем, что за «нафту» дают золото. В ее представлении «хозяева» продавали «нафту» кому-то чрезвычайно отвлеченному. Проданная «нафта» каким-то образом исчезала в неуловимом тумане, все происходило «где-то», «как-то».... Камѐр не умела думать так долго...

Она принимала как неизбывное долженствование: тюрки работают в черном лесу нефтяных вышек. Она не у м е л а задать себе вопроса — почему они д о л ж н ы это делать.

Она долго не могла забыть рассказа



Это не тюрьма. Это старая квартира рабочего

мужа о том, как умер его дядя. Он работал на промыслах. В те времена не было еще ни одной вышки. Люди тащили из земли только такую «нафту», до которой можно достать, если рыть очень глубокий колодец. Из этих колодцев нафту черпали ведрами на длинных веревках. Но иногда колодцы засаривались. Что-то в глубине мешало ведру доставать до «нафты», а бывало, что требовалось углубить колодец, пройти вглубь земли. В тех и в других случаях спускали в колодец человека на длиннейшей веревке. Ни за одну работу так не платили, как за такую, потому что не было тяжелей ее. Дядя Аликпера погнался за заработком — вызвался углубить колодец. Спустили его на веревке — а обратно вытащили мертвым. Он не выдержал нефтяных газов — задохся. Вместо него полез другой. Так бывало всегда... Съедает «нафта» людей.

Камѐр слушала такие рассказы с широко раскрытыми глазами, полными страха и недоумения. К «нафте» у нее выработалось отношение: нафта—враг, как враг — русский. Но нельзя уйти от русского и нельзя уйти от нафты. Это— судьба. Так положено...

Пока она не стала матерью, Аликпер изредка занимался с ней грамотой. Он умел читать по-тюркски и писать сотни две слов. Он показал ей, как это делается. Ее веселило и удивляло, что можно посмотреть на черные крючочки, сделанные карандашом на бумаге, и сразу понять, что думал человек, когда делал их.

Медленными шажками двигалась она по узкой тропинке грамоты. Однажды

она поняла, что станет матерью. Ей шел пятнадцатый год.

Иногда она подглядывала за чужими детьми, бегавшими в поселке, за грязными, черномазыми человечками в тряпье, пахнущем нафтой.

Вот как и ее ребенок будет бегать современем. Вырастет и станет «тартальщиком», как Аликпер — человеком, вытаскивающим нафту из глубокой земли. Не уйти от нафты.

Родилась девочка — Зара. Камèр подумала: вырастет дочка, отдаст ее Аликпер чужому, как отдали Камèр в Порт-Петровске.

«Но пока ты—моя! Ты—я! Ты—я!»

Она качала ее и пела песни те же, что пела ей ее собственная мать, и те же, что ее матери пела когда-то бабка, мать матери... Никто не учил Камèр этим песням и если бы спросили ее, она ответила бы, что «не знает, откуда она их знает». Эти песни появились в ней, как молоко для ребенка.

Через год она родила сына. Его назвали Гаджи-Бала.

Когда ей исполнилось семнадцать, она родила в третий раз и опять сына. Ему дали имя Теймур...

Она вскормила их песней и молоком. Ты, Зара, станешь, как твоя мать. Чужой возьмет однажды тебя из рук отца, и ты родишь чужому детей. У них будет обыкновенное детство, полное страхов и непонятностей. Дочери будут рожать детей, а сыновья тащить нафту из глубокой земли. И вы, Гаджи-Бала, и Теймур — вы будете тащить нафту из глубокой земли, а нафта — это золото, а за золото дают все. Нафту вы будете тащить для хозяев... Каждый из вас возьмет в жены чью-нибудь дочь, тихую и покорную, как все жены тюрков. И у каждого из вас будут дети: дочери, чтобы рожать детей, а сыновья, чтобы тащить и тащить из земли черную нафту. И никогда не кончится этот порядок. Потому что, сколько ни живет на свете Камèр Ахвердова, жена Аликпера, ничто на свете не изменяется.

Спи, Теймур, сын!

II

В революцию она услыхала, что жизнь м о ж е т меняться, и изменила свое отношение к жизни. Маленькими лучиками, продирающимися сквозь туман ее сознания, появились первые неловкие мысли о том, к а к о й ж е может быть жизнь? Дошедшее до нее отвлеченное слово «свобода» она немедленно перевела на язык собственных понятий. Она представила себе: если тюрк н е м о г уйти от врага-нафты, значит теперь он м о ж е т. Будет д р у г а я жизнь. Она смотрела на сыновей Гаджи-Балу и Теймура и воображала себе их с в о б о д у. Дети Зары не будут работать на нафте. Она не знала еще, что же станут делать в жизни ее сыновья и внуки и она сама с Аликпером. Но ей казалось, что революция для того и случилась на свете, чтобы люди ушли от зараженных нафтой земель. В ее глазах нафта нужна была только хозяевам, продающим нафту за золото...

Несколько месяцев спустя после начала революции ей на дом принесли повестку, в которой было написано ее имя. Именно ее, Камèр Ахвердову, жену Аликпера, приглашали участвовать в выборах в Учредительное собрание. Она уже слыхала о том, что в бесконечно далеком Петрограде, который и в мыслях вообразить себе невозможно, соберутся выбранные люди и решат, как теперь жить дальше, какой порядок будет на свете...

Она держала повестку в руках и сама себе казалась теперь больше, важнее, значимее. Она словно выросла в собственных глазах... Это е е зовут...

Женщины шли отдельно от мужчин. Они собирались в мечети на Персидской улице. Камèр Ахвердовой было так хорошо на душе, что она выступила перед своими женщинами и, даже не сбиваясь, сказала им, что теперь свобода и все переменится. Ее выбрали в избирательный комитет Персидско-Кантапинского района.

В избирательном участке, который помещался в мечети, украшенной голубыми изразцами, раздавали избирателям пачки листков с большими черными номерами и именами людей, неведомых ни Камèр, ни другим женщинам. Она спросила русскую женщину, что значат номера на листках и как знать, которые люди лучше? Русская женщина отозвала ее в сторону и стала

рассказывать о разных партиях. Оказалось, есть такая партия, которая хочет все изменить и даже женщинам станет «свободно». Русская женщина говорила: женщинам «выгоднее» голосовать за список номер пять. Чем больше людей пройдет по этому списку, тем лучше для женщин.

Тогда Камѐр стала на широком крыльце мечети и уговаривала тюрчанок голосовать за список номер пять, если они хотят лучшей жизни.

Кто-то прогнал с крыльца и кричал на нее, называя «большевичкой». Мужу пожаловались на нее. Он набросился на Камѐр. Что она понимает в этих делах — женщина? Или она думает, что люди не решат без нее вопроса о новой жизни? Если хозяин узнает, что в семье Ахвердовых—большевичка, то Аликпера прогонят с промыслов! И тогда — что? Он чуть не прибил ее. Ты — женщина! Вот твои дети! Вот твой дом!

...Все, что происходило потом,—предстало в сознании Камѐр, как прямое следствие поражения «пятого списка». Это была победа мужчин над неосуществленной свободой женщин. На ее глазах в маленьком Азербайджане происходила война. Из дальних стран пришли чужие люди, не говорящие ни порусски, ни по-тюркски. Им нужна была нафта так же, как хозяевам Аликпера. Камѐр поняла, что эти люди воюют из-за нафты. Темная жидкость, умеющая гореть, которую добывают из глубокой земли, стала для нее личным врагом, еще более ненавистным, чем прежде...

Росли дети. Самой себе она казалась старухой. Была война. И, наконец, пришли люди пятого списка.

Притихшая было Камѐр встрепенулась. Она вообразила: повторится все, что уже было однажды — ей пришлют повестку, призовут к новой жизни. Она волновалась и все ждала. Ее забыли! Но в Сураханах открылись курсы по подготовке женщин к работе в детских садах. Она читала объявление. Оно начиналось: «Ж е н щ и н а!» Но ведь это была — она! Она остановилась, как будто ее окликнули. Ж е н щ и н а —это было почти что ее собственное имя. Да, так зовут ее — «женщина». Она поняла, что адресуются к ней лично. В сущности, это была та же повестка.

...Аликпер так сжал и закрутил руку жены, что Камѐр закричала от боли и стала плакать. Аликперу казалось: жена призывает позор на его дом. Еще никогда не было слышно, чтобы тюркские женщины, матери детей и жены своих мужей, уходили из дома учиться ухаживать за чужими детьми.

Камѐр Ахвердова — первая из таких женщин. Через три месяца она окончила курсы и попутно узнала множество вещей, о которых не имела понятия.

Детский сад открывался в Мардакьянах — на берегу моря, в окрестностях Баку. Камѐр слышала, как доктор сказал: воздух Сураханов отравлен нефтью, дети не должны жить там.

— Ты кончила курсы, Камѐр Ахвердова. Поезжай в Мардакьяны и работай там в детском саду. Ты можешь взять с собой своих детей, и они будут дышать воздухом, который сделает их здоровыми.

Аликперу казалось, что его жена сходит с ума. Забрать детей и уехать из дома! Возиться там с чужими детьми! Воздух?

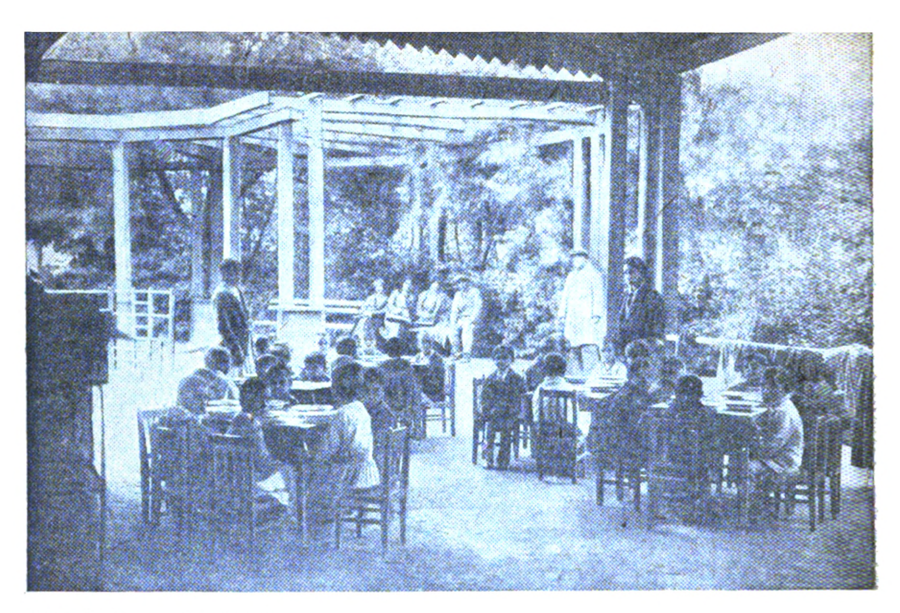
Но так никогда не бывало. Он не находил слов...

Камер колебалась. В самом деле, так никогда не бывало. Всегда страшно сделать то, чего до тебя никто никогда не делал.

Камѐр сделала это первая.

— Я буду приезжать к тебе, — сказала она на прощанье. — Ведь детям лучше. Там их будут учить и воздух там настоящий.

В дачном поселке, в небольшом саду — двухэтажный дом. Висячая стеклянная галлерея опоясывает его. Этот дом выстроил тот самый богач-нефтепромышленник, который был когда-то носильщиком тяжестей и не захотел продать инженерам своей нищей земли даже за сто рублей. Про него рассказывал Аликпер молодой жене. Детский сад открыли на даче этого человека. Здесь скрывался он когда-то от пятидесятиградусной бакинской жары. В галлерее стояли деревянные бочки с померанцевыми деревьями. В одной из комнат вся стена была из цельного зеркала, а в другой — зеркало-потолок.



Детский сад открыли на даче

Из галлереи можно было смотреть на белозеленое море, свободное от маслянистых пятен проклятой нефти. О, это не Сураханы!

В детском саду было сто детей. Камèр Ахвердовой казалось, что она — мать всех ста.

Она думала о них и вспоминала, как была маленькой. Она памятью видела страхи, наполнявшие ее детство. Она открыла, что сто детей детского сада не боятся так, как она боялась в своем детстве. У них не было ее страхов.

Страх умер, по крайней мере тот, что окрашивал детство тюркской девочки несколько лет назад.

Когда Камèр смотрела на свою дочь Зару, на десятки других своих «дочерей», она убеждалась: они не растут в страхе перед мужчиной. В самом деле, ведь им никто не внушает, что они ниже других. С ними Камèр.

Мыслям тесно в ее голове. Мыслей так много, что для них нехватает места. Часто она не знала, как называются вещи, о которых она думала. Она думала о них не словами, а представляла себе зрительно жизнь людей и то, что могли люди делать. Различные картины возникали в ее воображении, но она не всегда могла рассказать их словами, так чтобы и другие увидели то же. А между тем ей хотелось говорить и говорить, думать «про себя» и вслух. Ей нравилось думать. Она смелела и решалась публично выступать и делиться мыслями. Ее знали в Мардакьянах, в Сураханах и в женском клубе Баку.

Через два года — беспартийная — она работа в отделе работницы и крестьянки в Сураханском райкоме партии. Однажды она сказала своим товарищам, что «внутри себя она давно партийная» и ей надо теперь по-настоящему записаться в партию. Ее приняли.

С замиранием сердца она продолжала ждать: когда же наступит главный момент и советская власть скажет: «Люди, бросайте эту отравленную землю, на которой не растет трава, в которой нет ничего, кроме нафты. Живите в садах и стройте дома со стеклянны-

ми галлереями, как дом в Мардакьянах!»

Закрывая глаза, она представляла себе торжественный исход людей из Сураханов....

Она проходила сквозь чащу вышек и видела: они были мертвы. Старые, почерневшие, они были покрыты затвердевшей масляной корой. Немногие из них жили неторопливой тяжелой жизнью. Они словно не успели еще умереть. Желонки еще выходили из далеких глубин, наполненные черной нефтью с песком и опрокидывались в открытые «амбары» — огороженные валами участки земли, искусственные бассейны с густой черной жидкостью:

«Зачем? Зачем? — думала маленькая тюркская женщина. Как будто нельзя без этого?»

Однажды она наблюдала, как грязевой фонтан, руша высокую вышку, бил из земли. Сорокаметровая струя с прерывистым гулом рвалась из скважины. Грязь была стального цвета — полужидкая и комьями. Комья разлетались в разные стороны. Они падали возле Камèр. Она нагнулась и подняла мягкий комочек глины. Он был еще теплый. Она сжала его в руке. Ей пришло в голову, что эта глина летела из глубокой земли — из тех мест, откуда идет черная нафта. Она закрыла глаза, чтобы зрительно представить себе глубь земли...

В другой раз она наткнулась на новую буровую вышку. Это поразило ее. Люди бурили землю. Где-то, сокрытое, вертелось долото. Работал станок. Люди толкались вокруг. Она помнила: и прежде бурили землю, и прежде таскали нафту из земли. Но вот уже сколько времени не работала ни одна буровая. Еле-еле работали несколько эксплоатационных вышек. Ей казалось «нафту докачивают», и скоро—конец.

Но новая буровая? Значит — люди хотят еще нафты? Значит здесь еще будут и будут трудиться, как трудились прежде. А как же сады с померанцевыми деревьями, и воздух для маленьких детей, и свобода?

Она пошла в райком партии к пожилой русской женщине, которая заведывала отделом работницы и крестьянки, и рассказала ей о своих сомнениях. Вот она — член партии, а все-таки много не понимает. Зачем свободным людям черная нафта? Разве нельзя без нее?

В райкоме решили, что ей надо учиться. Ей предложили поступить на курсы. Нельзя быть в партии и не понимать самого главного. Кто ей сказал, что советская власть отказывается от нафты? Она ничего не слыхала про декрет советской власти о национализации нефти. Она даже не знала, что это значит — «национализация».

Она слушала с поникшей головой. Ей казалось некоторое время, что она обманута в своих надеждах.

И она поступила на курсы.

Так проходит ряд лет, в течение которых маленькая тюркская женщина, мать троих детей, изо дня в день пополняет свои знания. Она читает книги, русские и тюркские, слушает лекции и доклады и ведет партийную работу и... домашнее хозяйство.

Когда ей исполняется тридцать лет и она оглядывается на свое прошлое, и вспоминает семнадцатилетнюю тюркскую женщину, только что родившую в ретий раз и чувствующую себя старухой, — она замечает, что перевернулось что-то в счете обычных календарей, и страсть предшествует теперь ученическим годам.

Ахвердовы живут в квартире, когда-то принадлежавшей богатым купцам Балаевым. У них — электричество, ванна, паровое отопление, в комнатах — зеркала. Старый Аликпер Ахвердов возвращается в конце рабочего дня домой. Он заглядывает в большую комнату, посредине которой — громадный балаевский стол для парадных обедов. Жена и трое детей сидят за столом в позе школьников и одолевают науки. Они помогают друг другу. Все учат уроки. Аликпер вздыхает и на носках идет дальше. Пусть учатся.

Внезапно он заболел и долго мучительно умирал от рака печени. Это было почти накануне ее экзаменов в Бакинский филиал Промакадемии Закавказья.

На квартиру к Ахвердовым пришли старые тюрки. Они принесли длинный открытый ящик, завернули Аликпера в старенький коврик и всунули в этот ящик. Камèр с Зарой и Теймуром сели в фаэтон, а открытый ящик с мерт-

вым Аликпером Ахвердовым положили у них в ногах. Гаджи-Бала̀ сел рядом с кучером на высоких козлах. На другом извозчике ехали старые тюрки. Извозчики потащились на далекое тюркское кладбище.

Завтра у Камѐр — первый экзамен. Все эти дни она много училась. Она делила время между ухаживанием за больным Аликпером и учебниками...

На другой день она держала экзамен и поступила в Промышленную академию. Она получила стипендию. Гаджи-Бала̀ окончил семилетку и на время поступил учеником слесаря. Теймур еще бегал в школу...

Она была первой из трех первых тюрчанок, решившихся стать инженерами.

III

В один из июльских дней 1934 года Камѐр Ахвердова шагала по грязной дороге на участок своей группы. Она — только что окончивший инженер. Ее специальность — эксплоатация глубоким насосом. Ей тридцать пять лет.

Первые самостоятельные мысли Камѐр Ахвердовой были о том, что свободные люди уйдут с земли, несущей в недрах своих черную нафту. «Нафта нужна только хозяевам, продающим ее», — так думала когда-то тюркская женщина и мечтала о времени, когда народ покинет эту землю, обдуваемую худшими ветрами на свете, перекочует в новую жизнь. И новая жизнь представлялась ей в виде обширной стеклянной галлереи с померанцовыми деревьями... Струится прохлада и терпко пахнут недозрелые померанцы на ветвях... А нафта — зачем людям она?

И вот в июльский день, в сорокаградусную жару пробирается Камѐр Ахвердова сквозь чащу вышек на свой участок, где она сама будет руководить добычей нефти из глубокой земли. И как можно больше нафты добыть в самые малые сроки, — мечтает молодой инженер, тридцатипятилетняя женщина. Как можно больше горючего для своей страны!..

Гаджи-Бала̀ поступал в вуз. Он не знал еще — кем ему стать. «О, я уеду отсюда! Почему непременно нефть?»

Он называл своих товарищей, которые избрали другие пути: как будто человек, рожденный в Баку, обязан всю жизнь быть нефтяником!.. Есть множество разных профессий, в конце концов. А здесь — грязь, грязь, вечная грязь!

Камѐр понимала его. Она вспомнила свои давнишние мечты. Да, но она тогда была все равно, что слепая, а он — образованный, комсомолец, должен все понимать. Нефть? Но как посмотреть на нее! У Камѐр вдруг нашлись убедительные слова о прекрасной нефти. Нафта нужна для машин, освобождающих человека и прислуживающих ему! Машин, без которых нет новой жизни! И Гаджи-Бала̀ не хочет давать нафту своей стране?

Ей казалось — он не имеет права уклониться от роли нефтяника. Горючее — это жизнь машин. Машина — это свобода трудящегося человека. Ты понимаешь, Гаджи-Бала̀?

В землях нашей страны — три миллиарда тонн нефти. Быть может, и много больше, но три миллиарда — это то, что уже открыто и взвешено на точных весах науки. Нефть — под землей, но геологи уже взвесили ее в своих кабинетах. Если у нас будут добывать по тридцати миллионов тонн в год, — нефти хватит на сто лет. Однажды нефть кончится на земле, как кончится уголь. Ну, что ж — на Украине, вблизи Днепростроя уже пашут без тракторов, электричеством. Через сто лет будут открыты замечательные, удивительные новые источники энергии! Через сто лет люди перестанут тащить из земли черную нефть.

Через сто лет! Но сейчас ты должен Гаджи-Бала̀ остаться. Она говорила с ним изо дня в день, как могла, увлекала его работой на промыслах. И она убедила его. Мать сделала все, чтобы сын поступил на геологическое отделение Нефтяного техникума. Дочь Зара к этому времени уже училась на последнем курсе Медицинского института.

— Кем же ты будешь, Теймур?

Но он уже подал бумаги в Нефтяной институт. Он слышал все разговоры матери с Гаджи-Бала̀. Он хочет стать инженером по механическому бурению. Бурить скважины в глубокой земле. Он достигнет глубины в три, нет в четыре тысячи метров. Не то,

что теперь! Его скважины будут самые глубокие в мире. Иначе нет никакого расчета поступать в техникум. Пусть Гаджи-Бала — геолог узнает, где там нефть под землей. Где бы она там ни была, Теймур достигнет ее. Все это увлекает его, как спорт. Как ты говоришь, мать, — через сто лет люди выкачают из земли всю нефть? Сто лет— хороший срок для работы.

Его не пришлось уговаривать.

...В июльский день пробирается молодой инженер, тридцатипятилетняя женщина, по территории промысла.

Огромный промысел безлюден. Он похож на бескрайний черный лес. Полуразобранные вышки тут и там напоминают то сломанные бурей стволы исполинов, то молодую поросль, или кустарник. Стадо необыкновенных черных животных с хоботами, ушедшими в землю, наполнило лес. Они пьют и пьют черную влагу из-под земли. Стадо поднимает и опускает свои хоботы, проникшие в землю, поднимает и опускает... Качаются и качаются насосы-качалки, кланяются и кланяются металлические головы... Сосут и сосут нефть насосы, приведенные в движение электричеством. И только изредка человек, начальник машин, обходит послушное стадо металлических работ — все ли работают?

Гордость наполняет сердце Камѐр. О, это совсем не то, что тащить нефть желонками, как тащил ее когда-то бедный Аликпер. Это совсем не то, что стоять над душой каждого насоса и собственными руками помогать ему. Приказывать машинам — это другое дело. И когда она видит издали человека — начальника этих машин, она отворачивается, чтобы перед глазами у нее была совершенно безлюдная панорама, только сотни и сотни как бы самостоятельно работающих машин.

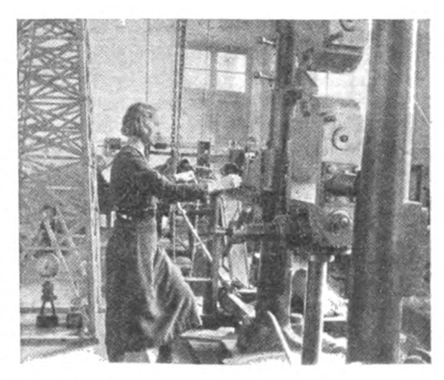
И все-таки неудовлетворенность не покидает ее. Перед ее глазами все еще та удивительная фотография, которую она видела полчаса назад на стене в кабинете начальника промысла.

На фотографии — промысел в Калифорнии. Пальмы растут между вышками. Сколько ни вглядывайся — не обнаружишь ни следа нефтяной капли. Цветы и зелень у самого подножия вышки. И люди в широкополых шляпах с незамаранными руками. Да, это сад,—и дорожки в этом саду посыпаны чистым песком, — и не промысел, а сад, в котором растут и пальмы, и померанцы и нефтяные вышки...



Завтрак в школе

Камѐр вспоминает слышанный позавчера доклад на партийном собрании. «Догнать и перегнать Америку в темпах бурения и добычи!». Что говорил докладчик? Что скважину в полторы тысячи метров американцы за какой-нибудь месяц и бурят и вводят в эксплоатацию? А нам на полторы тысячи метров и полгода мало. Иной раз и год пройдет, прежде чем такая скважина начнет работать у нас. Американцы научились доставать нефть с глубины в две с половиной тысячи метров! А мы?



Испытание бурильных труб в Азии

«Догнать и перегнать», — думает Камѐр Ахвердова.

Но ничего не сказал позавчерашний докладчик о том, что в Америке пальмы на промыслах и цветы у подножия вышек и ни одна капля нефти не упадет на лепесток цветка.

Догнать и перегнать, да—и в бурении, в темпах эксплоатации, и в работе компрессорных, но и в этом — в пальмах, в цветах, тоже догнать, перегнать. Ни слова об этом не сказал бакинский докладчик.

Она с тоской смотрит на землю, по которой идет. Десятки лет портили эту и без того трудную землю. Пускали нефтяные фонтаны на воздух, выбрасывали жидкую подземную грязь, промасливали здешнюю почву... К моменту, когда пришла сюда Камѐр Ахвердова — земля стала черной и вечно влажной от нефти, тридцати- и сорока метровые вышки повторяются запрокинутыми в черных зеркалах грязных озер.

Камѐр думает... Технически — это осуществимо: качать нефть из скважины так, чтобы ни одна капля не летела на землю. Да, но Баку — не Калифорния. В Калифорнии оставалось только не испортить нефтью уже растущие на территории промысла пальмы. А здесь...

— Здравствуй, Ахвердова! — Ее встречает Федоров, инженер ее группы. Он торопит ее. На вышке № 349 что-то неладно. Качалка качает, — а нефть не идет.

Камѐр бежит на «триста сорок девятую». Она — инженер. Рабочие смотрят на нее вопросительно. Чтобы испытать насос — она велела скважину наполнить водой. Вода держалась в скважине. Насос был цел. Тогда она подняла штанг. Жидкость не уходила из труб. Она поняла, что произошел обрыв, либо штанг отвернулся...

В конце дня она вернулась к прерванным мыслям. О чем она хотела подумать? О том, что Баку — не Калифорния. В Калифорнии оставалось только не уничтожать естественный сад на промысле, а здесь — даже если бы эти десятки лет не нефтянили почву, то и тогда пришлось бы ее переделывать для сада. А теперь?

Если там сад создан на нефтяных промыслах самой природой, то здесь мы должны создать его сами. Ей кажется, она поняла, что значит перегнать далекую Калифорнию.

Сад! Она смотрит на землю, по которой идет. Песок, пропитанный нефтью. Почва для сада?

И вдруг озлилась: да зачем же продолжают безжалостно разбрызгивать и разливать нефть. Как будто нельзя сделать промысел чище!..

Может быть, вы помните, читатель, мелкие газетные сообщения, напечатанные в газетах летом 1934 года. В них говорилось, что рабочие некоторых нефтяных промыслов в Баку устроили субботник по очищению территории. Кажется, субботники были названы «походом за культурный промысел». Попросту говоря, промысел очищали от грязи.

Так вот, — инициатором этих субботников была Камѐр Ахвердова.

Они, в самом деле, убрали там изрядное количество грязи и даже прорыли канавы для стока. Но вскоре на тех же участках новые буровые принесли столько новой грязи, что канавы все переполнились, и вокруг стало еще грязнее, чем прежде...

IV

На окраине промысла, вблизи новой, только начавшей работать, буровой вышки, стоит небольшое, сбитое из крепких досок, строеньице. Оно несколько старше вышки, ибо было уже готово, когда еще устанавливали бурильный станок. Рабочие буровой партии успели быстро протоптать тропинку к узкой двери строеньица. Это их «культ-будка». Видимо, «будка» пользуется у них успехом—иначе с какой бы стати человек стал приходить за тридцать минут до срока вахты, лишь затем, чтобы провести в будке лишние полчаса.

Не зовет ли его сюда зеленый куст с пальцеобразными листьями в большом деревянном горшке, или эти маленькие продолговатые цветочки с темно-красными жестковатыми наощупь лепестками? Где еще на всей территории промысла, или на участке жилого своего поселка—где еще может увидать

человек сочную зелень листа, красный цветок? Товарищи его не удивлены, что он, пятидесятилетний буровой мастер, суровый, немногословный, бережно снял с края цветочного горшка упавший на него лепесток цветка и с нежностью глядит на него, и более того, прячет его в записную книжку...

Каждый, входящий в будку—тронет пальцем землю в горшках—достаточно ли влаги цветам? В будке мягкая мебель, газеты, журналы на столе. Книги на полке принадлежат передвижной библиотеке. Работники библиотеки обменивают книги буровым партиям в «культ-будках». Иначе,—когда бы выбрал человек время—потащиться в далекий Дворец культуры в Сураханы? Будка—крошечный филиал Дворца культуры. Он в одном шаге от места работы.

И даже патефон—на столе.

Стоило поставить у каждой буровой по культ-будке—и как не бывало опаздываний на работу. Куда там! Вахта ждет своей очереди в соседстве с вышкой. Люди пришли пораньше, чтоб успеть почитать газеты, послушать музыку. Ну... и, что бы вы думали... и поглядеть на листья куста, на цветок!

— Очень хорошо, — говорит Камѐр Ахвердова. — Значит, стоит сделать более приятным место работы, и человек работает лучше.

Если бы ее не знали как добросовестного работника, как большевика, как маленькую тюрчанку, ставшую большим человеком—ее обвинили бы, чего доброго, в стремлении всегда и везде порочить быт промыслов.

Происходит производственное собрание. Докладчик из ЦК профсоюза доказывает необходимость повысить темпы бурения, быстрее добывать нефть. После него берет слово маленькая женщина с черными резко седеющими волосами, в синей блузке с кожанным поясом. Она вносит странное предложение. Она предлагает организовать широкие, планомерные работы по рытью канав. Она спрашивает:

— Почему в Америке нет грязи, а у нас есть? Почему в Америке ни одна капля нефти не падает на землю, вся нефть, вся грязь при бурении и при эксплоатации идет по трубам, а у нас—лужи, болота на каждом шагу? Может быть, мы отстаем в темпах работ в значительной мере именно потому, что работаем в такой обстановке, что сами себе мешаем работать? Грязь! Грязь! Грязь! Почему?

Профсоюзный докладчик кивает головой: действительно работать надо «по-культурному». Он может что-либо подобное сказать даже во время доклада, не дожидаясь бурного выступления Камѐр Ахвердовой. Профсоюзный докладчик уже привык к слову «культурность». Деревянным голосом он будет призывать работать чище, «культурнее», но слово это уже успели омертветь.

Уговаривать нефтяников работать чисто—это все равно, что рекомендовать больному выздороветь...

В голове Камѐр Ахвердовой возникали картины преображенных промыслов.

— Товарищи! Мы вкладываем сотни миллионов рублей в строительство дворцов культуры, клубов, театров, детских учреждений, стадионов! Не может быть, чтобы хотя бы даже у нашей Азнефти не было средств для очищения промыслов! Мы сумели электрифицировать промысла, машины сами качают для нас нефть из земли. А вот чтобы ввести всю нефть в трубы, не лить грязь на почву, не работать в грязи—для этого где средства? Где добрая воля руководителей Азнефти? Товарищи! Где?

Она помнила свои давнишние мечты о том, что однажды люди уйдут с этой земли. Глупо! С земли нужно не уходить, а переделать ее, да еще так, чтобы и уходить с нее не хотелось. Да, переделать, товарищи!

Вот она отдыхала в Доме отдыха в Мардакьянах. Она сама видела: там выростили померанцевые деревья—и не в бочках, а в грунте, в земле. Там—зеленые аллеи, где не было ничего. Бакинские рабочие приезжают отдыхать в Мардакьяны и видят, своими глазами видят настоящую зелень, цветы. Видеть цветы—это уже отдых, товарищи. В Мардакьянах сейчас производят геологическую разведку. Что если в Мардакьянах будет открыта нефть? Прощай, первая и последняя зелень Баку, прощайте, аллеи хвойных! Не

будет вас, померанцевые деревья! Да, курорт Мардакьяны погибнет, если и там будут работать, как работали в Сураханах или на Биби-Эйбате. Разве вы не слышали, что в Америке в городе Оклахоме нефтяные вышки украшают бульвары города между цветочными клумбами? И по соседству с ними—маленькие кафе, в которых играет музыка и можно есть мороженое из фруктов? Ахвердова спрашивает: разве мы не должны и в этом догнать?

В конце концов к ней привыкли.

Пусть попробует докладчик сказать: «вот какие дворцы культуры выстроили в Баку!»

Вот что скажет тогда Ахвердова:

— Действительно, хороши дворцы культуры в Баку. Хотя, говорят, не так хороши, как в других местах. Но, товарищи! Дворец, это ведь больше, чем просто клуб, это наряднее, богаче, умнее. А почему в некоторых наших «дворцах» несет аммиачными запахами по коридорам? Почему во дворцах люди расхаживают в шапках и даже в пальто? Такие дворцы бывают? Вы видали, как пьют чай в тех клубах, которые бакинцы почему-то назвали «дворцами» да еще даже «культуры»? Видали? Вспотевшие люди в пальто и шапках теснятся в буфете, где торгуют какими-то черепичными пряниками и чорт знает чем. Нужно самому брать чай у стойки. Его дают без блюдца. Вы обжигаете пальцы и тащите горячий стакан к свободному уголку столика. Потом вы осматриваетесь—на каком из столиков освободилась чайная ложечка? Да! Да! Одна чайная ложечка обходит десять столов! Дворцы культуры, товарищи-профсоюзники? Бакинские рабочие дают 50 000 тонн нефти в сутки, а чайной ложечки для них не хватает?

— Души не пользуются успехом у нефтяников, — говорят работники профсоюза, когда в Баку их спрашивают, почему так мало душей на нефтяных промыслах?

Они утверждают, будто нефтяника трудно зазвать в душевую помыться. Все равно ведь—ему шагать домой по грязи!

Лучшее, чего добились в Баку, — «культ-будки». В каждой из таких бу-



Баку. Пляж.

док тетрадь. Рабочие заносят сюда свои пожелания, жалобы, требования. Кто читает эти тетради? Во всяком случае, не те, кто уверяет, что души не пользуются успехом. Нет душей. Тетради полны требований—дать, наконец, возможность нефтянику помыться, уходя с работы домой. В тех нескольких душах, что сбили из ржавого утиля—не бывает горячей воды. Неизмеренные количества газов улетучиваются в воздух, отравляя его. А на промысле не догадываются даже утилизировать газ для подогрева воды.

Камѐр Ахвердову можно видеть на собраниях с тетрадками, взятыми из культ-будок. Вы читали? Читали? Вы смеете болтать, что нефтяника не заманить в душевые?

Вы читали?

Она показывается на собраниях с газетой в руках. В газете—доклад Наркомтяжпрома на VII съезде советов.

Серго Орджоникидзе — о бакинских нефтяниках.

Вы читали?

«...Привычка к грязи у наших нефтяников огромная, и хуже всего, что они глубоко убеждены, будто иначе не должно быть и не может быть. А против грязи и некультурности надо повести решительную борьбу...»

Читали? Это как раз то самое, что думала и что доказывала Камѐр Ахвердова.

Рассказы о нефти

С. Урнис

1. Генуэзский фонтан

— Может ли Мамед Агаджан?.. Может ли он рассказать о первом фонтане? О фонтане на 55-м участке Биби-Эйбатской нефтеносной площади?.. О первом советском фонтане из 115-й скважины, на который несколько дней, раскрыв рот, смотрел весь город? Да, буровой мастер Мамед Агаджан может рассказать про этот фонтан. Он, старик, пускал фонтан. Он, вместе с прекрасным помощником Моисеем Исааковичем Лившицем. Слесарь Осташкин тоже был. Бурильщики, Кули-Усейн и Али-Агабада, были; Максимов Андрей был; рабочие Давнин, Шуров, Хрущов были.

Вот рассказ.

Посмотрите на меня. Хороший мужчина с толстыми ногами и руками. Самый сильный старик на промысле. Некоторые толкали в спину, все равно не падаю.

Тогда руки и ноги были сухие. В том, 1922 году, мы в день ели одну селедку с орешками. Орешки давали вместо хлеба, по четверть фунта на паек. Плотники падали с вышек, как заснувшие птенцы из гнезда. Другие боялись и привязывали себя веревками.

Работал я на Биби-Эйбате. Серебровский велел мне добуривать 115-ю скважину. Дырка эта еще до советской власти была пробита ударным бурением на семьсот с чем-то метров. До пласта оставалось семьдесят пять метров.

На промыслах тогда от старых хозяев осталось девятнадцать станков вращательного бурения. Работать могли только шесть. Но и с ними никто по-настоящему не умел обращаться. Когда промышленники привезли из Америки эти станки, к ним подобрали верных мастеров. Вышки огораживались заборами. Скрывали секрет работы.

Один станок привезли мне, на 115-ю.

Смотрим мы на него и ругаемся. Рабочие ругаются громко, как хотят, а я про себя. Буровой мастер всегда должен делать вид, что на промыслах для него нет ничего удивительного.

Киров и Серебровский подошли к вышке, смотрят на нас, а мы смотрим на трубы, на долотья, а слесарь Осташкин присел на круглую, как стол, стальную плиту и говорит: «Кажется это называется «ротор»?

— Правильно, ротор,— ответил Киров.— Скоро, товарищи, все буровые перейдут на вращательное бурение, кому-нибудь надо же начинать,— начинайте вы...

Он пришел к нам на Биби-Эйбат из Черного города. Ходил на старо-масляный завод. Устал наверно, присел тоже на ротор и рассказал, что завод скоро выйдет из ремонта. Позавчера он просил рабочих вычистить подогреватель думал,—провозятся неделю, а сегодня, оказывается, все готово. Сейчас старые трубы вывозят на арбах.

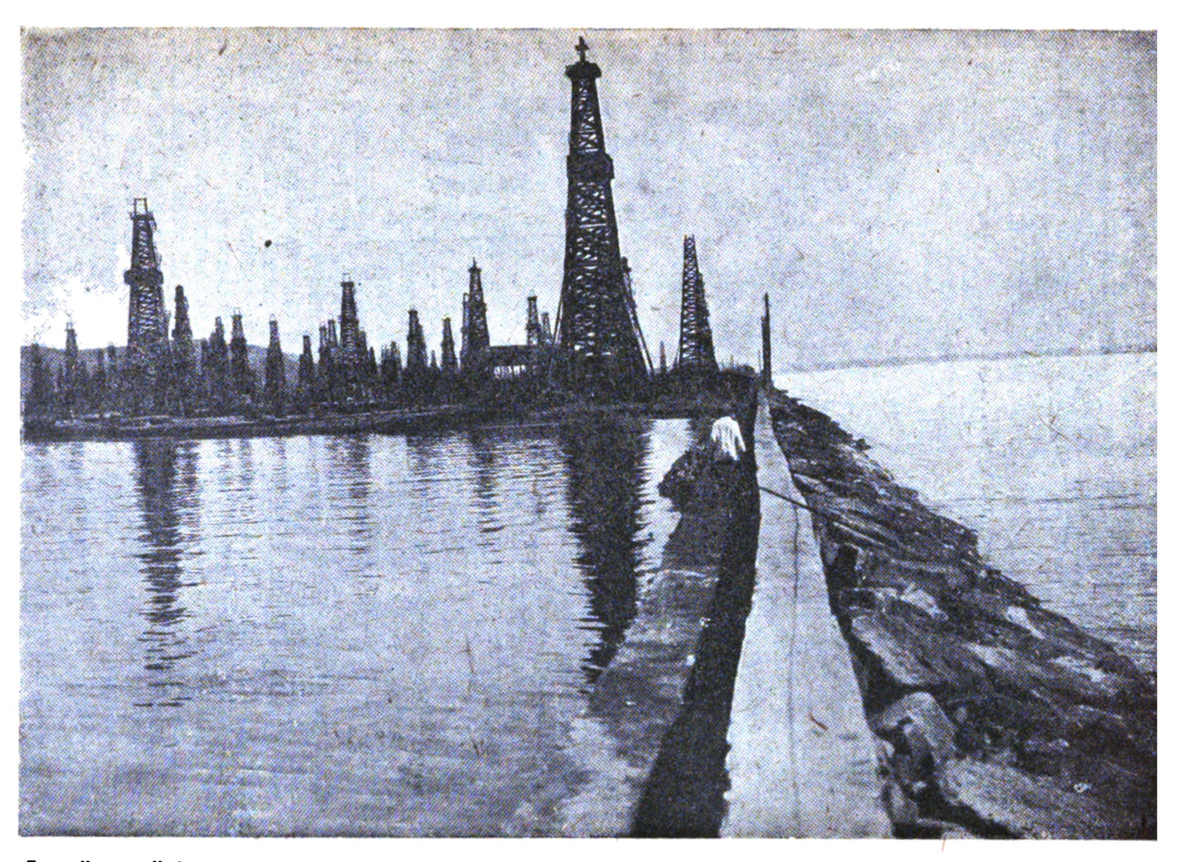
— Когда же начнете бурить?—спросил он нас.

Устанавливали станок долго, за какую вещь ни возьмешься — все в первый раз. Возился с нами инженер Весненко. В феврале начали опускать инструмент.

Бурили четырехдюймовыми сормовскими трубами, старыми, с испорченной нарезкой, переработанными. Неизвестно, сколько тысяч метров ими было пробурено до нас. Одну, две «свечи» меняли ежедневно.

Глинистый раствор делали из местной глины, а в ней половина песку. Насос засорялся, порода вымывалась плохо. Часто приходилось поднимать инструмент.

Бурим и удивляемся,— от такой работы обязательно должно несчастье



Бухта Ильича. Нефтяная площадь, отвоеванная у моря

быть в скважине. Но потихоньку, по метру в день, идем вниз.

Если работа у 115-й ладится, я иду смотреть на промыслы. Людей почти не видно. Больше половины разбежались в родные края. Персы в Персию ушли, русские через Астрахань на Волгу, армяне занялись сельским хозяйством в Нагорном Карабахе и Зангезуре.

У меня в те дни была одна страшная мысль: скважины, из которых перестали тартать нефть, обводнялись; раньше вместе с нефтью из них выбирали и воду. Промыслы могли погибнуть на долгое время. А что, если вода пришла и в мой пласт, и когда кончим бурить — нефти не получим? Сказать Серебровскому, или нет? Решил не говорить; все равно, скоро должны дойти до пласта.

К началу апреля кончили бурить, вынули инструмент, опустили обсадные трубы, зажали их и принялись желонкой растартывать пласт.

Нет нефти. Тартаем желонкой чистую воду с песком. Вода и песок. Песок и вода.

Я молчу, а сам уверен, что попали на обводненный пласт. Несколько дней тартаем воду. Как из колодца.

По утрам Серебровский отзывал меня тихонько в сторону:

— Ну, как?

— Вода.

— Сам вижу. Будет нефть?

Что ему ответить? Нефть и сейчас дело темное. Сказать о своих сомнениях?..

Две недели растартывали мы пласт. Думаю, еще два дня повозимся, ничего не будет — скажу о своих мыслях Серебровскому.

Как-то в середине апреля мы после работы собирались итти на митинг. С утра пришла на промысел жена одного рабочего предупредить мужей своих подруг, что они уже заняли места для них, поближе к трибуне, давно сидят, и пусть мужчины после работы сразу идут на Морское собрание, женщинам надо освободиться к детям.

В те дни много говорили и писали о Генуэзской конференции. Некоторые государства за царские долги хотели взять бакинскую нефть. На митинге должны были рассказать об этом.

Только ушла эта женщина, слышу зовет меня тартальщик. Поворачиваюсь и вижу: он опрокинул желонку. и вода из нее идет не чистая, а рыжая, с капельками нефти и газовыми пузырьками. С каждым разом в воде прибавлялся песок, и, наконец, он вытащил целую желонку песку, черного и жирного, похожего на зернистую икру.

«Ага, — думаю, — пошла «икра» — значит нефть будет». Это старая примета буровых мастеров.

Звонить Серебровскому? А вдруг что-нибудь случится? Засорится скважина? Нет, подожду.

Как только я это подумал, вижу над самым устьем скважины вырос «букет» нефти, вышиною с полметра. Мы не ждали ее так скоро, растерялись, а «букет» быстро стал расти, рос, рос, и с грохотом ударил фонтан. Вышка была старая, несколько досок сорвало сразу же, они упали на землю с первыми каплями нефти.

Рабочие полезли на вышку ставить заслоны, чтобы нефть не разбрасывало по сторонам, а я сел под этим ароматным дождем прямо на землю и смотрю на фонтан. От запаха нефти спать хочется, усталость прошла, земля теплая и дрожит, как испуганная собачка.

Взглянул я на фонтан еще раз повнимательней, побежал к телефону и говорю Серебровскому нарочно спокойным голосом:

— Не придешь ли, Александр Павлович, посмотреть на 115-ю... Тут у нас кое-что получилось.

Говорю я ему это, а сам чувствую в левой руке какую-то тяжесть. Смотрю — в руке тридцатифунтовый гаечный ключ. Вспомнил и засмеялся: я его поднял, как показался «букет», забылся и таскал с собой больше часа.

Весь город сгонял в амбары нефть нашего фонтана. Фонтан дал 23 миллиона пудов. Заметный был фонтан. О нем знали и на Генуэзской конференции.

Люди по пояс работали в теплой нефти, говорили о различных новостях и в шутку называли фонтан Генуэзским, как бы в ответ конференции.

Среди многих воспоминаний старых нефтянников о Серебровском обращает на себя внимание один рассказ нынешнего управделами Азнефти, тов. Ирмес.

В конце 1924 года начальник Азнефти Александр Павлович Серебровский поехал в Америку. К тому времени мы успешно вышли с нефтью на международный рынок; образовались средства для закупки новейшего технического оборудования для наших промыслов и нефтеперегонных заводов. Александр Павлович должен был произвести генеральную закупку.

В чем мы тогда нуждались? Во всем. По сравнению с американскими промыслами у нас ничего не было. Надо было покупать все, начиная от оборудования для нефтеразведки и кончая крекингами. Если издать составленные в то время списки самых необходимых вещей для нефтяной промышленности, то получился бы том не меньше «Войны и мира».

Коротко выражаясь, чемоданы Александра Павловича при выезде из Америки должны были занять несколько пароходов.

Вспоминаются первые ящики из Америки на дворе Техснаба. Люди в нетерпении срывали крышки, бережно вынимали детали машин, завернутые в промасленную бумагу.

Открывался новый мир. Над ящиками разгорались диспуты. Мы не всегда узнавали вещи. Особенно помню жаркие споры над первой партией глубоких насосов. Тогда мы их знали только по фотографиям и чертежам технических журналов и книг. Насосы были разных конструкций. Какие лучше для наших условий эксплоатации? Плунжерные, манжетные, плунжерно-манжетные? Инженеры спорили.

На дворе Техснаба собирались толпы людей у каждой новой партии ящиков оборудования. Все хотели видеть и знать. Сюда шли, как в кинематограф. Двор Техснаба превратился в своеобразный экран, на котором в течение многих месяцев беспрерывным потоком демонстрировались технические новинки американской нефтяной промышленности.

С каждым днем поток вещей увеличивался. Сотни ящиков таили в себе оборудование целых заводов. Так через двор Техснаба прошел завод глубоких насосов (завод Дзержинского), завод серной кислоты на 8 000 тонн в год, гвоздильный завод, ремонтно-механические мастерские для промыслов, пожарные депо, две электростанции с подстанциями и т. д.

Но однажды, разбирая ящики с деталями для узкоколейных пассажирских мотовагонов, мы вскрыли ящик несколько странного содержания: в нем были кухонные резиновые передники для хозяек. Люди хохотали, как если бы в серьезном техническом фильме вдруг появился Чарли Чаплин. По поводу необычайной посылки было несколько предположений: фирма дала передники покупателю Серебровскому, как премиальный товар, если нет, то это ошибка адресом, не иначе.

Однако, Америка не остановилась на передниках. Удивленные люди, разбирая сотни ящиков с машинами, время от времени встречались с вещами, вызывавшими недоумение: газовые, кухонные плиты; бритвы «Жиллет» со станочками; домашние ледничики; зеркала в металлических оправах; домашние ручные пылесосы; масса кухонной посуды; электропечи; диваны (они же — кушетка, комод и кровать); буфеты (они же — шкаф для платья), столы, стулья, шторы для окон; мороженицы; индивидуальные стиральные машины.

Позже из переписки с Александром Павловичем стало известно, что эти вещи необходимы для образцового рабочего поселка.

Пришли разборные стандартные американские рабочие коттеджи и посылки с чертежами этих домов; три рентгеновских кабинета, пять зубоврачебных и несколько комплектов первоклассного оборудования амбулаторий и лечебниц.

Казалось бы все стало ясно, назначение вещей известно, и удивляться больше нечему, но каждый новый день готовил нам сюрприз. В нескольких ящиках мы получили образцы прозодежды для рабочих разведывательных партий, промысловиков, шоферов, выкройки для костюма фабзайцев с точным указанием материала, из какого следует шить этот костюм.

Помню, вместе с оборудованием электростанций «Красная звезда» и имени Красина вынимали из ящиков линолеум, стиральные доски для белья, несколько умывальников и ватер-клозетов, порошок для чистки металлической посуды и порошок для мытья посуды, особые кухонные мочалки, щетки для натирки полов и автоматически вынимающиеся швабры, занавески, образцы постельного белья, ночных рубашек для мужчин, женщин и детей.

Детские ясли; обстановка родильного дома; образцы ботинок, носков и чулок для рабочих, их жен и детей; образцы игрушек...

...Так вот — мы раскрыли чемоданы этого человека. Попробуйте по вещам определить его!

„Тот, кто владеет нефтью, будет владеть миром, ибо он будет господствовать над морями при помощи тяжелых нефтей, над воздухом—при помощи сугубо очищенных нефтепродуктов и над землей—при помощи бензина и осветительных масел. А сверх этого он будет господствовать над своими собратьями-людьми в экономическом отношении, в силу того фантастического богатства, которое будет извлекаться им из нефти—этого чудесного вещества, которое сейчас все ищут и которое сейчас ценнее даже золота".

(Из меморандума французскому правительству Анри Беранже — французского промышленника и сенатора, 1919 год).

„Бензин — это кровь войны, капля бензина стоит капли крови".

Клемансо

„С началом войны нефть и ее продукты стали одними из первых факторов, с помощью которых союзники были вынуждены вести и могли выиграть войну. Как могли бы они без нефти осуществить подвижность флота, переброску своих армий или производство всякого рода взрывчатых веществ!.."

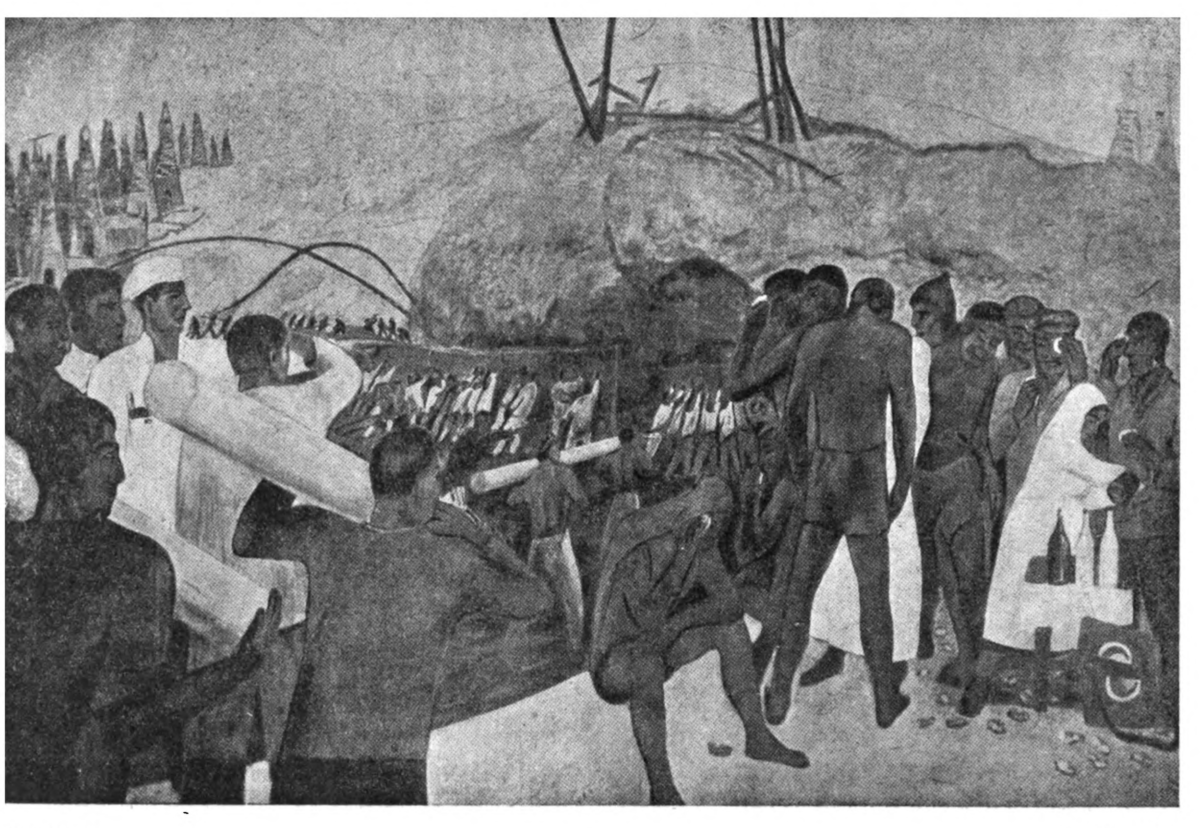


Лорд Керзон



Советская нефть—мощный фактор социалистического строительства, индустриализации, машинизации сельского хозяйства.

Кроме того, нефть занимает видное место в советском экспорте. За нефть мы получаем нужное нам оборудование.



Лок-Батан худ. Мангасаров

Арматуру надевали способом инженера Матевосяна. Подробности здесь никакого художественного интереса не представляют. Единственно заслуживает острого внимания момент, когда надетая арматура полетела к чертям.

Натягивая арматуру, мы не заметили, что между ее флянцем и флянцем обсадной трубы зажали отогнувшийся зубец «королевской короны» бурильной трубы. Газ быстро проник сквозь отверстие, и через несколько дней весь промысел опять затыкал уши ватой. Нашей работы как не бывало.

Охрипшие больные люди бродили по промыслу; многие забывали, зачем и куда идут; на буровых, расположенных ближе к фонтану, работа почти приостановилась.

Усталые и злые, смотрели мы на фонтан. Газ лупил по переплетам вышки, и она дрожала, как в ознобе; концы стальных канатов, свисавшие с ее вершины, извиваясь, метались в струе газа. Они напоминали морские водоросли в бурную погоду.

Секретарь райкома тов. Акопов позвал меня к себе, вынул вату из ушей и крикнул:

— От шума люди сойдут с ума. Закройте, пожалуйста, фонтан.

— Попробую!— крикнул я.

— Закройте!—крикнул он и сильно покраснел.

Опять мы с Булыгиным пошли к скважине.

В нашем положении флянец был единственной реальной надеждой. А он испорчен. Мы лишились подставки для арматуры.

Нужно было менять флянец. И поскорее. За это время газ так разъел внутреннюю, буровую трубу, что уже его свирепые струи били по обсадной трубе, на которой держался флянец.

Чтобы снять испорченный флянец, мы привернули к нему кусок трубы. «Привернули»— это быстро говорится. Два дня наводили трубу, фонтан отшвыривал ее в сторону; газ переедал стальные тросы, державшие ее; мучились так, что хотелось сесть и завыть; один хороший плотник, обозлившись на неудачи, побежал по промыслам, куда глаза глядят, пробежался и успокоился; некоторые жаловались на внезапно возникшую зубную боль, а с больными головами ходили очень многие.

Труба стояла привернутой к флянцу. Ширяев полез опять с нее канат. Но газ уже разъел основание флянца, и флянец, как коронка с гнилого зуба, упал вместе с трубой, при первом же прикосновении Ширяева.

Лежим мы с Булыгиным на полу буровой, у скважины под самым фонтаном, переписываемся, ободряем друг друга энергичными словами. Но все это показная бодрость — оба это чувствуем.

«Флянец отдельно ставить не будем,— пишу я ему, когда это и так известно,— он войдет вместе с арматурой».

А как войдет, я и не представляю себе.

От фонтана мы оба не хотели уходить, очевидно, по одной причине — людям надо сказать, что делать дальше.

Хоть бы какой-нибудь анекдот вспомнить, написал бы его Булыгину, он любит смешное — сразу бы настроение у обоих поднялось. Мы, старики, хорошо это знаем.

И выручил меня профсоюзный работник Сидоровский. Он внезапно выполз на четвереньках из-за бурильных колонн, прямо к фонтану. У него болели зубы, лицо было обвязано большим платком. На макушке, от узла, заячьими ушами торчали концы платка.

От неожиданности мы так развеселились, что я сразу придумал ему язвительную записку: «Не ищете ли Вы подходящего места для доклада о международном положении?»

Он, оказывается, не вытерпел и приполз узнать о наших делах.

На другой день положение прояснилось. Газ разъел патрубок, соединявший обсадную трубу с флянцем и теперь он тоже стал похож на корону с зубцами.

Наступил самый напряженный момент. Патрубок надо отвернуть и быстро поставить арматуру на муфту обсадной трубы. Если не успеем, фонтан разъест последний подземный кусочек трубы и тогда его уже не закрыть.

По создавшимся условиям заготовили новую арматуру; сели мы с Булыгиным на мол буровой и особым ключом с длинными ручками отвертываем патрубок. Работали так: сидя упирались руками в мол буровой, а ногами в ручки ключа. Постепенно, по волоску в час мы за два дня отвернули патрубок почти наполовину.

Дальше таким способом отвертывать было опасно. Вокруг патрубка мы обернули несколько раз канат, и рабочие, потянув за конец, сняли его. Свободный патрубок, попав в струю фонтана, отскочил к бурильным колоннам, за которыми я прятался и упал рядом со мной.

Арматуру навели удачно. Мне кажется, что если бы мы не сумели ее поставить, люди от ярости разнесли бы вышку и попытались бы заткнуть ревущую глотку фонтана голыми руками.

В момент, когда задвинули шиберы, грохот фонтана прекратился. Все, кто был на промысле, в недоумении остановились: за месяц люди привыкли к беспрерывному грохоту.

Мы вынули вату из ушей, и Булыгин по привычке разинул пасть и громко мне заорал:

— Позавчера вам жена звонила! Забыл передать!

По расчетам Госплана СССР в 1937 году — последнем году второй пятилетки:

весь автотранспорт, вся гражданская и военная авиация целиком будут работать на нефтепродуктах!

$^3/_4$ всего хлеба и прочей продукции сельского хозяйства будет получено при помощи тракторов, потребляющих нефтяное горючее;

$^1/_2$ всех грузов, идущих по водным путям, будет перевезена на нефтяном топливе;

$^1/_5$ железнодорожных перевозок будет также произведена с помощью нефтяного топлива.



---

4. Бутылка

Али Мардан нанялся работать подручным печника Ашоткина на постройку Масляного завода. Утром он спустился с горы и недалеко от губернаторского дома остановился ждать конку, идущую в Черный город. На остановке он еще раз вспомнил, как мать и старший брат учили его разговаривать с начальниками.

«Когда они будут говорить, надо смотреть в глаза и внимательно слушать. И не забыть снять шапку. Они кончат говорить — правую руку прижать к сердцу и поклониться. Зададут вопрос—вежливо ответить и поклониться. На пол не сморкаться. Нос можно вытереть шапкой».

Подошла конка. Али Мардан, пропустив вперед всех ожидавших, поднялся на империал, сел и положил руки на колени. Ладони были узкие, еще не расплющенные работой, с длинными пальцами.

В пятнадцать лет все интересно. Вот серая лошадь, крайняя в упряжке конки, самая толстая, не работает, только бежит, постромки провисают, а бьет кучер среднюю, у нее кровь видна из-под хомута, она прямо-таки одна везет вагон! Наверно, возница ее не любит.

Или, вот, человек напротив. У него на голове что-то, похожее на ведерко из черного шелка. А ведь очень жарко и пыльно. Лицо у человека красное, потеет из-за этого ведерка, но он его не снимает и улыбается девушке, сидящей рядом. Наверно это красиво и нравится девушке.

Девушка взглянула на Али Мардана, он покраснел и стал смотреть на мостовую.

Хорошая мостовая. Вся из крупных камней. Правда, очень трясет, зато осенью и зимой наверно не грязно. У них на горе грязно. И в селении, откуда они в позапрошлом году переехали в Баку, тоже грязно.

Али Мардан смотрел вниз и думал: три года я живу в Баку и ни разу не был на этой мостовой. Вот как плохо жить и работать на горе. Утром пилил, днем пилил и вечером пилил, а ночью спал.

Он два года работал у круглой пилы в бондарной мастерской.

С широкой улицы конка повернула в узкую и не очень красивую, а затем кони вывезли их к морю.

На море смотреть неинтересно. С горы оно видно каждый день. Но у берега стояли пароходы и, оказывается, очень большие, совсем не те, какие он видел с горы, плывущими в ту сторону, где небо соединяется с морем. У кого бы спросить—какие люди на пароходе ездят?

Конка остановилась недалеко от Черного города. Али Мардан слез и пошел, расспрашивая попутно прохожих, как пройти к постройке завода. После каждого ответа он кланялся и чувствовал, чт все делает правильно, жаль, что его не видит мать или брат.

Эта улица была тоже широкая, но без камней на дороге и очень дымная. Похоже, что где-то, не переставая, жгли нефть. Стены домов почернели и напоминали стены у них в комнате. Они черные у всех, кто топит нефтью.

Посередине улицы ехали вереницы арб, шли караваны ишаков. Везли они, главным образом, бурдюки с нефтью. Али Мардан сосчитал—десять бурдюков на арбе. Ишаки тащили по два бурдюка, нефть просачивалась, и бока ишачьи были черные и блестящие. Позже он узнал, что нефть везли с промыслов на нефтеперегонные заводы.

На месте Али Мардану пришлось поклониться всего два раза: один раз, когда десятник повернулся и, позвав его с собой, крикнул: «Мальчик!», он не понял, вежливо ответил «да» и поклонился, а потом еще поклонился на приказание выйти работать завтра, к шести часам утра.

На другой день тоже работать не пришлось, но он все равно очень устал.

Масляный завод только начинали строить. Сегодня, в полдень, будет торжественная закладка одиннадцатикубовой батареи. Десятник все утро репетировал с Али Марданом свою часть церемонии.

Когда начнется закладка, Али Мардан должен, приготовившись, сидеть вот тут у забора и по знаку десятника быстро поднести на голове деревянную чашку с глиной, потом улыбнуться и на вытянутых руках держать ее перед господами. Держать чашку следует все время, пока господа не кончат брать у него глину лопаточкой.

Десятник становился на предполагаемое место господ, делал знак и Али Мардан бежал к нему с чашкой, наполненной тяжелым глиняным тестом, на голове. Эта часть церемонии удавалась, но, как только он снимал чашку с головы и протягивал ее десятнику,— тот долго учил, как ее следует держать,—вытянутые руки слабели и начинали дрожать. Улыбка тоже не получалась...

Репетировали уже чуть не двадцатый раз. Али Мардан совсем ослаб. Десятник сказал: «будет, иди отдохни», дал ему новый белый передник, велел очистить глину с ботинок и, чтобы улыбнуться господам, велел в этот момент подумать о чем-нибудь смешном.

Господа приехали в полдень и сразу прошли к месту закладки. Али Мардан, как и велел десятник, поклонился им, но ему никто не ответил. Он испуганно подумал: «наверно что-нибудь сделал не так».

Мужчина с длинными седыми волосами вынул из узла золотую одежду, одел ее и, глядя на фундамент, запел громким голосом. Он пел, поворачивая голову к господам и к нему. Али Мардан быстро наклонялся к чашке, готовый ее нести, но десятник никаких знаков не подавал.

После пения десятник махнул рукой, и Али Мардан побежал с глиной к господам. Один из них в светлом костюме вынул из кармана пиджака черную бутылку. «Зачем это?»—подумал Али Мардан и улыбнулся, протягивая чашку господам. Десятник ласково подмигнул ему.

Мужчина с бутылкой улыбнулся ему и сказал:

— Ах, какой сильный мальчик. Однако, поставь чашку на землю.

Потом он спросил имена у всех господ, записал на бумаге и опять улыбнулся Али Мардану.

— А тебя как звать?

— Али Мардан.

— Чудесно. А как титуловать?

— Подручным печника, ваше сиятельство,—ответил за него десятник.

— Так и запишем.

Господа тихонько засмеялись, мужчина свернул записку трубочкой и сунул в бутылку, бутылку он положил на фундамент между двух кирпичей. Господа по очереди брали лопаточкой глину и бросали ее на бутылку. По знаку десятника, Али Мардан с пустой чашкой убежал обратно к забору. Ему было приятно, что все прошло хорошо, даже руки не дрожали.

Потом уже десятник на вытянутых руках держал перед господами поднос с бокалами и бутылками, обернутыми в белые салфетки. Бутылки были открыты, пенились, и господа, торопясь, наливали бокалы, поднимали их над головой, отрывисто говорили «ура» и пили.

Перед этим господин с длинной бородой, белой по краям и черной у подбородка, поднял полный бокал и, глядя на мокрый бугорок глины в фундаменте, говорил непонятную для Али Мардана речь.

«...Господа, эту бутылку я склонен уподобить вехе в море времени, которая однажды напомнит человечеству о нашем скромном шаге, содеянном в 1881 году на широком пути цивилизации. Пройдут десятилетия, многих из нас уже не будет, завод одряхлеет, но бутылка расскажет молодому веку о тех, кто делал первые шаги на Апшероне...»

Некоторые господа вытирали платками глаза, десятник знаками велел Али Мардану снять шапку. Он покраснел и уже больше в этот день шапку не надевал.

Дни шли по пути цивилизации. Али Мардан на построенном заводе работал помощником кочегара, потом кочегаром и наконец помощником сгонщика и сгонщиком.

От ежедневных прогулок в сырую погоду из дома на завод и обратно он

получил ревматизм и в 1904 году огорчил господ: была забастовка, он вместе с рабочим-сгонщиком Ассуратовым пошел в кабинет директора требовать законного дня отдыха в неделю. Директор не смог удовлетворить их просьбу: лишних сгонщиков для замены фирма держать не в состоянии.

Тогда Али Мардан и Ассуратов, сговорившись с кочегарами, ответили беспримерной забастовкой. Они, искусно оперируя с температурой подогрева мазута в котлах, начали снижать пропускную способность завода. За шестнадцать лет (с 1904 года) они постепенно из месяца в месяц свели пропуск мазута со 100 000 пудов в сутки до 65 000. Это была, пожалуй, самая длительная итальянская забастовка в мире.

В 1931 году заводу уже было пятьдесят лет, некоторые кубы требовали ремонта. При разборе первой печи в фундаменте нашли бутылку с запиской. Записку рабочие прочли и передали распоряжавшемуся работами дежурному инженеру. Али Мардан вынул очки, прочел свое имя в конце списка и улыбнулся.

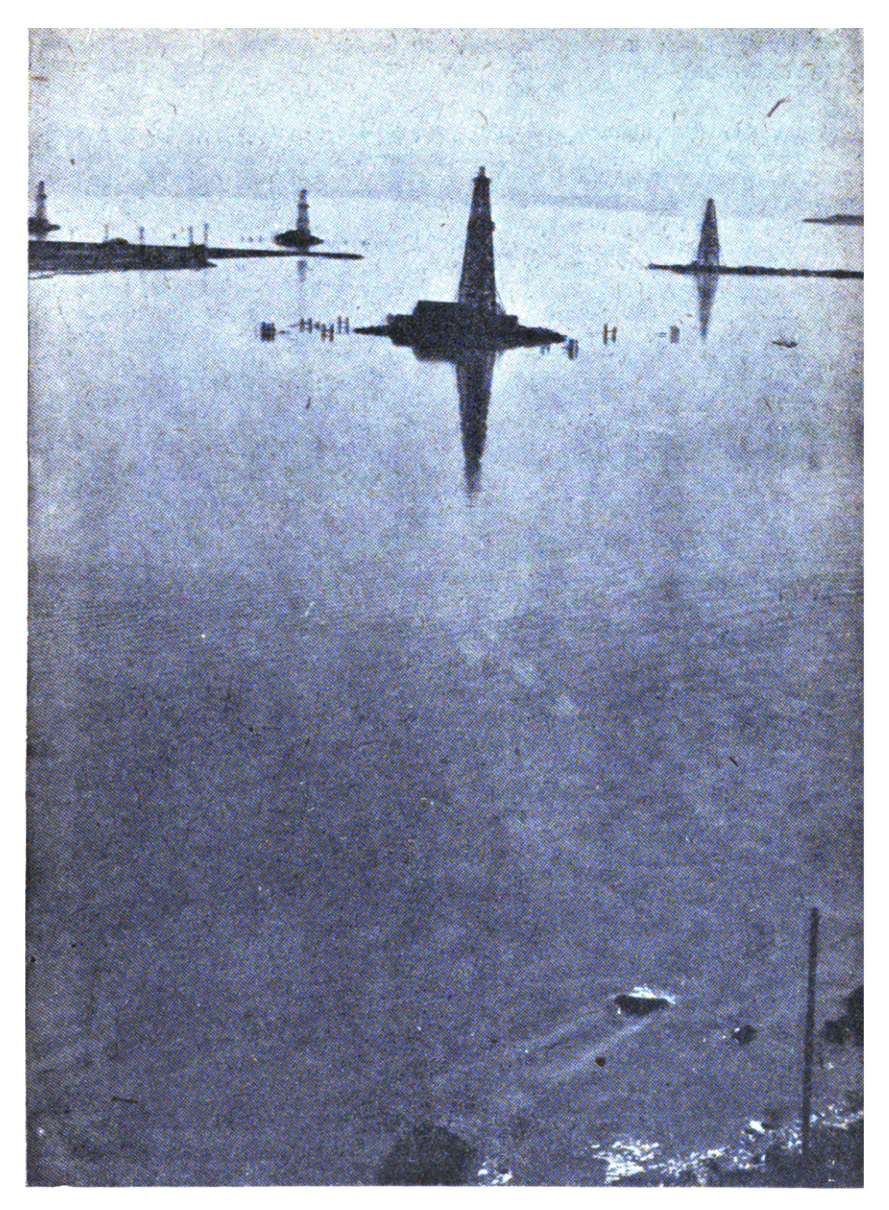
Добыча нефти в СССР

1913	год —	9200000	тонн
1920/21	„ —	3800000	„
1926/27	„ —	10300000	тонн (превышен довоенный уровень)
1929	„ —	14200000	„
1931	„ —	22300000	„
1934	„ —	25600000	„

Нефтяная промышленность СССР прочно заняла второе место в мире (после США) по добыче нефти, отодвинув Венецуэлу на третье место.

4/5 всей добываемой в СССР нефти дают бакинские промысла.

Промысла Азнефти были национализированы в 1920 году. К моменту национализации, в 1919 году, в Баку было добыто 3 мил. 750 тыс. тонн нефти. Бурение совершенно остановилось. Из сохранившихся двадцати восьми заводов по переработке нефти могли работать только семь. Таково было „наследство“ отечественных и иностранных капиталистов, белогвардейцев и интервентов.



Бухта Ильича. Морское бурение

на море

А. Письменный

Неужели человеку выпить нельзя в день своего рождения, когда ему исполняется тридцать пять лет и ни годом меньше? Человек работает, скажем, месяц подряд. Он встает, скажем, в пять и ложится в час и по трое суток не бывает дома. Он спит за столом, и в будке, позади мотора, у него серьезная скважина, за ней надо хорошенько следить. Неужели такому человеку нельзя поразвлечься и немножко выпить в день своего тридцатипятилетия?

Кузнецов ударил кружкой по мрамору и сказал подбежавшему официанту:

— Надо повторить.

Музыканты усердствовали под тремя пальмами в деревянных кадках. Первая скрипка был лыс и играл согнувшись, точно у него нестерпимо болела поясница. В пивной было дымно и шумел народ.

Кузнецов пил не просто так. Он пил по-настоящему, с горя. За целый месяц у него был один выходной день, он немножко выпил в честь своего маленького юбилея, виданное ли дело увольнять за это хорошего бурового мастера? Форменная ерунда. Такие мастера на промыслах не валяются. Правда, он взял выходной, не предупредив администрацию, а скважина была у него серьезная, но ведь у бурового мастера ненормированный день, и он хозяин своему времени. Чертовская обида мучила Кузнецова. Чертовски несправедливо. Он мастер что надо, и никогда за ним не было таких штук, как пьянство. Один только раз человек хотел поразвлечься в день своего рождения, невиданное дело за это увольнять. Наверняка против него в управлении кто-то имеет крепкий зуб.

Кузнецов пил уже не первый день и был все время пьян, потому что противно было смотреть людям в глаза в трезвом состоянии. Ему было стыдно, он пил со стыда и до тех пор, пока оставались деньги. А когда все деньги вышли, и пить было не на что, он взял и завербовался на Сахалин, — будь все трижды проклято.

Детей пораньше уложили спать. Пришли ребята. Кузнецов поставил закуску. Жена все время плакала, точно он уезжает бог знает куда. А ребята выпивали и закусывали хлебом с балыком, а также острым тушинским сыром и говорили:

— Ничего, Егорка, на Сахалине тоже люди живут.

Сахалин был далеко.

Кузнецов ехал по стране на Сахалин мимо сел и городов; были праздники, на домах висели красные флаги, точно сильным ветром осыпало села и города розовыми лепестками, и от жесткой полки у него болел бок.

Во Владивостоке Кузнецов пересел на пароход и поехал на Сахалин. А там его назначили на японскую концессию. Японцы бурили ударным способом, и ему, мастеру вращательного бурения, предложили итти в партию рабочим. Кузнецов, конечно, отказался. Он буровой мастер и пробурил на своем веку девять скважин — стоило ехать на Сахалин, чтобы стать рабочим в партии ударного бурения. Тогда Кузнецову предложили вернуться во Владивосток — там нужен приемщик инструмента для вращательных станков. Кузнецов обиделся еще пуще прежнего, он мастер, а не приемщик и ехал сюда бурить, а не заниматься штучками в управлении и назло всем пошел в портовые грузчики. И когда заработал денег на обратную дорогу, сел в поезд и поехал назад в Баку.

Жена, конечно, обрадовалась его возвращению и собрала его в баню, а Кузнецову было все равно.

Утром на другой день он пошел в управление Сталинского промысла, и щупленький, близорукий секретарь директора сказал ему:

— Нет места.

Тут же Кузнецову предложили итти в Сураханы, но на Бухте он работал с двадцать второго года и знал каждую буровую, как облупленную, и каждого парня на промысле видел насквозь, и в Сураханы Кузнецову не хотелось. Он дождался заместителя директора. Заместитель сказал ему:

— Сейчас, в самом деле, нет буровой, Кузнецов, но ты можешь замещать мастера в 536, он хочет итти в отпуск, а потом посмотрим.

Предложение было, конечно, очень обидное, но ничего не оставалось делать, и Кузнецов согласился. Через полтора месяца мастер 536 вернулся, и Кузнецов снова пошел в управление просить скважину. Кто-то наверняка имел против него крепкий зуб. Ему сказали: нужен мастер на морскую буровую номер 941. Буровая эта разведочно-эксплоатационная, идет на Понт, на глубину 1920 метров — весьма ответственная скважина. Конечно, такую буровую не предложат от чистого сердца. Поищите охотника бурить в море. Так вам всякий и пойдет на морскую буровую в шестистах метрах от берега. Она должна буриться год. Это ведь разведочная — бури и щупай, бури и щупай, как там у тебя лежат пласты. Работа опасная. В случае фонтана можно бежать только в спасательные будки, стоящие в десяти метрах от буровой. К ним ведут легкие висячие мостки. А если фонтан загорится? Считается, что ты убежишь в спасательную будку, обрубишь за собой висячий мостик и будешь сидеть там, пока тебя не снимет баркас. Но это форменная ерунда. Разве не ясно малому ребенку, что в случае пожара загорится все море вокруг вышки, — поезжайте посмотреть на траурную пленку нефти вокруг морской буровой, — и твоя спасательная будка сгорит вместе с тобой, как спичечная коробка. Кроме того, на морскую буровую нужно ехать на баркасе, терять зря уйму времени, большая волынка подвозить оборудование и за все это получать четыреста монет в месяц и никаких надежд на премию, потому что спешить и гнать проходку не приходится. А на берегу буровые мастера выгоняют до 1000 рублей в месяц.

Но обиженному человеку податься некуда. Такое твое счастье, благодари бога за него. Хочешь работать—бери, что предлагают, и будь доволен — назло себе и всем. Пусть знают, что тебе на все наплевать, раз такое отношение.

Утром к Северной пристани подошла вахта. На вагонетке подвезли «рыбий хвост». Кузнецов с отвращением показал на него и сказал Абрамову, командиру баркаса:

— Раков ловить на него — это еще дело...

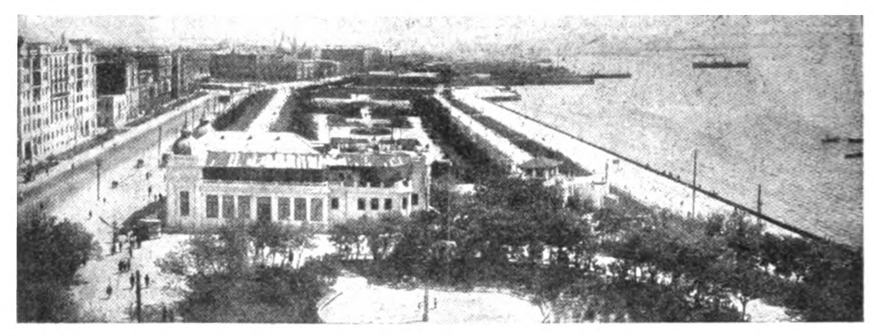
— А что такое?—спросил Абрамов.

Кузнецов махнул рукой и начал помогать ребятам спускать долото на корму «Пугачева».

Абрамов позвонил машинисту и, тарахтя, как мотоциклетка, баркас развернулся и вышел в море.

От Северной пристани до буровой было километра полтора. Вода в бухте была зеленая и грязная. Слева стояла землечерпалка, а справа, на берегу, лежали старые и ржавые пароходные котлы. Баркас был кособок. Машинист поминутно высовывался из машинного люка и кричал бурильщикам, чтобы они не толпились по бортам, а шли на корму. Бурильщики усердно курили и сплевывали за борт. Кузнецов стоял на носу и смотрел в море, вдаль, где белым гребнем поднимался Свиной остров.

Говоря по совести, несмотря на все страхи, работать на морской буровой было приятно. Начальство на буровую не показывалось, Кузнецов работал, как хотел. Он был полновластным начальником деревянного острова, где стояла вышка, у него был свой флот— два баркаса: «Пугачев» и «Полюс», а также несколько кержимов—плоских, но пузатых барж. Летом на буровой была настоящая дача. После вахты бурильщики прямо с мостков ныряли в море, а потом ехали на Свиной остров за яйцами «мартышек». «Мартышки»— это такие смешные птицы, которые при виде людей закатывают яйца в глину, чтобы их нельзя было найти, и с громким криком поднимаются в воздух. Яйца «мартышек» были вкусны и, не-



Набережная в Баку. Приморский бульвар

смотря на хитрости птиц, один человек за несколько часов без труда собирал до трех сотен на яичницу. Во время вахты можно было ловить раков. Раки хорошо шли на селедку — положишь в решето селедку, спустишь на веревке в воду, сам работаешь, а к вечеру поднимешь — решето полным полно раков. А к пиву раки вполне подходящая закуска.

Но теперь дача кончилась. «Мартышки» перестали класть яйца. Раки уползали на зимовку. Дул холодный ветер.

Баркас обошел вокруг буровой. Машинист выключил мотор. Нестерпимая дрожь палубы, от которой в первые дни у Кузнецова ныли зубы, прекратилась. На холостом ходу баркас подошел к мосткам, и матрос уцепился багром за сваю. Кузнецов выскочил первым и крикнул в буровую.

— Эй, хлопцы, идите долото тащить.

Снизу долото уже поднимали. Подбегал бурильщик Гришин.

— Рида привез? — спросил он Кузнецова.

— Дали мне Рида... — сказал Кузнецов.

Гришин плюнул и пошел назад.

Они проходили крепкие грунты. Простым долотом «рыбий хвост» нельзя было итти больше трех метров в сутки. Здесь нужно было фасонное долото, долото Рида. Кузнецов ходил в контору, но ему сказали, что Рида нет, для 941 вполне достаточно «рыбьего хвоста».

— Ничего не попишешь, — сказал Кузнецов бурильщику, — мы — пасынки. Деточки у них на бережку за нефтью идут.

Отчасти Кузнецов был прав. К разведочному бурению на берегу действительно относились равнодушно. Все силы и средства в первую голову шли на скважины, которые бурились для эксплоатации.

Но Кузнецов, обиженный человек, думал, что так относятся только к нему, и на зло всем бурил тем, что есть. «Рыбий хвост», так «рыбий хвост» — три метра проходки в сутки.

Однажды ночью налетел буран.

Загремело корыто на веранде, завизжали стекла в тех окнах, которые выходили к морю. В соседском свинарнике проснулась матка и, хрюкая, застучала пятачком о доски.

Кузнецов вышел в одном белье на веранду. Холодный ветер бросал в лицо колкий снег, песок, мусор. Буран шел с моря. На море заревели пароходные сирены.

Кузнецов вернулся в комнату и начал одеваться.

— Куда тебя несет? — спросонок сказала жена. — К утру, может, полегчает. Ложись, спи.

— Ладно, — сказал Кузнецов, — сам знаю.

Спеша, он неудачно навернул портянку, но перематывать не стал и надел сапог. Край портянки вылезал из голенища. Кузнецов запихнул его внутрь.

На крыше трещало железо. На веранде гремело оледеневшее белье. Небо висело низко, непроглядно черное, как погреб.

Во многих окнах на Баилове горели огни, кое-где шумели газовые форсунки. Мастера собирались к буровым. Кузнецов шел к спуску, почти ложась на плотную стенку ветра. Портянка вылезала из голенища и стегала по ноге.

У Северной пристани ветер бил еще сильней. Снег, подсвеченный огнем маяка, был розов, но свет маяка таял в сотне метров и даже зарева не было видно.

Море шумело и катало камни у берега. Баркасы стукались о сваи, и волны с грохотом ложились на окованные железом палубы.

— Чего тебя принесло? — окликнул Кузнецова механик баркаса, — на судне один Абрамов сидит.

— Морячки, — сказал Кузнецов и вошел в будку. В будке было тесно и тепло. Люди с баркаса спали на лавке. Кузнецов взял телефонную трубку, но станция ответила, что к буровой оборваны провода, связи нет.

— Там не маленькие, слава богу, — сказал механик. — Чего тебя черти кусают?

Буран застал вахту врасплох. Он ударил в обшивку вышки, затрещали доски, легкие мостки, переброшенные к спасательным будкам, запрыгали, волны начали бить по сваям. Буровая стонала. Летел снег. Раствор в желобах начал замерзать. Гришин приказал поднимать инструмент. Но в это время порвалась электрическая линия, мотор остановился, погас свет. Море шумело, и волны падали на помост.

Верховой Петренко спустился с полатей по обледенелым ступенькам. Он дрожал от холода и с трудом ворочал окоченевшими пальцами.

— С праздничком, — сказал он сквозь зубы и пошел в будку, позади мотора.

Гришин ругался. Теперь они будут здесь сидеть. Электрическая печка не действовала. Телефон молчал. Всем сразу захотелось есть, а пайка аварийного на вышке не было.

— Давайте играть в домино, — предложил Гришин.

Петренко пробурчал, что играть нельзя, ни черта не видно. Но Гришин уже рассыпал костяшки по столу и ощупью отобрал себе пять штук.

— Пальцами можно очки считать. Они вдавленные, — сказал он.

Каждая партия домино длилась долго. Ругаясь и путая очки, — замерзшими пальцами трудно было считать, — они играли партию за партией. Буран ревел и свистел в переплетах вышки. Вышка качалась и скрипела.

Рассвет наступал очень медленно. В окно были видны бесившиеся на море молочные волны. Всем хотелось есть, а есть было нечего. Все замерзли, а согреться было нечем. Снег падал, не переставая. Помост занесло, по краям его омывали волны — снег лежал в серой мокрой рамке. Смотреть на это было противно.

Петренко нашел в инструментальной старое ведро, обмазал его глиной и сделал печку. Топили досками и стойками от барьеров, но грела печка плохо, и ребят прыгали в будке, чтобы согреться. Рабочий Джалил сказал, что это ему напоминает шахсей-ваксей, но от этого никому не стало весело.

Кузнецов всю ночь просидел в сторожке на Северной пристани. Утром пришла смена, и баркас пошел к буровой.

Буран не уменьшился. Баркас заливало волнами. Вся вахта ушла в каюту. Кузнецов спрятался в рубку к Абрамову и видел, как волны расшибались о задраенные люки, с грохотом проносились через баркас.

К буровой они добирались часа два. Баркас немилосердно бросало на волнах, и у тормозчика Кардакина началась морская болезнь. Над ним подсмеивались, но ему было все равно, и он напачкал на полу каюты.

Пристать к буровой, когда они наконец до нее добрались, не было возможности. Волны то возносили баркас намного выше помоста, то опускали так низко, что видны были нижние части свай в зеленых чулках, и короткая мачта баркаса чуть не протыкала досчатый настил.

Ребята гришинской вахты, прыгая от холода, смотрели на баркас. Лица у них были в копоти от самодельной печки, они походили на беспризорных, ночевавших в асфальтовом котле.

Абрамов заявил, что пока баркас не перевернулся, лучше пойти назад. Итти назад было еще трудней. Ветер бил навстречу и залеплял снегом стекло рубки. Они долго искали бухту и чуть было не налетели на камни, потому что ни черта нельзя было разобрать.

Ребята на вышке вернулись в будку и говорили, что помрут с голода. А Гришин молчал и подкладывал щепу в печку. Он думал, что Кузнецов свинья, не привез шамовки, отвратительное дело сидеть в буран на морской буровой, скважину теперь наверняка завалит, инструмент прихватит, сколько времени уйдет на его ловлю.

У пристани баркас поджидал Садыков.

— Сменил ребят? — крикнул он Кузнецову.

Кузнецов вылез на пристань и угрюмо ответил:

— Подойти к буровой нет возможности.

Садыков покачал головой.

— Ай, не хорошо. Придется ребятам сидеть на сухом пайке.

— Корки хлеба на буровой нету, — сказал Кузнецов.

— Как нету? А паек аварийный?

— Нету на буровой пайка.

Садыков стал красный и начал кричать. Он кричал, что Кузнецов плохой мастер, — но это форменная ерунда, все можно сказать про Кузнецова, но только не это, — что ему нельзя было давать такую ответственную буровую, — это все была форменная ерунда, он всегда бурил ответственные скважины.

— Иди сейчас же в столовую и вези ребятам хлеба и колбасы.

Крик Садыкова не обидел Кузнецова. Он его удивил. Кузнецов пошел в столовую, взял по записке хлеба и колбасы, и баркасу снова пришлось итти в море. Абрамов говорил, что им сегодня не миновать купанья. Но Кузнецов пошел к носу и, когда баркас приблизился к буровой, стал бросать ребятам хлеба и смотанную в спираль полтавскую колбасу.

Буран кончился через два дня.

Скважина оказалась в порядке, инструмент не прихватило, и в скором времени подоспел срок задавливать обсадную колонну. На кержимах Кузнецов подвез трубы и выгрузил на помост.

Спуск обсадной колонны — спешная работа. Это аврал. Из скважины поднят инструмент, циркуляция раствора прекращена, промедление угрожает скважине обвалом. Как правило, для спуска колонны с соседних буровых снимается на подмогу три-четыре вахты. Управляющий группой Садыков позвонил на буровую Кузнецова и спросил:

— Когда прикажешь присылать ребят?

Кузнецов промолчал, посмотрел на Гришина, стоявшего рядом, и вдруг ответил:

— Я обойдусь сам.

— Ты шутки оставь, — сказал Садыков.

— Мир Садых, я задавлю колонну сам, — ответил мастер.

— Кузнецов, не шали, — сказал заведующий, — послезавтра я пришлю ребят.

Кузнецов положил трубку.

— Не надо нам вашей любезности, — сказал он хмуро.

— Зря ты, Егор Сергеевич, — сказал Гришин, — опасная вещь.

— Я отвечу, понял? — закричал Кузнецов, — завтра к девяти часам на буровой будет вся партия, все четыре вахты. Понял? Мы опустим колонну без чужой любезности.

Когда колонна была благополучно задавлена, и вахта начала опускать инструмент, Кузнецов сообщил в контору, что все кончено. Садыков рассердился и приказал прислать баркас к молу, возле конторы. Он приедет на буровую проверять. Кузнецов криво усмехнулся: «в нормальные дни сюда не то что заведующий, техник не покажется».

Садыков приехал к расширению скважины. Он ловко вскочил на помост и пошел к ротору. Бурил в это время Сергей Беляев. Он не остановил

ротора, тормозчик ушел к насосу, заведующего никто не встречал. Садыков подозрительно оглядел буровую. Если бы не цементные брызги, он готов был бы держать пари, что его дурачат — колонну не опускали, и все это только один разговор.

— Колонну заливали или нет? — спросил он бурильщика.

Беляев посмотрел на него, словно не понял, о чем Садыков спрашивает.

— Колонну? Вчера задавили колонну, а что? — сказал он равнодушно.

— Где Кузнецов?

— Спит, наверно, в будке.

Садыков хотел пойти в будку, но Кузнецов, позевывая, вышел из-за мотора ему навстречу.

— Как давление? — спросил Садыков и посмотрел на то место, где должен был находиться манометр. Но манометра на месте не было. — Где же у тебя манометр?

— Манометра у нас нету, — сказал Кузнецов.

— То есть как нету? А как же ты буришь, чорт возьми?

— Нет манометра, не дали. По шланге видно, какое давление.

Он показал на вздрагивающую и покачивающуюся, похожую на птичью шею, шлангу над головой.

Садыков выругался и быстро пошел к баркасу. Кузнецов последовал за ним. Он ему сейчас все скажет. Он скажет ему, что надоело такое собачье отношение, мастер он на группе или нет, давайте говорить всерьезную, иначе он к самому Петерсону заявится. Но вместо этого Кузнецов сказал, что до сих пор монтажники не установили второй насос, а забой глубокий и скоро по геологическому разрезу они будут проходить газовые пласты — опасно работать с одним насосом.

— Так чего ты молчишь? — закричал Садыков. — Что тебе нянька нужна? Откуда я знаю, есть у тебя насос, или ты вообще без насоса буришь?

Кузнецов разозлился.

— Вы ничего не знаете. Выходит вы только у себя на берегу заведующий, а тут чужой дядя хозяин. Я вот пятый день Рида не могу получить, по три метра в сутки идем. Скворец[1] испортился, хоть бы монтера прислали.

— Ты на меня не кричи, мастер Кузнецов, — сказал Садыков, — я тебе не извозчик. Твоя буровая, ты за нее ответственный, так будь добр докладывать, что тебе нужно, и чего тебе в отделе снабжения не дают. А тогда я с ними буду разговаривать. То у тебя пайка нет, то манометра не дали, чорт тебя знает, ты невеста или мастер?

Он повернулся и прыгнул в баркас.

Кузнецов стоял растерянный и не знал, что подумать. Не может быть, чтобы он ошибался, и все эти горькие мысли оказались форменной ерундой. Неужели по своему дурацкому характеру он сам все это выдумал? Кузнецов медленно пошел на буровую.

— Что, проглотил? — спросил его ухмыляясь Беляев.

— Иди ты... — сказал ему Кузнецов.

Он подошел к желобам. Густой серый раствор бежал по ним. Буровая дрожала. Грохотал ротор. Кузнецову было не по себе.

Буровая 1087 мастера Погосова тоже бурилась на Понт, на глубину 1 700 метров и отличалась она от буровой Кузнецова только тем, что стояла на суше. Но на этой разведочной буровой, впервые на промысле, а может быть во всей Азнефти, был установлен пневматический пульт управления. Бурильщик здесь не стоял у лебедки и не держал ногой тормоза, а локтем—рукоятки. Он сидел в седле, в стороне от лебедки, перед ним была вся буровая — и ротор, и лебедка, и мотор. Он отдыхал на удобном сиденьи, перед ним на пульте были амперметры и манометры. Он нажимал кнопки, поворачивал рычажки, и сжатый воздух проделывал за него всю работу, которую приходилось делать, стоя у лебедки. А у лебедки стоять довольно опасно. Чуть зазевался, выпустил из рук рычаг,— канат рвануло, и рычаг полоснет—прямая дорожка в больницу.

Кузнецов вызвал баркас и съехал на берег у конторы. Через пять минут

---

[1] Скворцом на промыслах называют автоматический бурильщик конструкции проф. Скворцова.

у мастера Погосова он разрешит все свои сомнения.

Погосов сидел у пульта, как вагоновожатый. Ротор шумел, квадратная штанга быстро вращалась и создавалось впечатление, что штангу скручивает в спираль. Погосов отвел рукоятку, зашипела пневматика, кулачок передачи ударил тормоз у лебедки, и ротор остановился.

— Как дела? — спросил Погосов Кузнецова.

— Мне твоя машинка нравится, — сказал Кузнецов.

— Еще бы! — засмеялся Погосов.

— Скажи пожалуйста, при аппарате Скворцова нужна такая машинка или ни к чему?

— Один другому не мешает, — сказал Погосов. — У меня скворец тоже есть, только не работает. Сейчас опять пойду в контору ругаться, чтобы монтера присылали.

— Тебе-то монтера и без ругани пришлют, — сказал Кузнецов, — вот тебе пульт дали.

— Что думаешь, так просто и дали? Получили два пульта на всю Бухту для опыта, а мне вдруг сразу и дадут. Ходил каждый день, клянчил, как мальчик. Мне, говорю, хочется на пульте работать. А мало ли кому хочется, говорят мне. Вот Иманову тоже хочется, Алиеву тоже хочется. Я, говорю, не отстану, пока мне не дадите...

Кузнецов засмеялся.

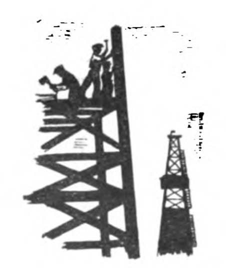
— Выходит, что у нас в управлении гады сидят, — сказал он.

Погосов обиделся.

— Почему гады? Им, думаешь, легко, если у них пультов только два, а монтеров немногим больше. Ты, видать, привык, что тебе все с неба падает...

— Да нет, я не о том, — сказал Кузнецов и замолчал.

Ощущение у него было радостное и противное. Какой дурацкий характер надо иметь, чтобы выдумать такую форменную ерунду. Кузнецову захотелось сказать мастеру Погосову что-нибудь приятное, но ничего подходящего он сразу не придумал и, попрощавшись, пошел к берегу.



Добыча нефти на промыслах Азербайджана растет за счет новых площадей и новых нефтяных горизонтов, введенных после национализации.

За это время созданы мощные советские промыслы.

В 1922 году — Бухта им. Ильича (пром. им. Сталина)
„ 1925 „ — промысел им. Молотова (Пута)
„ 1927 „ — промысел им. Кагановича (Кара-Чухур)
„ 1931 „ — промысел им. „26“ (Нефте-Чала)
„ 1932 „ — промысел им. Микояна (Лок-Батан)
„ 1932 „ — промысел им. Азизбекова (Кала)
„ 1933 „ — Сулу-Тепе (промысел им. Кирова)
„ 1933 „ — Кергез (промысел им. Кирова).

60% всей добычи 1934 года было получено с новых советских промыслов.

Инженер али гусейн

Н. Старов

Нефть — эта черная кровь современной машинной цивилизации — в своем естественном виде не используется ни в промышленности, ни в быту. Обратное было бы крайне неудобно и не выгодно. Всю добытую нефть предварительно подвергают переработке на специально выстроенных заводах, а обычный топочный мазут не что иное, как отброс, остаток, недогон.

На заводах из нефти получаются самые разнообразные масла, начиная от бесчисленных смазочных и кончая мылонафтами, вазелиновыми, парфюмерными и даже пищевыми, смолы, асфальты, сажи, парафины, бензол и толуол, употребляющийся в химии и медицине, иод, бром, сахарин, искусственный каучук и т. д., а главное — керосин, газолин и бензин.

Бензин — основной продукт. Опрос на бензин невероятно вырос за последние два десятилетия, благодаря массовому производству двигателей внутреннего сгорания, развитию авиации, автомобилизма, тракторизации сельского хозяйства. В области выработки бензина и совершенствовалась, главным образом, техника переработки нефти.

От примитивного выпаривания из нефти паров бензина в простых перегонных кубах техника эта пришла к крекингпроцессу — химическому расщеплению молекулы нефти, дающему наиболее чистый, высококачественный продукт и в несравненно большем количестве, чем удавалось извлекать его из нефти раньше. В качестве сырья крекингпроцесс использовал даже не нефть, а мазут, отброс кубовых батарей.

Крекингустановки сильно отличаются от этих примитивных кубов. Они работают под высоким давлением, при высокой температуре. Аппаратура изготовлена из специальных сплавов, сложна, огромна. Ее обслуживают мощные машины. Управление установкой централизовано и автоматизировано. В общем, крекингзавод в полном смысле слова совершенное современное предприятие, последняя ступень технического прогресса.

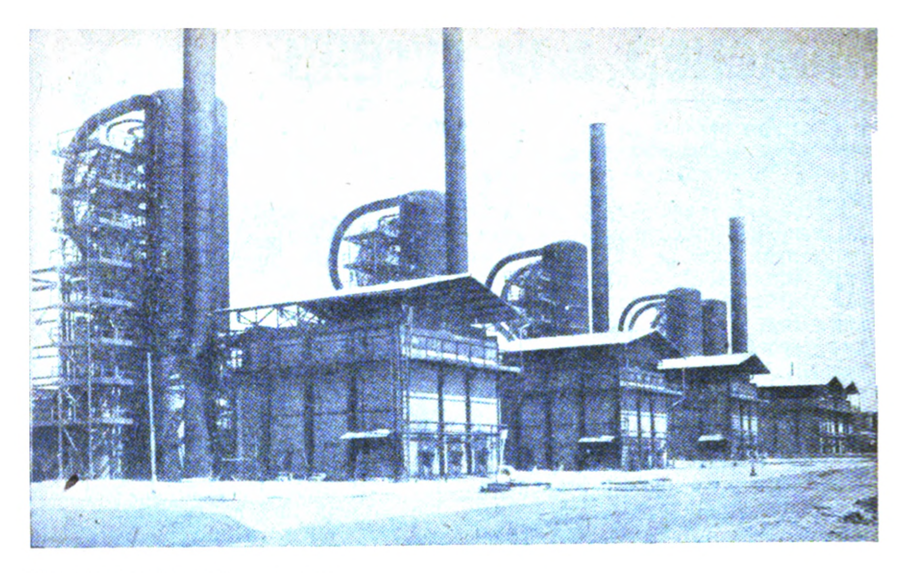
Первая крекингустановка в СССР была выстроена в Баку, в 1927 году на заводе им. Вано Стуруа, одного из двадцати шести комиссаров первой бакинской коммуны.

Первая бакинская коммуна была задушена английскими интервентами в 1918 году. В 1918 году по приказу и в присутствии лиц английского командования тайно, ночью в Красноводских песках были замучены двадцать шесть бакинских комиссаров.

Винтовки, пулеметы, пушки королевским войскам Великобритании поставляла фирма Виккерс. Винтовки, пулеметы, пушки действовали блестяще. Трудящиеся Закавказья, Средней Азии, Персии, Турции испытывали их действие на собственной шкуре и хорошо уяснили себе, что такое английский империализм. Именно потому чаша терпения их переполнилась значительно раньше, чем того ждали в Лондоне, и продукция фирмы Виккерс вместе с королевскими войсками взрывом революционного негодования масс оказалась отброшенной далеко за пределы Каспийского и Черноморского побережья.

В 1927 году первая крекингустановка для Советского Союза была куплена у той же фирмы Виккерс. Установку купили вредители. Фирма Виккерс изготовляла винтовки, пулеметы, пушки, но никогда до 1927 года не строила крекингустановок.

Установка умышленно или случайно оказалась крайне неудачной. Она действовала отвратительно. Инженеры фирмы Виккерс не смогли ее наладить. Установку усовершенствовали и пустили советские рабочие и инженеры, освоившие на ней впервые сложнейший крекингпроцесс. Именно благода-



Завод им. Сталина. Установка «Алко»

ря отчаянным трудностям, которые создала для них фирма Виккерс, жестокую, но хорошую школу прошли они в самом начале, и в последующие годы смогли не только легко и просто наладить работу новых крекинг-установок, возникших во всех концах Советского Союза, но и создать свои отечественные, более совершенные конструкции и поставить их производство на отечественных заводах.

Вместе с десятками наших новых специалистов по крекингу на установке Виккерс в Баку получил свое воспитание и Али Гусейн-Али, пришедший сюда к моменту пуска в 1928 году полуграмотным, неквалифицированным рабочим и в 1932 году сделавшийся начальником этой же установки.

Али Гусейн-Али родился в 1903 году, в кишлаке Маряны, Ардебильского махалля, что лежит на границе Гилянской провинции и Персидского Азербайджана, в десяти фарсахах[1] пути от Каспийского побережья.

Али Гусейн-Али был первенцем в семье дехканина Али Гусейна-Оглы. После Али появились на свет брат — Ага Гусейн и сестры.

Дехканин Али Гусейн-Оглы некогда был хордамалик — имел один джериб собственной земли, но потерял его в тяжбе с местным помещиком-мулькадаром. Мулькадар был местный наиб, а если хан, как сказал Саади, назовет день ночью, надо почтительно подтвердить: «о, конечно, рушесефид, я даже вижу месяц и звезды». В общем, Али из хордамалика обратился в райя-арендатора и вынужден был платить мулькадару малиат арбаби за джериб собственной земли. Вскоре такой же участи подвергся его виноградник и сад из нескольких тутовых деревьев. Единственным, что осталось у Али, были глиняная хана, соха из деревянной каряги с железным наконечником, борона, усаженная острыми кремнями, да пара буйволов.

Но время шло и малиат-арбаби повышался все больше и больше. Мубашир-старшина требовал взяток. Малиат-арбаби достиг шести десятых урожая. А кроме того было много других

---

1 Фарсах — четыре километра.

налогов: одна десятина—шахский малиат, одна—вакуфный хунс в пользу мечети, одна—закят в пользу муллы. От урожая оставалось обычно не больше одной десятой части. Но и из этого остатка мубашир, вазир, аксакалы оттягивали половину. Согласно законам шариата, дехканин обязан также платить за орошение, хотя все работы по прокладке арыков исполнял бесплатно сам. К тому же мубашир назначал плату произвольно и брал в четыре, пять, а иногда и в десять раз больше, чем было положено по шариату. Сюда же надо прибавить ростовщические проценты за семена, одолженные мулькадаром. А фоугульадэ-малиат—чрезвычайный налог, когда к мулькадару приезжали гости, и аксакалы бегали по кишлаку, вытряхивая из крестьянских кладовых кур, яйца, масло, дыни — все, что было... Через несколько лет и волы перешли в собственность мулькадара, и за них Али вынужден был платить малиат.

Гилян — сказочная страна. Еще Александр Македонский назвал ее райской обителью. Здесь зреет лучший в мире хлопок, табак, кенаф, экзотические плоды, шелковичные черви дают тончайшее волокно, девственные леса — исключительные по прочности древесные материалы и ценные смолы, побережье — тысячи тонн прекрасной отборной рыбы. Живописные горы хранят в своих недрах кроме золота, серебра, бирюзы — голубой, как небесный купол,—и розоватого нежного мрамора, также никель, железо, медь, олово, ртуть, свинец, каменный уголь, калийную соль и, главное, нефть. А народ! Трудолюбивый, как буйвол, невзыскательный и выносливый, как верблюд, суеверный и дикий, приученный веками чудовищной эксплоатации, к рабской покорности ханам. Разве не подлинный клад этот замечательный народ? Хитро сказал о нем еще полстолетия назад английский ориенталист Ватсон: «Персидский народ не обладает энергией, необходимой для всякого действительно протрессивного движения по пути цивилизации. Импульс, необходимый, чтобы вызвать такое движение в Персии, если он когда-либо будет, должен, как и в Индостане, быть дан расой иностранных завоевателей...»

Раса завоевателей «давала импульс». Она отрывала от Персии целые области. Ее банки захватывали в свои руки естественные богатства и расхищали их. Дешевые ее товары, наводнявшие рынки, душили полукустарную промышленность. Ее дипломаты распоряжались в столице, назначая удобных министров и заключая с ручным правительством кабальные договоры, воспрещающие постройку в Персии железных дорог, телеграфных линий. И малиат-арбаби увеличивался все больше и больше. За полстолетия он вырос в три раза, тогда как урожайность осталась прежней. А когда, доведенные до отчаяния невероятным гнетом, народные массы подымали восстания, иностранные войска жгли деревни, бомбардировали города и расстреливали целые племена.

Во время мировой войны Гилян оккупировали русские казаки. После революции советская власть убрала их, но вместо казаков пришли английские стрелки.

Они двигались с юга. Нефть манила империалистов. Англо-персидская компания наследовала Гилянские концессии Нобеля. Гилян обратился в плацдарм для интервенции Закавказья, для охоты за бакинской нефтью.

Интервенты блокировали Советскую Россию. Всегдашний рынок сбыта персидского хлопка был закрыт. Начался кризис, падение цен и ардебильский мулькадар отказался брать малиат натурой. Он потребовал денег по собственной повышенной расценке. Это значило полное разорение райя, массовое их обращение в хара — нищих-поденщиков, которые сами себя продают в рабство, работая только за хлеб. В чайханах, на базарах, у караван-сараев волновались толпы людей. Был между ними и Али Гусейн-Оглы. Он тоже забыл мудрое правило, что «искать мнения, противного мнению хана, значит желать своей собственной гибели». А за Гусейном-Оглы числились еще старые грехи. Прежде всего он был грамотный, единственный грамотный райя в кишлаке Маряны. Что же, «достоинство в глазах врагов легко

обращается в недостаток. Если Саади — роза, для иных он колючка».

Сыщики — назмие схватили Гусейна и потащили его во двор мулькадара.

Мулькадар сидел в европейском кресле, в халате, подбитом мехом, хотя был теплый солнечный день, старчески ежился и покачивал головой в круглой шапке из белого войлока.

Назмие содрали одежду с Гусейна и привязали его к дереву.

Тринадцатилетний Али прибежал сюда вместе с толпой дехкан и видел собственными глазами, как вздрагивала спина отца под палочными ударами.

Отец кричал, потом затих. Спина посинела, вздулась, на ней лопнула кожа. Толпа отвернулась, даже мулькадар поднялся с кресла и ушел в ханэ. Не отвернулся только один человек — он продолжал упрямо смотреть, как удары рвали кровавые тряпки мускулов. Это был мистер Джонс, миссионер из Тавриза. В кишлаке его звали сэр.

Али Гусейн-Оглы больше не очнулся. Аксакалы выбросили его труп на кладбище, и в уплату за недоимку, взяли соху из деревянной коряги с железным наконечником и кремневую борону. Джериб земли был отдан в аренду другом райя, а Али Гусейн-Али должен был отрабатывать долг отца на бахчах мулькадара. Ему дали кетмень и выгнали в поле.

Тяжело поднимали кетмень слабые руки мальчика. Два раза его хлестали кнутом, привязав к тому же дереву, у которого был замучен его отец. После второй экзекуции Али без памяти выбросили за ворота.

Он очнулся, услышав веселую песенку на чужом языке. Песенка звучала так:

> **Долог путь до Типерери,**
> **Долог путь туда ведет,**
> **Долог путь до Типерери,**
> **Где красавица живет...**

В ритм хрустели шаги шнурованных желтых ботинок. Зеленая дымка вуали развевалась на пробковом шлеме. Чуть поблескивали виски под шлемом, серые стеклянеющие глаза, и синел неподвижный квадратный, гладко выбритый подбородок.

Мистер Джонс, миссионер из Тавриза, шагал по улице кишлака Маряны. Мистер Джонс лет двадцать назад служил младшим офицером в Британском Белуджистане и сохранил солдатские замашки.

Он был доволен. Весна дышала ему в лицо нежным запахом плодовых садов. Сады выплескивали на улицу через глиняные дувалы розоватую пену цветов фисташки, персика, миндаля. Вдали, за рекой Лямир, серебряной от солнца, раскинулись лоскутья лугов, бахчей, виноградников и хлопковых полей, расцвеченных яркой, свежей, праздничной зеленью первых всходов. Талышский хребет, одетый девственным лесом самшита и шелковицы, спутанный в джунгли кустами папоротника и олеандра, подпирал зубчатой стеной купол весеннего неба, окрашенный голубой эмалью.

Мистер Джонс любил эту сказочную страну. Разве могло перед ней устоять сердце любого британца?

Али, не дыша, пропустил поющую, шагающую фигуру, а затем, вскочил и бросился прочь.

До Астары два дня караванного пути на верблюде. Али прошел этот путь в одни сутки.

Он пробрался на пристань мимо караула молчаливых сипаев и с толпой оборванцев-грузчиков попал на пароход. Он спрятался в трюм.

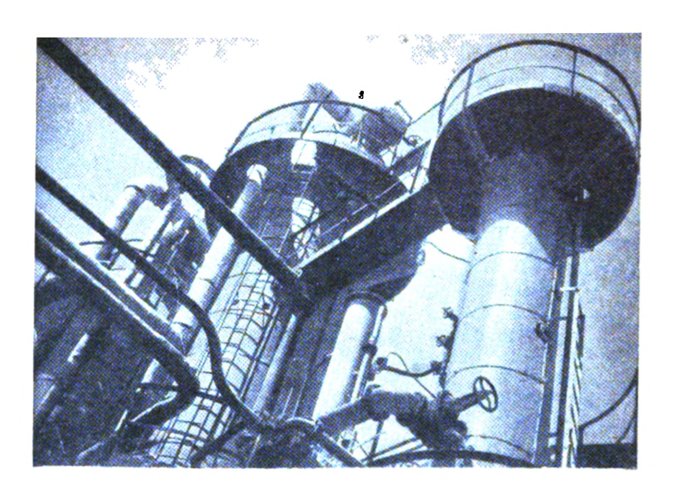
Пароход шел в Баку. Али решил бежать в этот город, куда ежегодно тысячами уходили из Персии разоренные хара.

Наутро он увидал выщербленную мостовую, трех- и четырехэтажные облупленные дома и пузатую конку, которую тащила пара кляч, конка показалась ему чудом. Приехавшие толпой отправились в Черный город.

Здесь пахло нефтью. В жирных мазутных лужах скользили босые ноги. Дым висел над улицами. В черной копоти были заборы. Толпы толклись у ворот заводов.

Через несколько дней Али таскал уже на заводском дворе куски старых труб.

Люди были здесь крикливые, быстрые, двигались размашисто и резко, но никто не дрался, и даже Али, простого тащишку, называли вежливо



Крекинг завода им. Сталина

«полдаш». И еще был рад Али, что здесь — впервые за всю свою жизнь — он досыта наелся.

Часто среди двора собирались рабочие. Из свежих досок было сколочено возвышение. Его украсили красными лоскутьями. Каждый всходил на него и говорил. Когда говорили русские, Али ничего не понимал, когда говорили мусульмане — тоже ничего не понимал.

На возвышении висел портрет лысого человека с бородкой. Человек лукаво и улыбчиво щурился. Его называли — Ленин.

Однажды за городом слышна была стрельба, и наутро портрет человека с бородкой исчез, а на улице услыхал Али знакомую песенку и похолодел.

Долог путь до Типерери,
Долог путь туда ведет...

орала сотня здоровых глоток.

Желтые ботинки на тройной подошве отбивали такт по камням мостовой, обнаженные сверкали ножи штыков.

Али догадался о причине исчезновения портрета.

На воротах, на тумбах были расклеены длинные серые листы бумаги. Их читали угрюмо, молча:

«Так как английские войска оккупировали Закавказье для того, чтобы: 1) обеспечить выполнение условий перемирия между союзниками и Турцией и 2) для того, чтобы поддержать закон и порядок до окончательного решения территориальных вопросов нынешней мирной конференции, то я, нижеподписавшийся, будучи главнокомандующим английскими силами в Закавказьи, сим объявляю:

Обязанностью жителей является совершенно спокойное поведение и, елико возможно, занятие своими делами. Поскольку они будут действовать таким образом и воздерживаться от всяких действий, вредных для английских и союзных сил, они никогда не будут привлекаться ни к какой ответственности английскими военными властями, их жизнь будет вне опасности, их собственность и свобода будут в полном уважении. Но если они отклонятся от исполнения своего долга в этом отношении, то необходимость военного времени вызовет самое примерное наказание.

А поэтому всякое лицо, которое совершает или пытается совершить действие, враждебное или вредное английским или союзным силам или какому-нибудь представителю этих сил, или действие, могущее быть полезным их врагам, включая сюда какие бы то ни было повреждения всяких железных

дорог, путей сообщения, мостов, телеграфных или телефонных проводов, водяных сооружений, военных складов и т. д., кому бы они ни принадлежали, или вообще преступить какое-нибудь из предписаний, будет предано военному суду и наказано смертной казнью, или каким-нибудь меньшим наказанием в зависимости от обстоятельств дела.

Главнокомандующий английскими силами в Закавказьи Генерал *Г. Ф. Мильн.*

Главный штаб.
7/20 марта
1918 г.»

Интервенты отрезали от Поволжья Апшеронский полуостров, и черные дни настали для бакинской нефтяной промышленности. Баку задыхался от обилия нефти. Единственным потребителем ее был флот его величества короля Великобритании, крейсирующий в Черном море. Вокруг города стояли целые нефтяные озера. Нефть сливали в открытые земляные амбары. Бурение прекратилось. Один за другим закрывались промысла и заводы. Начался голод. Али оказался на улице.

Газеты писали:

«Бакинская нефтяная промышленность гибнет. Трудно себе представить ее положение, если в самом близком будущем не наладится вывоз на Волгу. Но какие же виды существуют на навигацию в Астрахань? На этот вопрос лучшим ответом служит следующее сообщение:

Разведкой, произведенной гидропланами, вылетавшими из Петровска, были замечены в районе астраханского рейда большевистские военные суда, вышедшие из Астрахани. Как передают, суда эти вышли после того, как астраханские ледоколы прочистили путь, загроможденный плавающими льдинами. Из Петровска вышли навстречу несколько военных судов в полной боевой готовности. Возможно, что между судами произойдет сражение».

Следовательно, если в марте прошлого года нефтяники подсчитывали тоннаж наливного флота и степень готовности к навигации, то теперь им остается только вычислять количество советских подводных лодок и бакинских истребителей.

«6-го мая рабочие промыслов и заводов объявили всеобщую забастовку.

«Мы умираем от голода у колодцев нефти, так лучше умереть в борьбе», это был лейтмотив в речах почти всех делегатов на рабочей конференции.

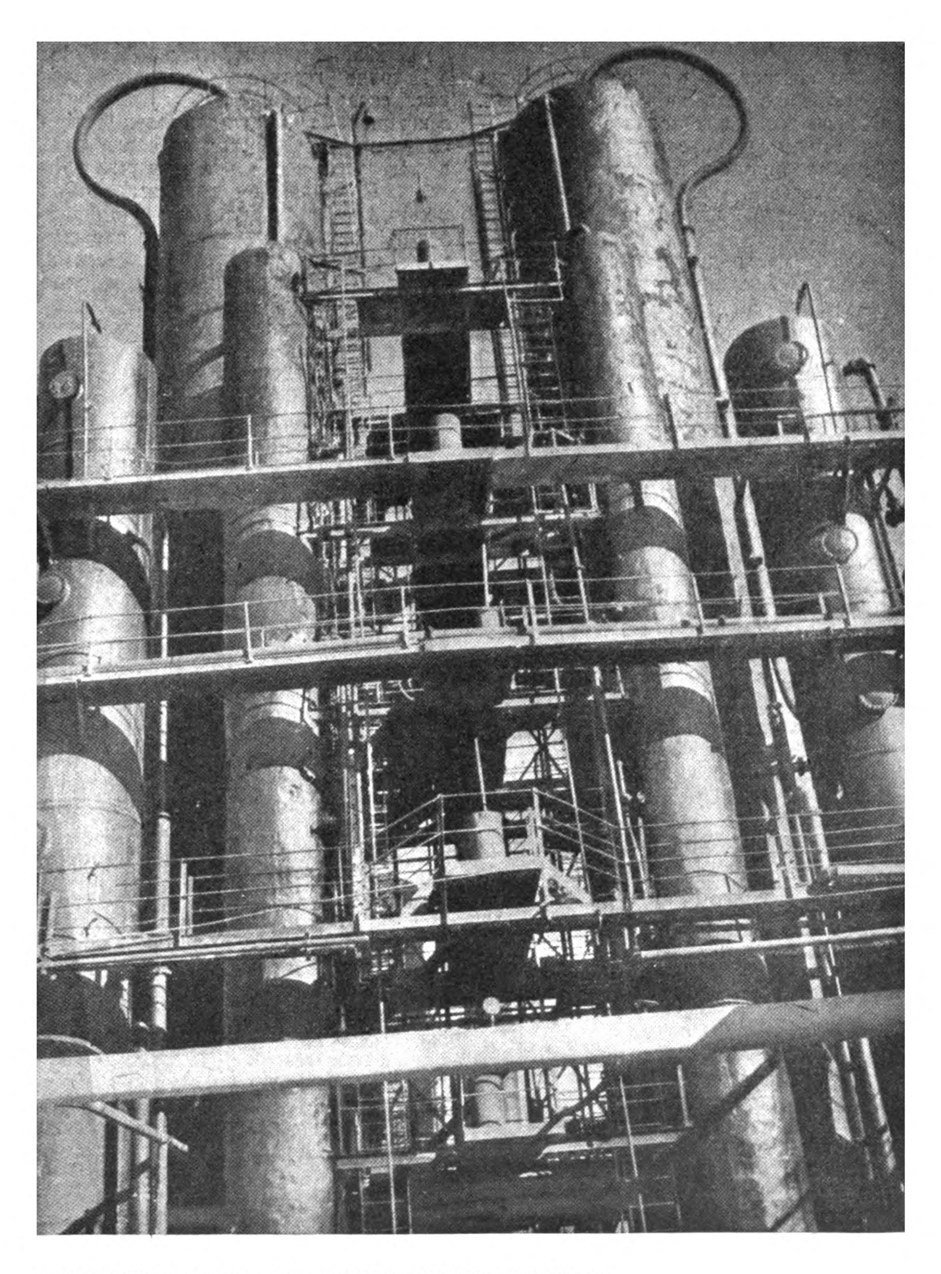
Первое требование конференции — снять блокаду с Советской России, убрать кордоны английских войск, стоящие на пути в Астрахань. Открыть дорогу туда для бакинской нефти».

Тогда начало действовать английское командование. Сипаи и усатые городовые мусаватистской полиции заняли промысла и заводы.

«Находясь в положении блокады, бакинский пролетариат не выдержал натиска вооруженных до зубов интервентов. Все средства были пущены в ход для борьбы с бакинским пролетариатом. Прежде всего было применено давно испытанное средство — разделяй и властвуй. Но и другими средствами, взятыми из арсенала старого самодержавного строя, не побрезговали для борьбы с забастовкой. Массовые аресты и обыски, насилия и избиения, насильственное, при помощи штыков и прикладов, привлечение к работе — все было пущено в ход для срыва забастовки».

Арестованных руководителей забастовки под конвоем сипаев английское командование отправило в Индию через Мешет. Всего было отправлено шестьдесят с лишним человек. Они исчезли так же, как двадцать шесть бакинских комиссаров, отправленных в ту же таинственную Индию полтора года назад. По городу плыли жуткие слухи. Говорили, что сипаи рубят головы арестованных в Красноводских песках. Страх утвердился в Баку. Тогда впервые понял Али, что такое классовая ненависть. Многие поняли это.

Не будем перечислять известных событий. В апреле 1920 года английские кордоны были сорваны, и нефтяная промышленность национализирована советской властью, утвердившейся в Баку. Советская Россия получила ба-



Баку. Советская трубчатка на нефтеперегонном заводе им. Сталина

кинскую нефть. Али опять поступил на завод.

Его поставили градусником. Была такая должность на старых заводах. Человек-градусник ходил между кубами с цилиндром-ареометром в руках и опускал цилиндр в продукт, записывая удельный вес. Хотя Али был неграмотным, но цифры писать научился.

Он стал приглядываться к работе кочегара. Кочегар регулирует температуру нагрева, на-глаз подбавляя или уменьшая подачу топлива. Через год Али стал кочегаром, а еще через год помощником сгонщика. Сгонщик был на батарее старый, с пятидесятилетним производственным стажем, звали его Тарас Андреевич Кормишкин. От него узнал Али, как получают из нефти бензин, керосин, лигроин.

Кубовая батарея, на которой работал Али, была приземиста и неуклюжа. Несколько пузатых котлов с обычными топками, ступеньчато возвышавшихся друг над другом, чтобы нефть самотеком перемещалась из одного в другой, пара холодильников и баков для конденсации — вот и вся аппаратура.

Но рядом, за забором поднималось в лесах нечто иное — стальные колонны, схваченные напряженно изогнутыми змеями труб, хитросплетения многих коммуникаций, огромные задвижки, трубчатые экраны нагревательных печей.

— Крекинг строят, — сказал Кормишкин, поглядывая туда. — Кадров у меня просили. — Пойдешь? — спросил он полушутливо своего молодого помощника.

— Пойду, — ответил тот, не задумываясь.

— Да ведь ты ж неграмотный.

Действительно, Али был неграмотным, он умел лишь записывать цифры. Желание поступить на крекинг заставило его пойти в школу. К тому времени, как с крекингустановки сняли леса, он мог уже с грехом пополам читать и писать по-русски.

При заводе открылись курсы для подготовки людей, выделенных на новую установку. На курсах Али узнал основательно теорию переработки нефти.

Наконец, настал день, когда можно было вблизи посмотреть новый завод.

В толпе гигантских теплообменников, сепараторов, эвапараторов, конденсационных колонн человек казался ничтожным. У Али заболела шея, потому что он все время задирал голову. С уважением рассматривал он мощный паровой насос высокого давления, контрольную доску со сложными регистрирующими приборами. Пульт централизованного управления вызвал у него восторженное восклицание. Но неожиданно Али побледнел. Невероятно: он вновь услыхал ту же веселую безобидную песенку на чужом языке, которая внушала ему безотчетный ужас и отвращение. Он вновь увидел окровавленное, корчащееся в предсмертных судорогах, тело своего отца во дворе наиба, землистые лица товарищей, увозимых под конвоем сипаев в таинственную Индию, откуда никто не возвращался...

Долог путь до Типперери...

В такт по асфальту стучали шаги шнурованных желтых ботинок, зеленая дымка вуали развевалась на пробковом шлеме, а под шлемом были глаза, серые, стекленеющие, холодные, и неподвижный подбородок.

Мистер Ломакс — инженер-технолог, представитель фирмы Виккерс, был тоже некогда солдатом.

Всего англичан явилось на завод человек семь. Кроме Ломакса, были механики Джексон и Ли и операторы Ллойд, Ган, Трим и Джон.

Англичане одели синие комбинезоны и встали по рабочим местам. Советские рабочие и инженеры обязаны были наблюдать их работу, но не имели права вмешиваться. На этом настаивал Ломакс.

— Ваши дикари в пять минут взорвут завод, — говорил он, поджимая губы. Ломакс не стеснялся высказывать самые резкие суждения.

Англичане проверили и отрегулировали измерительные приборы, расходили задвижки и краны и приступили к опрессовке аппаратуры. Заработал насос высокого давления. Мистер Ли сунул факел в топку трубчатой печи. В камере загудело пламя, заработали счетчики и пирометры. Методически переключались их рычажки. Автома-

тические перья вычерчивали красные, зеленые и синие кривые.

Первый день все шло как будто гладко. Но уже на следующий день неожиданно снизился выход, и давление необъяснимо стало повышаться.

Англичане забегали. Ход насоса уменьшили, но тогда поползла вверх температура. Режим нарушился. Работу пришлось остановить.

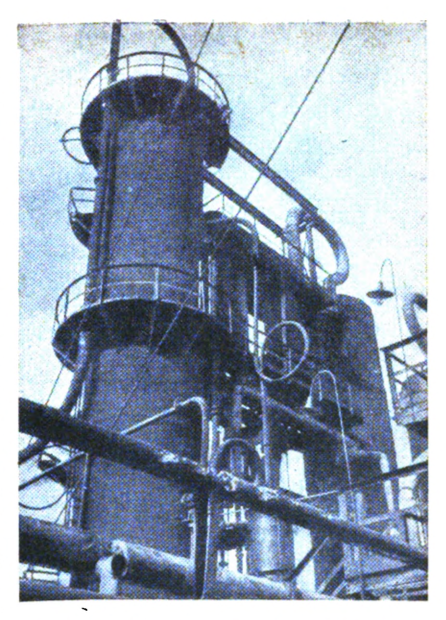
Когда разобрали реакционную камеру, увидели, что трубы ее сплошь забиты коксом. Трубы прочистили и работу начали вновь, но вновь ее вскоре пришлось прекратить. Конструкция реакционной камеры была неудобна. Продукт слишком медленно проходил ее, и частицы кокса обильно осаждались в трубах. Так повторялось четыре раза, а когда в пятый раз сунули в топку факел, чудовищный взрыв потряс установку. Печь разбросало по кирпичам.

Оказалось, что заслонка дымовой трубы была перекрыта. Рабочий, которому поручили ее открыть, клялся, что он это сделал, но факт оставался фактом. Ломакс много кричал в заводоуправлении.

Новую печь строили три месяца. Ее можно было возвести быстрее, но Ломакс придирался к каждой мелочи, тормозя работу. Даже самым доверчивым людям такое поведение англичанина стало казаться странным. Шел 1928 год. В стране развивалось авиастроение. Чистый крекингбензин был необходим, как воздух, а единственная в то время крекингустановка в Союзе этого бензина не давала.

Между тем, Али не терял времени даром. Вместе с другим помощником оператора Фомичевым, который тоже пришел на завод неграмотным из деревни и несколько лет мыл посуду в заводской лаборатории, вместе с Фомичевым Али старательно изучал крекингпроцесс.

Это было трудно. Англичане отказывались разговаривать. Ломакс им запретил. Англичане боялись своего шефа. Советским рабочим и инженерам приходилось надеяться только на собственную сообразительность. Но люди любили свою работу. Курсы занимались вдвое более положенного времени. Молодые инженеры Хохлов, Злобинский не давали покоя курсантам. Особенно старался Злобинский.



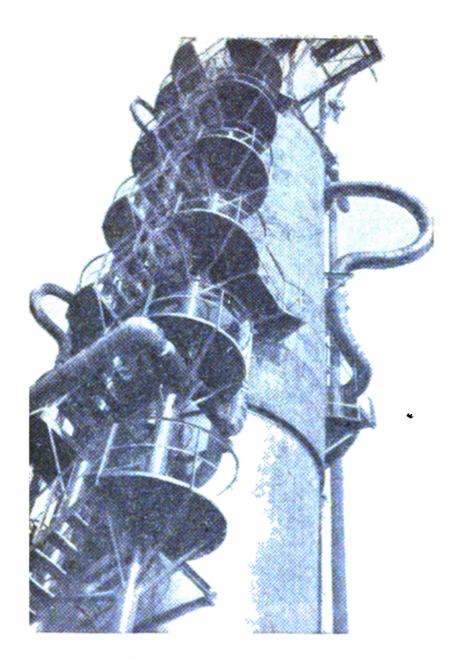
Завод им. Сталина, крекинг «Винклер-Кох»

Когда через три месяца снова пустили установку, трубы опять начали закоксовываться. Но Ломакс запретил останавливать работу. Он объяснил Злобинскому, который был дежурным инженером, что, повышая давление, можно пробить, наконец, коксовую пробку.

Давление повысилось до 700 фунтов, затем до 800. Англичане-операторы стали серьезными и опасливо переглядывались между собой, а стрелка манометра все ползала и ползала вперед. Наконец, Джексон не выдержал. Али видел, как он подошел к своему патрону и принялся говорить ему что-то. Ломакс презрительно посмотрел на него и ничего не ответил, а когда Джексон порывисто распахнул дверь в насосную, Ломакс схватил его за руку и оттащил назад.

Насос продолжал работать. Давление поднялось до 900 фунтов.

В операторную ворвался запыхавшийся Злобинский. Он крикнул, что



Завод Брайдстонов. Вакуумная установка

трубы в печи расширяются, они вздулись, и опухоль видна в гляделку.

Ломакс притворился, что не понимает его. Злобинский побежал за переводчиком.

Стрелка манометра доползла до тысячи. Англичане молчали. Лица их стали серыми, и когда Али случайно уронил на кафельный пол ключ, все вздрогнули, как от взрыва. Только Ломакс не обернулся.

Хлопнула дверь. Опять вбежал Злобинский, на этот раз уже с переводчиком. Притворяться непонимающим было больше нельзя. Все трое пошли к печи.

Спустя минуту после их ухода стрелка манометра вдруг метнулась назад. Али в два прыжка очутился около насоса, но почувствовал сильный удар в грудь и остановился.

Рядом стоял Ломакс.

— Не торопитесь! — сказал он Али по-русски.

В окна с улицы пахнуло пламя. Гигантский клуб черного дыма подпрыгнул, казалось, к самому солнцу.

Али выскочил наружу. Печь пылала. В стороны от нее бежали люди. Один из них, облитый с ног до головы мазутом, горел. Он мчался к воротам. Фомичев сшиб его с ног и вместе с Али забросал песком. Корчась, человек перевернулся на спину. Это был Злобинский. Обгоревшее лицо его исказилось. Его увезли в больницу. Он умер по пути.

Люди со страхом косились на проклятый завод после этого случая. Половина рабочих ушла с установки. Однако, это оказалось не плохо. На заводе остались лучшие. Али и Фомичев были среди них. Они вступили в партию.

Ломаксу предложили покинуть пределы Советского Союза. Без него остальные англичане сделались приветливее. Но аварии продолжались, и англичане так и уехали, не наладив работу. Умышленно или случайно, фирма Виккерс создала неудачную конструкцию. Расчеты ее были неверны. Но фирма Виккерс ошиблась также и в своих расчетах на то, что мы не сможем ее поправить. Советские инженеры переделали установку. Они изменили конструкцию печи, чтобы пламя не лизало труб, сжигая их, и реконструировали реакционную камеру. Они изменили режим, состав сырья, и закупорка труб прекратилась.

После отъезда англичан Фомичев был назначен оператором. Профессор Вальгес то же предложил Али.

Али отказывался вначале, но Вальгес убедил его.

— Ты аккуратный, внимательный и спокойный, — сказал профессор. Ты родился оператором.

Али стал работать. Он стоял у контрольной доски, регулируя режим в зависимости от показаний приборов.

Работа оператора требует быстрой сообразительности и чуткости. Нормальный режим зависит от температуры полуфабриката при выходе из печи. Если температура меняется, оператор должен быстро сообразить отчего это произошло, чтобы немедленно устранить причину. Температура повысилась, — значит либо форсунка дает больше топлива в печь, чем надо,

либо насос прогоняет меньше продукта, а насос может сбавить ход либо потому, что котельная подвела и не дала столько пару, сколько нужно, либо потому, что остановился конденсаторный насосик, и в системе повысилось давление. Все это нужно учесть, чтобы сманеврировать быстро и правильно и не разладить процесс.

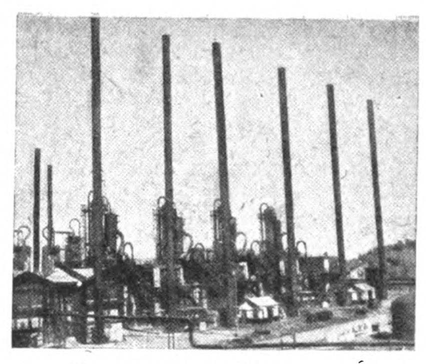
Али работал оператором год и ни разу не сделал ошибки. Колосс, налитый бешеной кровью раскаленных нефтяных паров, под давлением в 500 фунтов был послушен ему, как норовистый конь искусному наезднику.

Однажды во время приема вахты стал пропускать редукционный клапан. Починить этот клапан — дело десяти минут. Но для этого надо остановить завод, охладить аппаратуру, а потом, когда клапан будет починен, снова пускать, раскачивать и налаживать режим. Али пожалел времени. Он решил на ходу выключить клапан, быстро починить его и снова включить. Выключил. Давление начало подниматься. Оно перешло безопасный предел, а клапан еще не готов. Что же делать? Инженер растерялся, но Али был спокоен попрежнему. Неторопливо он повернул винтиль горячего пара. Он дал этот пар в аварийный резервуар, согрел его будто стакан, перед тем как налить кипятка, чтобы не лопнул, и пустил циркулировать через резервуар раскаленный продукт.

Инженер схватился за голову в ужасе. Он ждал взрыва. Но вместо этого давление снизилось до нормальных пределов, а когда вновь начало подниматься, клапан был уже починен.

Через год Али назначили дежурным инженером, хотя он не имел никакого инженерного образования, а еще через год Али Гусейн сделался начальником цеха очистки. Там, без единой аварии, он наладил работу нескольких новых аппаратов. Установка Виккерс выучила его смелости и осмотрительности, так же как и Фомичева, который налаживал в это время работу новых крекингов в Грозном, Батуме и на бакинском заводе, где впоследствии также стал начальником цеха.

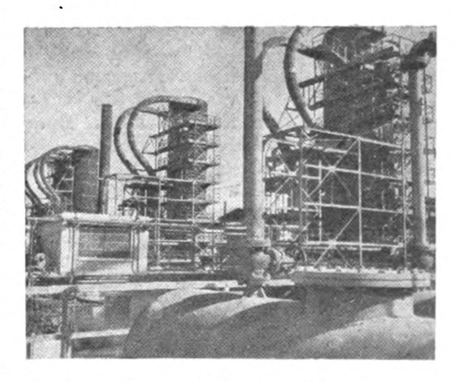
Обратно на «Виккерс» Али пришел в 1932 году. Здесь в это время был прорыв. Не было опытных инженеров и операторов. Те, кто вырос вместе с Али, давно разъехались по другим заводам, а молодежь не научилась еще держать постоянный режим, крекинг же не любит колебаний.



Баку. Крекинги «Винклер-Коха»

Али подтянул людей и выучил их работать. С каждым оператором он дежурил несколько раз сам. За все время своего существования установка не работала при таком постоянном режиме. Вместо пятнадцати дней по норме, она стала действовать непрерывно тридцать дней, и один раз в месяц, вместо двух, останавливалась для очистки от коксовой пыли. Прорыв был покрыт с лихвой.

Продолжая работать на заводе, Али поступил в институт, по химии и по теплотехнике он имел всегда отметку «отлично».



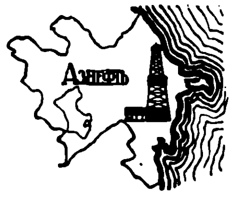
Завод им. Сталина. Установки «Алко»

В институте Али заполнял анкету и на вопрос: «на каких языках читаете и пишете» — вынужден был ответить: «только на русском». Анкету прочли и Али пристыдили — «родного языка не знает».

Пришлось Али заняться на тридцатом году своей жизни фарсистской грамотой. Он одолел ее без труда и даже прочел в юбилейном издании «Академии» «Шах-Намэ» Фирдоуси, с которым познакомился, увы, после Пушкина.

Недавно из Персии, из Гиляна приехал в Баку его земляк. Разыскав Али, он сидел на ковре, поджавши ноги, пил чай с сабзой и вспоминал практические нравоучения Саади.

Земляк рассказал Али, что брат его Ага Гусейн попрежнему ходит за деревянной сохой на земле ардебильского мулькадара, попрежнему отдает девять десятых урожая в уплату малиат-арбаби, хунса и закята, попрежнему неграмотен и потому не мог написать письмо Али, а просил на словах узнать, не возьмут ли его сюда на завод тапшипкой.



СССР занимает первое место в мире по запасам нефти; в недрах — 3 миллиарда тонн — 32,1% мировых запасов, из которых в Азербайджане — 1 миллиард 325 миллионов тонн.

●

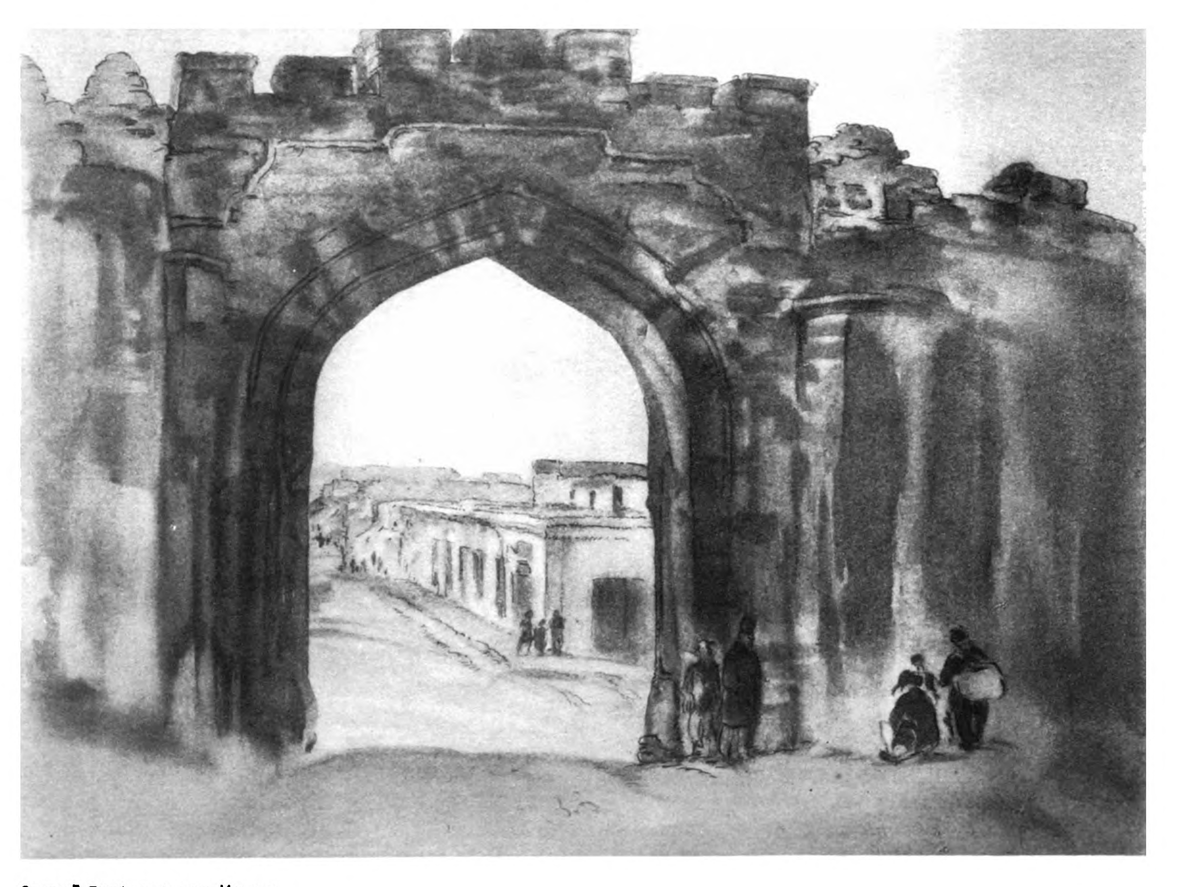
...„Наш народ и наша дипломатия обязаны создать условия к свободному и беспрепятственному пользованию бакинскими богатствами, в чьих бы руках ни находились они, в руках ли непосредственно Азербайджана или другого какого-либо государства, которое завладеет ими в той или другой форме. Об этом мы должны заявить совершенно открыто и во всеуслышание...

(Из передовицы в „Тависупали Сакартвело" органе меньшевиков Грузии. 1922 г.

●

„Британские вооруженные силы появились на Кавказе от Батума на Черном море до Баку на Каспийском море и от Владикавказа к югу до Тифлиса, Малой Азии, Месопотамии и Персии; их приветствовали почти все народности, ждавшие защиты—одни от турецкого ига, другие—от большевиков... Никогда еще история Британских островов не давала нам такого благоприятного случая для мирного расширения британского влияния и британской торговли, для создания второй Индии или второго Египта... Русская нефтяная промышленность, щедро финансированная и должным образом организованная под британским руководством, составила бы сама по себе ценное прибавление к империи. Британскому правительству представляется великолепная возможность оказывать мощное влияние на огромную добычу Грозного, Баку и закаспийских нефтяных местонахождений".

Из речи Гербента Аллена—председателя Биби-Эйбатской нефтяной компании—английского треста.
(Лондонские «Финансовые новости», 24-го декабря 1918 года).

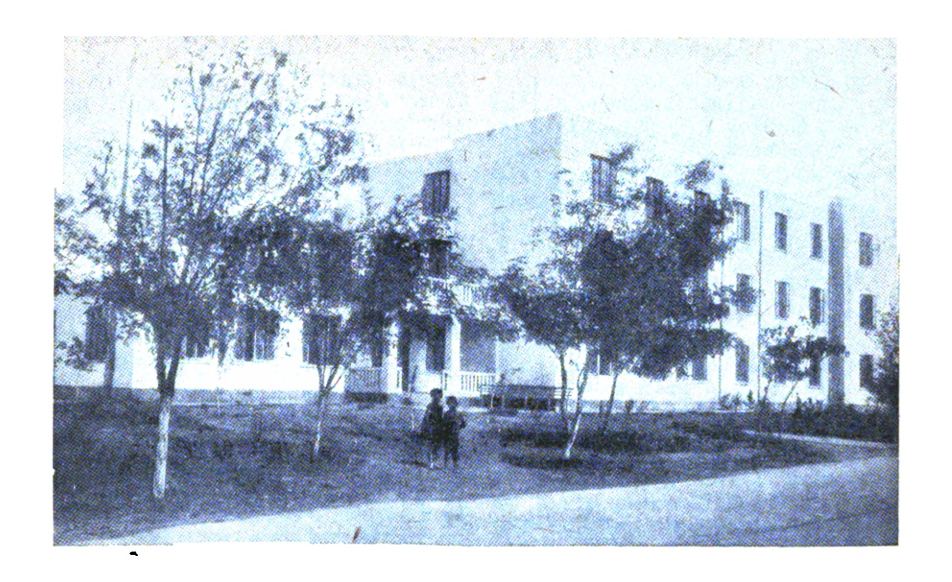


Старый Баку. рис. арх. Ильина



Курбан байрам (день жертвоприношения)—худ. Азим Задэ

Ушедший Баку



бакинцы

С. Гехт

Разве здесь нельзя жить?

Египетский хлопок, донецкий или кардифский уголь, уральские самоцветы и испанская мадера не уступают в своей славе знаменитым полководцам, музыкантам и изобретателям. Среди множества известных вещей нашей планеты мы легко найдем и бакинскую нефть. Кто не слыхал о промыслах Баку, о его нефтяных фонтанах, о тысячах скважин и огромных нефтеперегонных заводах...

В старые времена были у наших городов гербы, мало известные их обитателям. В архивах хранились изображения орлов и львов, скрещенные пики и прочие символы власти и завоеваний. Но были у городов, кроме изображений, и прозвища. Даже не побывав в том или другом городе, мы кое-что о нем знали. Мы слыхали о самоварной Туле, о миндально-кипарисовой Ялте, цементном Новороссийске, о курских соловьях, орловских рысаках и керченских селедках. Никто не знал герба Баку, но все повторяли, как формулу, его прозвище: Баку — город нефти. В воображении вставали: печальный каменный город, теснота закопченных вышек, жирные пятна на обеспложенной земле, мертвые соленые озера и черный воздух над Черным городом, где ничто не растет и на чьи улицы лег вечный мрак.

Бывало, скажешь — «Баку» — и люди с удовольствием вспомнят его богатства, но с грустью его житье-бытье, бесприютное, как кочевье. Вот город, где работают, но не живут — так думали мы о Баку. Его слава была нехорошей. Видимо, дурно думали о нем и в Ленинграде, в среде опытных и известных архитекторов. Видимо, дурно думал о нем и Лев Александрович Ильин, главный архитектор нашей северной столицы.

Приглашенный городским советом в Баку, он отправлялся туда с чувствами, если можно так выразиться, неуверенными, возлагая мало надежд на свою поездку в Азербайджан и работу в его столице.

— Я никогда не был на Востоке,— говорил о себе архитектор, — мне кажется, я не смогу полюбить его пейзаж. Я — человек севера.

Он считал, что пейзаж для архитектора есть отправная точка для его искусства, вроде трамплина для циркача, и что к пейзажу нельзя относиться равнодушно. Душе был мил северный русский пейзаж — густые леса, высокие травы, тихие реки с низкими берегами, камышевыми зарослями и заводями, милы были запахи хвои, грибов и земляники. А пейзаж Востока, еще неизвестный, но воображаемый, казался скучным. Пугало однообразие пустыни, пугала скупость растений, редких и низкорослых.

Мы любим наш богатый север, но в каждом сердце живет мечта о юге. В январе, когда на родине нашей — глубокие снега, мятели, морозы, вдруг очутиться в Батуме или Сухуме, где солнечно, зелено... И хотя пальмы перевязаны, и забинтованные их кроны похожи в это время года на необыкновенно большие луковицы и хотя еще не порозовели миндаль и олеандры и не зажелтели мимозы, но зеленое царство вокруг, вечно зеленые магнолии, вечно зеленые пальмы и благородные лавры — это же исполнение желаний.

Архитектор думал:

— Есть роскошь севера, есть роскошь юга, и есть и бедность востока. Пейзаж Баку — бедность востока.

Это было в 1924 году. В то время Ленинград освещался плохо. В городе мерцали редкие огни, еле пробивая вечерние туманы. Еще плотины не перегораживали Свирь, и молчали лопасти волховских турбин. Скорый кавказский поезд, увозивший Ильина, покидал темный Ленинград. В вагоне было много курортников, они показывали друг другу драгоценные путевки в санатории. В купе звучали райские названия, обещавшие месяц счастливой птичьей жизни: Хоста, Сочи, Ахун, Новый Афон, Адлер, Зеленый Мыс, Синоп, Гагры. Сосед Льва Александровича заметил, как архитектор кутает ноги.

— Вы ревматик? — спросил сосед.

— Да, — ответил архитектор.

— Я тоже, — обрадованно воскликнул тот, — значит, в Мацесту?

— Нет.

— Куда же?

— В Баку, — ответил архитектор.

— В Баку? — с недоумением переспросил сосед, — боже мой, ни за какие коврижки не поехал бы я в Баку.

Он сочувственно улыбнулся.

— Долг службы, да? Научная командировка?

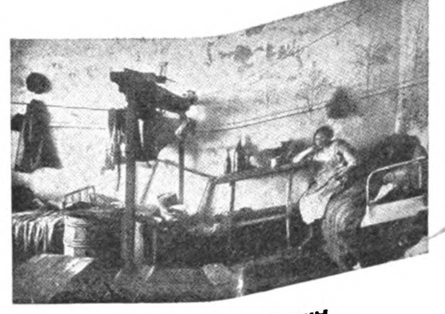
Сосед разочарованно отошел и заговорил с другим пассажиром о серных ваннах, о морских купаньях и о прочем южном, кавказском, черноморском. Пассажиры радостно и требовательно смотрели на поля. Они верили в великие пространства нашей страны, в ее климатическое разнообразие, в то, что пространство их не обманет. И пространство, действительно, оправдало их доверие. Был январь. В России — снег, лед, серые морозные туманы. На второй день — поезд шел через Донскую область — снег на полях стал редеть, на дорогах колыхалась грязь, пробивалось сквозь зимнюю муть солнце. На третий день обнажились поля, показались зеленые всходы. Поезд медленно двигался между Каспием и хребтом. Забытое снежное пятно можно было увидеть только в овраге или на вершинах дальних холмов. Лев Александрович лежал на верхней полке. Солнце востока начало прогревать дымные стекла и полосатые пуфы диванов. Он раскутал больные ноги и смотрел, смотрел. Он смотрел то направо, то налево. Справа — последние холмы Кавказского хребта и серо-красная земля, поросшая верблюжатником. Трещины рубцевали поля, и трава верблюдов — кочкообразные кустарники — нарывами покрыла землю. Шел горячий дымок, где-то варили смолу. Пасся скот, верблюд кормился рядом с овцой, а слева — гуляло море. Низкий каменистый берег был

заброшен маслянистыми водорослями и обглоданными волной корчагами.

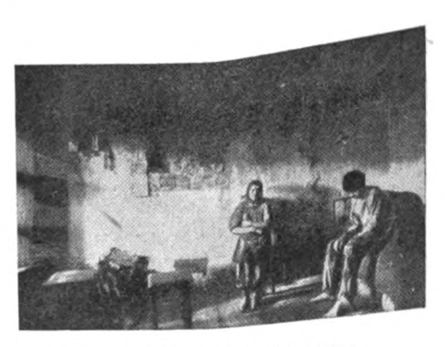
Безлюдна была серо-красная степь. Внезапно, среди пустынного бесплодья, возникали зеленые оазисы. Оросительные каналы огибали обширные участки, в них журчала весенняя и праздничная вода. Здесь пахали. Пахали в январе! Зеленел кустарник, и две молодые женщины, закутанные в белые платки, выщипывали из январской земли свежую редиску и морковь. Снова — пустыня. Поля — в трещинах, и вокруг — низкие травы.

— Вот когда я впервые почувствовал дыхание востока, — рассказывал потом Лев Александрович.

Поезд пришел в Баку ночью. С той поры Лев Александрович советует всем приезжать в Баку ночью. После темного Ленинграда Баку оглушил его своими огнями. Внезапно, как только поезд прогудел в последний раз у Баладжар, перед архитектором раскрылся невиданный электрический амфитеатр. Он смотрел на огненное богатство и читал эти огни, как читают книгу надежд и обещаний. Приезжайте в Баку ночью, и вы прочтете огни Апшеронского полуострова. На горе — огни, на набережной — огни, на правом берегу — огни, на левом — огни. Архитектор Ильин увидел огни, торчащие из моря. Здесь засыпали морское дно, богатое нефтью. На дне моря поставлены вышки, в подводную глубину опущена колонна труб и по ним ползет вверх нефть. Ильин остановил глаза на полукружии Биби-Эйбата и увидел: быстро мелькали белые огни, длинные и толстые. Они как бы подметали светом дорогу — то сияли фары автомобиля. Медленно ползущий слабый огонек означал, что по узким рельсам тащилась, пыхтя, «кукушка». Иные огни были недвижны. Они слились в многоэтажную светильню — это были огни промыслов. На горе архитектор заметил одинокие и скупые группки огней. Изыскатели бурили новые скважины. Огни противоположного берега были огнями крекингов и кислотных заводов. Огни Арменикенда, огни Баилова—красная иллюминация дворцов культуры, фабрик-кухонь и пожарных депо. Огненные ленты бульваров — предлинная



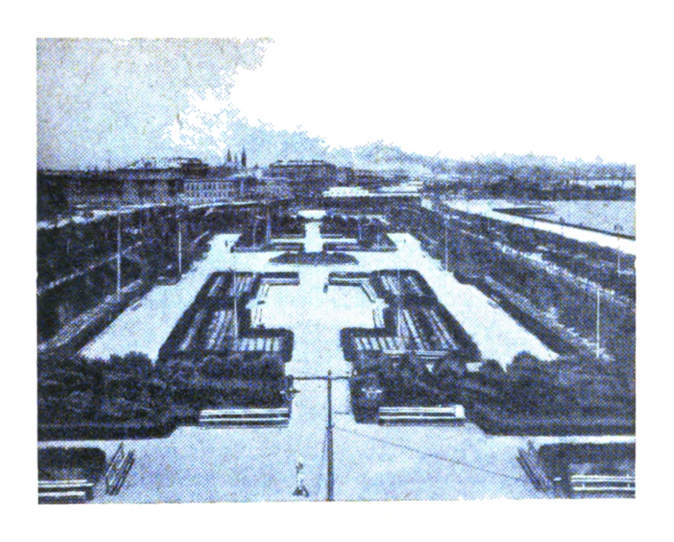
Так жили раньше (рабочие казармы на пром. Бекендорфа)



На место сырых полутемных квартир...



...выросли светлые радостные дома, в Арменикенде



Баку. Новый бульвар

цепь фонарей, фонарь за фонарем, вплывшие в туман, как шхуны. Редкие и тусклые огоньки крепости, взрывающиеся искры трамвайных проводов — огни Апшеронского полуострова.

Льва Александровича встретили на вокзале. К нему выехал председатель городского совета. Сидя в машине, Ильин вспомнил соседа-курортника.

— Разве здесь нельзя жить? — сказал он.

— Что? — спросил председатель совета.

Архитектор рассказывал: в Ленинграде он думал о скуке Черного города. Нет, скуку здесь может видеть только тот, кто не способен понимать монументальные полотна.

— Вот вы завтра осмотритесь, — сказал председатель совета,— мы тут начинаем разбивать сады и бульвары...

Он знал, что Ильин не только архитектор, но и архитектор-пейзажист, один из представителей так называемой садовой архитектуры, строящий не только дома, но и парки и палисадники, и посадки на площадях, и скверы. Зеленая палитра знает столько же стилей, сколько и строительная архитектура. Здесь стиль определяет цвет зелени и ее структура. Есть зелень, отражающая солнце, есть — пропускающая его лучи. Стиль определяют и высота деревьев, и путаница кустов и трав.

Машина вынесла их — архитектора с председателем—из узкой, желобообразной улицы на небольшую площадь.

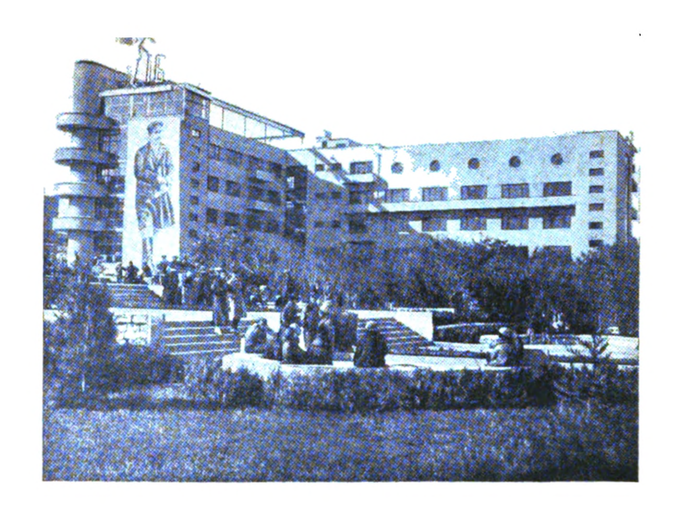
— Парапет, — сказал председатель совета, — здесь мы слезем.

Лев Александрович удивился: какое людное место! Ему захотелось побродить, посмотреть гуляющих, послушать оживленную тюркскую и армянскую речь. Парапет — центр Баку Это маленькая круглая площадь, обсаженная тополями. Отсюда ведут все пути. Множество событий случается на Парапете! В этот вечер здесь пел ашуг из Нагорного Карабаха. Он пел, напрягая гортань и мучительно раздирая скулы. Двигался подбородок, клокотало горло. Шевелились щеки, губы и нос, то суживаясь, то расширяясь. Казалось, что все его тело — и легкие и диафрагма не принимали никакого участия в выработке звука. Много женщин стояло вокруг. На них были черные и белые шелковые платки. Они полузакрывали ими лица.

Председатель совета засмеялся.

— Вам повезло, — сказал он архитектору,—не каждый проезжий встречает в первый же день ашуга из Нагорного Карабаха.

Здесь можно жить и прекрасно жить.



Новый Баку. Дворец печати

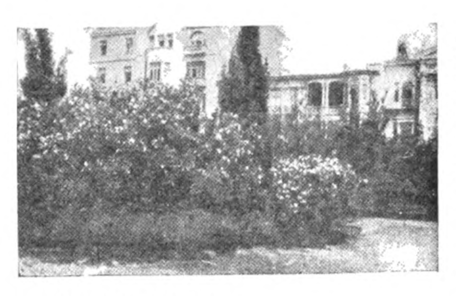
Здесь можно жить

Северянин поселился на Востоке.

В то время добыча нефти приблизилась к довоенному уровню. В то время советская нефть стала появляться во всем мире — в Англии, Германии, Швеции, Италии, Турции, Персии, Финляндии. Наша нефть проникла в Египет и Индию, в Геджас и Иемен. Детердинг и Рокфеллер, еще недавно скупившие все акции у Нобеля, Манташова и Лианозова, начали приобретать советскую нефть. С промыслов были убраны последние желонки, у вышек закачались насосы. В то время здесь работали два человека, чьи имена навсегда связаны с Баку — Сергей Киров и Александр Серебровский. Сергея Кирова часто встречали в Балаханах, на Солдатском базаре. Он предложил начать здесь бурение, и барахолка уступила место вышкам. Солдатский базар оказался одним из лучших нефтеносных участков. Его запасы велики, и с той поры насосы качают нефть из глубин толкучки. В то время бывший начальник Азнефти Александр Серебровский вернулся из Америки. Он заменял ударное бурение вращательным. Он изгонял с промыслов громоздкие и неуклюжие паровые машины с их огнедышащими кочегарками и заменял их электротоком.

В то время расчищали грязную набережную, заставленную складами Каспара, заброшенную и пыльную. Возили деревья, варили асфальт. На каждой улице стоял котел с асфальтом. На каждом углу воздвигали леса и сооружали подъемники. В Сураханах закладывали первые дома поселков. Копали ямы для железных мачт, ставили фермы, подвешивали троллейные провода. Они повисали над старинными улицами, площадями, над промысловыми дорогами. В городе было беспокойно от шума и звона стройки. В Арменикенде убирали последний мусор, оставшийся от разоренных армянских лачуг, и заново строили целый район.

Три человека ехали в машине по Баку: Александр Серебровский, Лев Ильин и член общества по охране старины Никита Немоляев. Дорога была трудна. Ветер бил пылью и щебнем в лицо, шины зарывались в выбоины и грязь. Обдавало жаром, горьким запахом смолы. Машина шла по городу, как по строительной площадке. Встречая на каждом шагу препятствия, она напрягалась до изнеможения. Наконец машина устала, и в радиаторе закипела вода. Пока шофер пошел добывать ведро для воды, все трое вышли из автомобиля. Они стояли на развороченной площади в конце Телефонной улицы, неподалеку от



Сад на площади Свободы

вокзала. На каждом дюйме земли возились каменотесы, плотники, арматурщики, садовники. С грузовиков сбрасывали лес, всюду варили смолу и вспарывали пакеты с гудроном. «Берегись»,— кричали двое, таскавшие на носилках чан с дымящимся асфальтом. На блоке спускали штукатура. Он мазал стены белой краской и пел. Пел он гортанно, непрерывно вращая скулами, как пел ашуг из Нагорного Карабаха, как поют все тюрки. По узкоколейкам катились с грохотом вагонетки с камнем. Было дымно, жарко, ветренно.

Начальник Азнефти объяснял архитектору:

— Там заканчивают Сабунчинский вокзал. Рядом строят швейную фабрику и квартал жилых домов для рабочих. Направо роют котлован для строительного института. Здесь прокладывают новую трамвайную линию, она пройдет от вокзала через Черный город до конца Белого города. Этот круг оставлен для сада. Видите, они уже перепахивают землю...

— Александр Павлович, не считаете ли вы, что мы несколько увлекаемся? — спросил, улыбаясь, член комиссии по охране старины.

— Чем? — удивился Серебровский.

— Садами, конечно, — ответил Никита Немоляев, — мы разбиваем все новые сады, как будто находимся не в Баку, а в Севастополе.

— Слыхал,— устало произнес Серебровский, — солончаки? Норд? Мало осадков? Сколько раз мне это говорили!

— Но истину можно повторять бесконечно, — возразил Никита Немоляев. — На Апшероне ничего не растет и расти не будет. Против природы не пойдешь...

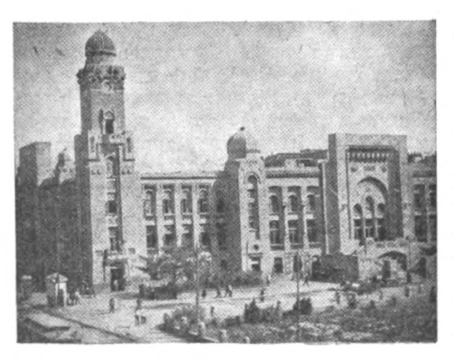
— Природу, — ответил Серебровский, — можно преодолеть. Вы вот говорите, что мы разбиваем много садов, а Киров говорил мне, что их у нас слишком мало. Мы будем сажать деревья всюду, на улицах, на площадях, в поселках и даже на промыслах, рядом с вышками и нефтяными амбарами...

— Сажать можно... — пренебрежительно произнес Немоляев.

— А что? — спросил Серебровский.— Погибшие труды? Так, что ли?

— Не я один так думаю,— ответил член общества по охране старины и обиженно замолчал.

Шофер достал ведро, налил в радиатор холодной воды, машина поехала в гору, в Арменикенд. Весь район был застроен лесами. Строительные леса, несмотря на всю свою громоздкость, производят всегда впечатление чего-то легкого, ажурного. Тут их было великое множество. Сразу воздвигали десятки кварталов. Сразу скрипели сотни блоков и поднимались сотни подъемников. Пересекая Арменикенд, двигался огромный обоз — десятки грузовых машин, сотни телег, караваны верблюдов. Везли камень, кирпич, цемент, железо, доски, стекло. Всюду громоздились кучи материалов. Стоял грохот, раздавались крики на многих языках. И тут и там — сторо-



Вокзал электрической ж. д.

жевые будки, помосты для прожекторов, пузатые динамо. Скакали походные кухни. Четыре человека, широко расставив ноги, несли рояль.

— Для тюркского клуба, — сказал шофер, — в армянском уже две недели, как играет.

— Как твоя Ашхен, Гасан? — спросил Серебровский.

— Плохо, Александр Павлович.

— Не хочет?

— Она-то согласна, — грустно ответил шофер.

Начальник Азнефти рассказал архитектору, что тюрк Гасан хочет жениться на армянке Ашхен, дочери бондаря. Они нравятся друг другу, но родители не хотят мужа-тюрка, и дочка не смеет им противиться. Странное дело, поговорите с ними об армяно-тюркской вражде, и они сами скажут, что все давно забыли и с тех пор, как пришла советская власть, навсегда покончено с глупой старинной враждой. С той поры, когда рухнул мусават, не было ни одного столкновения, вражда умерла, однако... многие старики не могут себе представить семейного союза тюрка с армянкой и армянина с тюрчанкой.

— Пришли мне твоего бондаря, — сказал Серебровский, — я с ним поговорю.

— Ничего не выйдет, Александр Павлович, — ответил шофер, — тут ему уже многие толковали...

— А он?

— Я, говорит, согласный, и с вами согласный и с советской властью согласный... но только дочку не отдает.

Архитектор удивленно слушал разговор начальника Азнефти с шофером.

— Странная девушка, — сказал он, — насколько я понимаю, по нынешним временам можно и без согласия родителей?

— Не хочет она, — ответил Гасан, — я, говорит, их огорчу до самой смерти, а они у меня такие старые... еле живут..

Он остановил машину. Его три пассажира прошли в контрольную будку, и Серебровский потребовал к себе начальников участков. Тут строились дома для нефтяников, и начальник Азнефти приезжал сюда время от времени проверять, как идут работы.

— Лев Александрович, — сказал Серебровский, — я здесь останусь надолго. Вы, кажется, собирались с товарищем Немоляевым в крепость? Возьмите мою машину. А Гасану скажите, чтоб приехал за мной через два часа.

Ильину запомнилась эта поездка с начальником Азнефти и членом общества по охране старины. Запомнился разговор о садах. В тот день он пробродил весь остаток дня по улицам крепости. Немоляев жаловался на коммунальный отдел.

— Им наплевать на старину, — сказал он, — я боюсь, что рано или поздно они доберутся сюда.

— Да, — сказал Ильин, — о крепости надо подумать серьезно. Конечно, нельзя оставить эту грязь и скученность, но здесь так много замечательных зданий и памятников.

— Понимаете, вы, как главный архитектор... — сказал Немоляев.

— Я, как главный архитектор, — прервал его Ильин, — позабочусь, чтобы расчистка района не повредила ни ханскому дворцу, ни старинным мечетям и баням, ни крепостной стене... но, сколько я понял, здесь уважают старину...

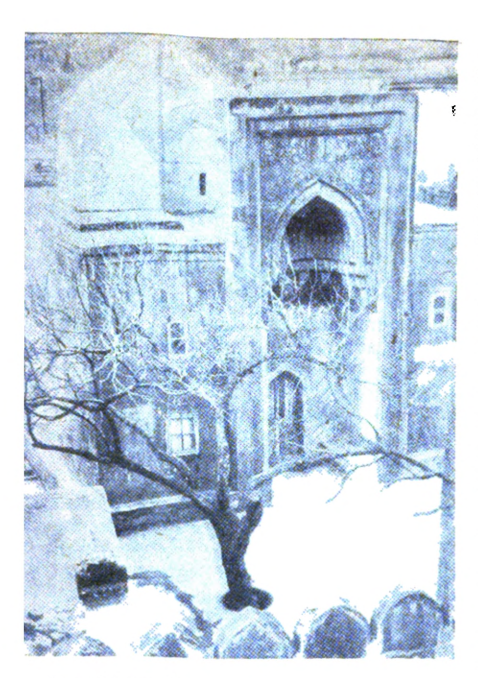
— А коммунальный отдел?

— Кроме коммунального отдела, — улыбнулся Ильин, — есть у нас и Совнарком Азербайджана и Центральный комитет партии.

Они осмотрели все восемь мечетей крепости: Сынкала-мечеть, Гилек-мечеть, Хидир-мечеть, Лезги-мечеть и другие. Немоляев перевел Ильину полукуфическую надпись на Сынкала-мечети: «Приказано сооружение этого здания мечети было Сеид-ед-дином, сыном Мохаммеда первого, в 471 году Хиджры»...

Они рассматривали минареты, купола, каменные доски с куфическими и полукуфическими надписями, новейшие пристройки.

Архитектор ходил туда часто. Открывал калитки, заглядывал в темные дворы, вымощенные каменными плитами. Любовался искусными балконами, лепкой колонн. Покидал крепость, отправлялся в другие районы.



Старый Баку. Мечеть

Начинал угадывать стиль Азербайджана. Четкость и определенность. Полная досказанность востока вместо недосказанности севера. Камень и солнце создают сами по себе свой архитектурный стиль. Скупость и простота масс. Филигранность деталей.

Ходил по улицам и музеям. Любовался свежей зеленью новых садов, юными деревьями нового бульвара на набережной. Изучал историю Азербайджана — от древних удинов, поселившихся на берегах Куры, до парфянских арсакидов, персидских сассанидов и арабских эмиров; от сельджуков и Чингисхана, от ширваншахов кесранидов и сефевидов до Туркманчайского мира, когда в Азербайджан пришли русские солдаты; от бакинской коммуны до мусаватистов, вернувших бекам захваченные крестьянами земли, и от последних лет гражданской войны до весны 1920 года, когда Азербайджан стал навсегда советским.

Слушал рассказы старожилов, знакомился с краеведами, взбирался на окрестные вершины. Любовался обширным видом, открывающимся с Патомдара. Посещал садоводов-любителей, присматривался к скупой растительности полуострова. Однажды он попал в поселок Степана Разина. Там уже стояли первые дома и разбивались первые сады. Он познакомился с тремя рабочими — Гронесом, Поливцевым и Антриковской. Вернувшись с работы домой, они до позднего вечера возились на своих участках, где посадили яблони, груши, инжир, абрикосы. Деревья хорошо привились, прекрасно росли. Архитектор вспомнил разговор у машины, и с той поры все слова о невозможности в Баку садов и зелени казались ему жалкими.

— Нет,—сказал себе архитектор,— здесь можно жить, и прекрасно жить.

Агент по снабжению и его родина

Полтора года назад — была осень — я впервые попал в Баку. Надо сознаться, мои представления разнились от представлений ленинградского архитектора. Я знал: нет, не скучный город увижу я, а кипучий, благоустроенный и жизнерадостный. Тут две причины: во-первых, я приехал на много лет позже Ильина, а Баку за это время великолепно изменился и, во-вторых, — я окружен в своем быту путешественниками, такими же неугомонными и чуть суетливыми, как я сам. Возвращаясь из дальних поездок, из долгих плаваний, исследовательских полетов и экспедиций, мы много рассказываем друг другу. Например, я мог бы описать ночь Шпицбергена, хотя никогда там не был, и цветение вишен в невиданной мною Японии. Поэтому, подъезжая к Баку, я знал уже, что найду благоустроенный город с асфальтовыми дорогами, длинной цепью каменных улиц, с многоэтажными домами, услышу гудение машин и трамвайный звон, всю деловитую возню наполненного движением города.

Впервые я приехал в Баку с моря. Когда пароход вошел в воды Апшеронского полуострова, передо мной открылась великолепная бакинская бухта. Есть любители сравнивать ее


На шоссе

с Неаполитанской. Я не был в Неаполе, но думаю, что патриоты преувеличивают. Однако, это не мешает бакинской бухте гордиться собственной красотой. Город расположился террасой вокруг бухты. Конечно, я побежал смотреть Девичью башню, прекрасно-черную и как бы сложенную из каменных колец, и ханский дворец на крепостном холме с его судилищем, подземельями, мавзолеем дервиша и минаретом. Бродил я и по всему району крепости, похожему на одну квартиру, где живет в беспорядке сорок тысяч человек. Здесь двум пешеходам трудно пройтись по необыкновенно-узким и извилистым улицам, здесь из любого окна можно протянуть руку жильцу противоположного дома, здесь сохранились древние мечети и каменные доски с арабскими письменами эпохи ширваншахов. Разумеется, я осмотрел сверху город с его плоскими крышами, наползающими одна на другую, белыми куполами бань и персидско-мавританскими домами дореволюционных промышленников — Муса Нагиевых, Тагиевых, Ганджинских и Садыховых. Я не мог не осмотреть всей старины, так как чувство времени помоему столь же заманчиво и вдохновенно, как и чувство пространства.

Затем я стал знакомиться с современным городом. Я увидел, какую важную работу проделали тут советские работники. Они по-настоящему позаботились о том, чтобы жизнь бакинских нефтяников, буровых мастеров и сгонщиков, слесарей и плотников была более удобной и достойной. Я увидел сады и парки, новые районы вроде Арменикенда, недурные поселки Степана Разина и Зобрат, новые дворцы культуры.

То был первый мой приезд в Баку. Случилось мне вскоре попасть на Подолию, в Винницу. Обитал я в гостинице, в длинной комнате, где стояли в два ряда восемнадцать грубых кроватей с почерневшими и покосившимися шишками. Это было рядовое общежитие, где ночевали и чаевали восемнадцать разных человек. У меня был кочевой опыт, и, попав туда, я сразу понял, что найду двух монтажников, приехавших собирать оборудование для электростанции, трех или четырех агентов по снабжению — кто приехал за картошкой для Донбасса, кто за чесноком для Урала, — трех инженеров — их наконец-то вытолкнули из Москвы, и они уже работают на постройке шоссе, но еще не обзавелись комнатами, работников политотделов, заночевавших в ожидании машины для поездки в район. Обыкновенно в таком общежитии можно было еще встретить лишенца, вернувшегося после долгой отлучки на родину выяснять и улаживать свои дела.

Я был прав. По вечерам мы усаживались за стол и заказывали общий чай — дешевле! Самыми солидными людьми оказывались обычно монтаж-

ники, у них был и свой чай для заварки, и лимон, и свой сахарок, а то и колбаса. Делили пищу, разговаривали. По вечерам начинались расспросы — зачем приехал, по какой части, чего добился. Укладываясь спать, тушили свет, но дымили папиросами и рассказывали истории. Мой сосед был агентом по снабжению. Он приобретал в Виннице два вагона лука и вагон чеснока для рабочего распределителя Горловки.

— Много, значит, ездишь? — спросил он меня.

— Хватает.

— А в Баку был?

— Был.

— Когда? — спросил он с особым интересом.

— Месяц назад.

— Ну?!

Папиросные огоньки освещали комнату, и я увидел, как он приподнялся на кровати и полуприсел. Агент оказался в прошлом рабочим. Плотничал в Баку на промыслах, в Балаханах, у Нобеля. Ставил вышки, ползал по деревянному каркасу на большой высоте, борясь с головокружениями. Когда в гражданскую войну опустели промысла, заехал подкормиться к тетке в Славянск. Затем стал агентом по снабжению.

— Говорят, трамвай ходит?—спросил он.

Я удивился в свой черед. Глядя на множество трамвайных путей, на густую цепь электрических дорог — городских и промысловых—я и не подозревал, что все это появилось в Баку недавно. Благодаря моему агенту, я стал лучше понимать Баку и распознавать его превращения. Оказалось, там, где я сейчас видел на набережной широкий и зеленый бульвар, уходящий к Черному городу, были раньше склады и бараки. Оказалось, единственным общественным садом в Баку был губернаторский, у крепостной стены. А я видел парк в Чемберикенде, и сквер на Кубинке, и тенистый сад за Телефонной, у вокзальной площади, и большой сад с питомником в Армениkенде. Оказалось, не было купален и пляжей, и гранитных лестниц с террасами, спускающихся к морю с высот Чемберикенда.

— На Кубинке, — рассказывал агент, — каждый день случались убийства...

— Нет, — отвечал я, — я уж не застал ни суеты хибарок, ни толкучного смрада. На площади — новые дома, Кубинка стала сквером, вдоль Кубинки — асфальтовые дороги...

Он удивленно присвистнул:

— Ну?

Он долго не мог успокоиться, затем рассказал, что в старом Баку было всего несколько метров асфальта, где-то около «Новой Европы». Он спрашивал: неужели заасфальтированы все приморские улицы? Я сообщал: не только приморские, но и все центральные и привокзальные и весь Черный город и Белый город и Балаханское шоссе...

— Ей-богу?

Ему казалось это сказкой. И я вспомнил, что еще несколько лет назад, когда Москва была непроходимо булыжной, мы с завистью слушали рассказы о Берлине, который весь покрыт асфальтом. А теперь ходишь по гладкой и отполированной Москве, и даже трудно представить нашу столицу неуклюжей и булыжной.

Я сказал агенту:

— Ночью в Баку светло, как днем. Я шел по улицам ночью и читал газету.

Он снова присвистнул. Можно читать газету? Чудеса.

Агент спрашивал, я отвечал. Я рассказывал ему о том, как в Баку привезли тридцатилетние деревья, как они прижились, и вдруг среди камней зашумела листва. Как на улицах цветет персидская сирень, инжир, орех. Как я ходил по вечерам в театры, клубы, сады. Играет ли в садах музыка, есть ли рестораны, — спрашивал он, — что я делал по вечерам? И удивился, узнав, что в Баку есть опера. Даже попросил рассказать содержание «Шах-Измаила» и «Шах-Сенена». Я вспоминал все новые и новые уголки, и агент выражал удивление, что они существуют, и я заметил, что он загрустил. Я не видел его лица, но догадался о его грусти, по внезапно-

му молчанию, по случайному вздоху. Сказал ему, шутя:

— Жили бы в Баку, и у вас был бы свой сад в поселке, сделались бы мастером; ходили бы по вечерам в клуб танцовать...

— Какой я танцор, — сказал он,— у меня ноги кривые.

Но утром подле умывальника он сознался, что его потянуло домой, в Баку. Захотелось даже вернуться к прежней профессии.

— Вот получу отпуск, — сказал он,— заеду, посмотрю. Может, и останусь.

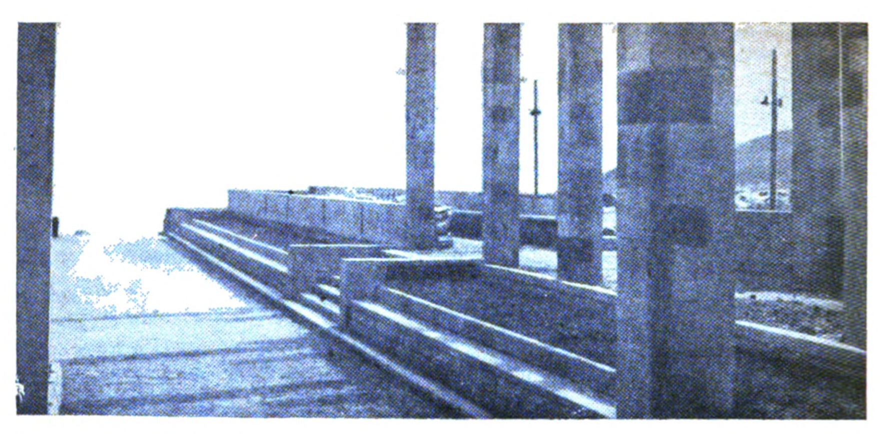
Мы разошлись. Он пошел в банк, где ждал денежного перевода, я — в Сахаротрест, так как заглянул в Винницу по свекольным делам. А вечером я выехал в Волочиск, в Каневский колхоз, где из окна любого дома можно наблюдать два разных мира. Против наших широких общих полей лежат по ту сторону Збруча узкие полоски, часто и мелко нарезанные. Это зрелище поучительней любой лекции. Из окна дома можно увидеть старомышинского помещика, и батраков, и офицеров в погонах и еще раз — неожиданно свежо — осознать явления, происшедшие в нашей стране. Я выехал вечером в Волочиск и навсегда забыл об агенте, заскучавшем по родине.

Нагорный парк

Недавно я вновь очутился в Баку. Сколько смысла в повторном приезде! Какие думы вызывает обозрение всяких перемен! Особенно люблю я видеть сады там, где бродил по пустырям.

Я помнил, что на Коммунистической улице, наискосок от мавритано-венецианского дома с лоджиями и зубцами в виде обелисков, принадлежавшего некогда Мусе Нагиеву, который построил этот дворец в честь своего сына Измаила, отчего дом и прозывается Измаилией — наискосок от него была свалка. Я помнил, тут собирались разбить сад, готовились к субботнику, и председатель совета Балахнин торопил планировщиков. Еще я помню, что на горе полагали устроить парк. Я шел по этой горе в Лок-Батан. Она была усеяна каменным мусором и могильными памятниками. И вот в первый же день моего второго приезда в Баку я среди множества перемен заметил: наискосок от Измаилии был сад, молодой, но с хорошо обработанными спусками и зелеными дорогами. Когда же я стал подниматься в гору, пройдя желобообразные улицы азиатской части Баку, все эти Персидские, Каменистые и другие, взобрался наконец по улице Арсена Амиряна на вершину холма, то увидел, что стало с этим заброшенным участком, где вповалку лежали забытые надгробья. Нагорный парк был опоясан с одной стороны суровыми холмами и горами Апшерона, с другой — просторным горизонтом моря. Огибая бухту, разбежался внизу огромный город. Нарядный город внизу и море за ним и горы позади преисполняли вдохновением. Честное слово, я сразу подумал о том, что умный устроитель парка должен был акцентировать все эти особенности. Но слишком часто сталкиваешься с последствиями дурного вкуса, и я боялся, что найду здесь множество убогих фанерных будок и грязных бумажек, повествующих о правилах и штрафах, барачного вида павильоны для аттракционов, тесноту скамеек, забвение пейзажа и полное отсутствие прекрасных мест для прогулок, тихого отдыха и размышлений. Некий чиновник, думал я, преподнесет мне взамен грозные, прямо устрашающие плакаты, клеймящие тихий отдых. Очевидно тот, кто не захочет слушать лекцию или потеть в павильоне с аттракционами, тот — враг.

Как приятно разочаровал меня бакинский Нагорный парк. Я увидел множество галлерей и портиков. Они были сложены из прекрасного камня и великолепно вписаны в пейзаж. Даже ярый враг портиков здесь вынужден был бы сказать, что бакинский архитектор вовсе не копирует учебники из чувства слепого уважения к классике, а располагает портики для того, чтобы защитить людей от солнца и оставить вдохновенные просветы, сквозь которые можно увидеть морские дали и красоту разбежавшегося города с его веселыми улицами, плоскими крышами и круг-



Терраса в Нагорном парке

лыми башнями старинных зданий и кислотных заводов. Я увидел здесь уважение к камню. Здесь из него было построено все. Как часто у нас ухитряются воздвигать здания из дерева там, где почва дарит самый благородный материал — камень. Недаром у нас снизилось искусство обработки камня, и теперь, когда мы хотим строить прочно и монументально, это искусство придется возрождать.

В центре парка расположен Тюркский холм. К нему ведут каменные террасы. Всюду — камень. Полукружия каменных скамей и каменные ниши, в которых растут кипарисы, и цепь каменных стен, сверху донизу увитых плющом и сочной японской жимолостью. Из любого места парка можно спуститься прямо в город — к морю, окраинам — по прохладным и величественным каменным лестницам, окруженным путаницей кустов и трав. Архитектор остроумно расположил кафе в седловине, вписав и его в состав единой террасы. Колоннада с плоской крышей на одном из холмов служит читальней. На дорогах встречаются тяжелые каменные плиты — их обхватила мясистая зелень и увенчали тяжело-красные цветы.

Парк еще не закончен, и я потом узнал, что даже в законченном своем виде — с просторной галлереей на Тюркском холме и бассейном — он будет лишь составной частью огромной цепи садов и парков, окружающих все бакинские нагорья, но и сейчас в нем можно увидеть множество отличных уголков, и каждый из них открывается как бы внезапно.

Я не увидел в парке привычных газонов. Вместо них всюду шевелились сухие травы и кустарники. К бакинскому пейзажу больше шла пышная шерсть сухих трав вместо тонкой шерсти газонов. Тут росли низкорослые деревья — красный гранат и желтый лох, который в Армении называют пшатом. Я понял замысел архитектора: не пускать деревья высоко вверх. Они загородят амфитеатр. Высокие деревья закроют спину парка, обращенную к голым холмам Апшерона.

У подножья Нагорного парка лежал другой парк, тоже расположенный на холме,— Чемберикендский. Ему уже было несколько лет от роду, и он как бы служил передней Нагорного парка. Оба парка вплотную подошли к окраинам Баку, к путанным улицам с домами в персидском стиле, балконами-фонарями, стеклянными галлереями и сетью железных лестниц, ведущих снизу прямо на третий этаж и не имеющих пролетов. Здесь живут сгонщики из Черного города и промысловые рабочие с Лок-Батана и Путы. Жители уже состарились в каменных желобах своих улиц, когда впервые к ним под-

ступила зелень и на их дорогах, уводящих к соленым озерам Лок-Батана и Путы, появились темные кипарисы, желто-красные цезальпинии, тамариски и много других кустов и цветов.

В этот приезд Баку стал для меня местом неожиданных встреч. Захотелось посмотреть, кто же гуляет по парку, подслушать разговоры. Народу оказалось мало, была непогода. Шли пары. Они взбирались мимо юных деревьев на Тюркский холм, затем направлялись к повисшим над городом и морем колоннадам и парапетам. Стояли у каменных барьеров, любовались. Двое мужчин, оба в шинелях и с полевыми сумками, остановились у мавзолея, который архитектор приспособил под павильон.

Прохожие спорили: достойно ли поступил архитектор, включивший в ряд новых строений некоторые кладбищенские памятники. Правда, он дал им новое назначение и новую жизнь, но не кажется ли тебе, — сказал один,— что тут изменил ему вкус?

Затем и они прошли под портик. Как и большинство людей, обозревающих сверху свой город, они искали внизу дома, где жили и работали, знакомые улицы, привычные углы.

У остроугольного выступа заросшей японской жимолостью стены сидел пожилой мужчина в барашковой шапке с круглой бородкой — получерной, полуседой. Он покрыл свои ноги цветным пледом. Подставлял лицо солнцу, жмурился. Ловил теплые лучи, поворачиваясь к ним то правой щекой, то левой. Как все бородатые люди, дергал пегую свою бородку, пощипывал, расчесывал. Я заметил: он следит, как и я, за всеми гуляющими. Следил и за мной, продолжая в то же время загорать.

Я подошел к стене, залюбовался японской жимолостью. Ее листва была густа и сочна. Человек в барашковой шапке поймал мой взгляд и спросил:

— Вы здесь бывали раньше?

— В прошлом году.

— Значит, еще ходили по кладбищу?

— Неузнаваемо, — ответил я. — Мне здесь очень нравится. Какая-то Эллада в Баку.

Собеседник удивился:

— Эллада? Не ошибаетесь ли вы? Но ведь здесь так все еще сыро, неустроено. Например, вы видите эти телеграфные столбы. Они портят общий план, не правда ли? Здесь будут поставлены новые столбы, каменно-стеклянные...

— О, вы все знаете. Но это в самом деле единственный парк в Союзе, который строится фундаментально. Кстати, кто его строит? Чей проект?

— Архитектора Ильина.

Я сказал:

— Надо будет его повидать...

— Будем знакомы, — ответил человек в барашковой шапке, — это я.

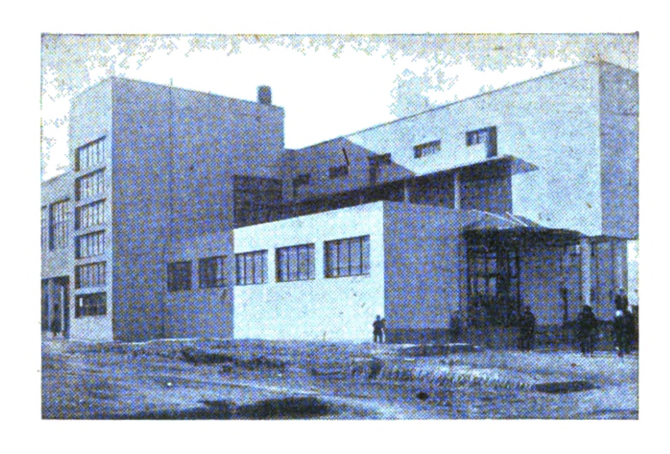
Дворец Советов и Арменикенд

В последнее время в наших городах много спорят об архитектуре. Были дни, когда площадка на Моховой в Москве, около нового дома, выстроенного академиком Желтовским, стала местом постоянных и ожесточенных словесных дуэлей. Вы тут могли встретить врагов академизма и классики, они что-то кричали об эпигонстве — нельзя же копировать эпоху ренессанса и барокко, колоннады и капители приводили их в ярость. Спорили тут и любители классики, они насмехались над русско-небоскребным стилем — он обречен, по их словам, на бесконечные перепевы пароходных конструкций.

— Ваш Желтовский, — кричали одни, — строит венецианское палаццо в эпоху автомобиля и аэроплана. Это безвкусно.

— Позвольте, — кричали другие, — а ваш Веснин? А Гинзбург? Нам надоели их серые плоскости, прямые углы и иллюминаторы.

Мне хочется присоединиться к тем, кто, отвергая эпигонство и механическую пересадку отличных образцов прошлого, заботится, однако, о сохранении национального стиля, считается с условиями, климатом и минеральными месторождениями городов, где они строят. Меня удивляет, что братья Веснины поставили на берегу Каспия такие же дома, как на Днепре или в Москве. Когда смотришь на дворцы культуры, выстроенные братья-



Фабрика-кухня в районе Орджоникидзе

ми Весниными в Баку и Сурахапах из железобетона, хочется сказать, что здесь есть свой камень, благородный и прочный, не говоря уже о том, что засоленные грунты и солончаки содержат хлориды и щелочи, разъедающие составные части бетона. Известно, что парижский камень определил стиль архитектуры Парижа, у нас же часто везут армянский туф в Москву и московский кирпич в Армению. Стиль Баку определяет его камень, его море, горы, солнце и бездождье. Его определяет и прошлое Азербайджана, великолепные памятники старинной архитектуры и в самом Баку, и в Нардаране, и в Гандже, и в Нагорном Карабахе. Довольно демагогии,— и нечего нас пугать тем, что в старину строились преимущественно мечети и ханские дворцы. Во-первых, это неправда, так как в Азербайджане есть стиль жилого дома, а во-вторых, мечети и дворцы тоже строил народ и вложил в них свое высокое искусство. Если откинуть религиозные элементы и развить лучшие национальные черты, мы действительно получим новый стиль, стил национальной социалистической республики.

Наша архитектура находится в предэкзаменационном состоянии. Как она выдержит экзамен, покажут Дворцы советов, воздвигаемые в столицах союзных республик. Молодость мира—у нас. Нашим архитекторам суждено создать стиль Нового Мира.

Начали строить Дворец советов и в Баку. Уже расчистили большую площадь на берегу моря. Уже заседала правительственная комиссия, и жюри рассмотрело шесть проектов — Руднева, Уссейнова и Дадашева, Ильина, Сырыщева, Сенчихина и Чиквадзе. Они развещены по стенам холодных выставочных зал, где на столах лежат образцы азербайджанских строительных материалов. Тут и известняковый камень, и мрамор, и гранит, и самоцветы.

Дворец советов в Баку это Дворец народов советского востока. Он будет обращен фасадом к морю, к другому востоку. Как же почувствовали это бакинские архитекторы? Увы, некоторые не поняли своей задачи и расчертили свои замыслы так, будто строят дом вообще. Так ошибся способный архитектор Сенчихин, которому кажется, что азербайджанского стиля нет в природе, а есть стиль восточный: арабско-персидско-турецкий или мавритано-венецианский, а потому необязательный и ненужный для Баку. Разумеется, если бы дело обстояло так, его мысли были бы достойны внимания, но он сгоряча все свалил в окрошку и не заметил, что Азербайджан внес и свое в строения, на которых обычно лежит налет персидских влияний. Ошибся и Чиквадзе. Тот действительно смастерил какую-то парфюмерно-восточную игрушку, удручающую своим безвкусием. Не

угадал идеи Дворца и талантливый мастер Ильин, который за эти годы так полюбил и понял Баку и так много для него сделал. Мне кажется, я нашел противоречие в работах Ильина. Когда я заходил к нему в его маленький домик на Персидской улице, он готовился к докладу на съезде архитекторов. Тема его доклада — архитектурный ансамбль. Он спорит с теми, кто утверждает, что ансамбли слагаются сами собою, а не создаются.

— Так было, — сказал Лев Александрович, — но так не будет. В нашей стране ансамбли должны создаваться.

На площади, около Базарной и Коммунистической улиц, начали строить жилой дом для рабочих бакинских доков. Ильин считал, что недостаток площади — ее разнобой. С одной стороны стоит Дворец-Измаилия, выстроенный в военные годы архитектором Плошко в так называемом мавритано-венецианском стиле. С другой стороны — конструктивный массив архитектора Пэка. Ильину пришла в голову спорная мысль: уравновесить оба стиля и поставить посредине такой дом, который нейтрализовал бы разнобой. Таким образом можно было спасти ансамбль, вернее кое-как его добиться. Благородная любовь к ансамблям, к гармоничности отдельных районов, доходила иногда до крайности, но все же была здоровой любовью. Ильин вчитывался в азербайджанский стиль, понимал природу Баку. Однако, его проект Дворца советов рисует воображению отличный дворец вообще, а не Дворец народов востока. И потому, когда перелистываешь протоколы жюри, чувствуешь, что оно поступило правильно. Жюри привлекло Ильина к работе над Дворцом советов, но основным проектом считает работу архитекторов Руднева, Ткаченко и Мунца. Пожалуй, они ближе подошли к идее дворца, как и молодые архитекторы Уссейнов и Дадашев. Справедливость, наконец, требует сказать, что немало хорошего есть и в проекте строителя Сырыщева.

Будет ли найден стиль советского Азербайджана? Для этого сейчас надо строить не так, как тут строили раньше, несмотря на то, что в последние годы в Баку строили много, и есть немало талантливо сделанных зданий. Совершим краткую прогулку, посмотрим.

Каменотесы, арматурщики и плотники появились на улицах Баку в те дни, когда стали оживать заброшенные и опустевшие промысла, и в Балаханах и на Биби-Эйбате были воздвигнуты первые советские буровые. Начали засыпать бухту, забил первый советский фонтан. Возвращались старые мазутники, росли новые. Так создалась семидесятитысячная армия бакинских нефтяников. Город был разорен. Рабочие жили в пещерных трущобах. По промыслам шаталась убогая «кукушка». Нефтяники толпились в ожидании вагончиков, тратили уйму времени на передвижение. В те годы появилась первая в Союзе электрическая железная дорога — Сабунчинская. Троллейные провода повисли над полями, уходящими к Балаханам и Сураханам. В те годы появились первые поселки, розовые коттеджи с цинковыми крышами. Рядом с вокзалом паровой железной дороги построили новый вокзал для электрической Сабунчинской. Грубо понимал советский восток архитектор Баев. Это эффектное, на первый взгляд, здание удивляет своим упрощенным толкованием восточности. Вспоминается Самарканд, репродукции дамасских и бейрутских дворцов. И вообще в те годы архитекторы, вроде Тер-Микаэлова и Баева, либо механически пересаживали старую Персию, либо вроде Весниных, Никулина и Пэна, механически пересаживали стиль венских рабочих кварталов или пароходные конструкции корбюзианских вилл. В те годы возник Арменикенд. Он возник на костях разоренного и обугленного армянского предместья, уничтоженного в последнюю армяно-тюркскую резню. Арменикенд—удача. Пусть не очень нарядны и даже схематичны его кварталы, но нефтяники получили здесь все удобства цивилизованного города. Хороша веселая раскраска и густая зелень аллей и бульваров, пропущенных сквозь кварталы. Худо, что район не имеет своего центра, это лишает его самостоятельности. Его прочищает горный воздух. Хорошо, что работа не брошена посредине—

у нас это быват часто — и район имеет более или менее законченный жилой вид. Проложены асфальтовые дороги, улицы очищены от строительного мусора, по вечерам светло, на бульваре — зелено и пряно. Арменикенд — веселый район.

Когда в Арменикенде тихо, значит, жители его на промыслах. Трамваи и автобусы развозят их по окраинам и предместьям. Бывают горячие дни. Вдруг забил фонтан в Лок-Батане. К Арменикенду подают десятки грузовиков. Аврал! Все едут укрощать фонтан. Из дома специалистов выбегает главный инженер Лок-Батана Майер. За ним — заместитель директора Мотовесян. Это известные укротители фонтанов. Майер наспех надел свою ватную телогрейку, ватные штаны и черные обмотки. Он быстро прощается с женой и говорит с ней по-осетински, он спорит на ходу с рабочими и говорит с ними по-русски и по-тюркски. Я вспомнил Арменикенд, его рабочих и Майера — и тут позвонил почтальон. Я развернул газету и прочел, что: «вчера 17-го февраля, с глубины 450 метров на скважине № 403 промысла имени Микояна (Лок-Батан) ударил газо-нефтяной фонтан с дебетом около 5 000 тонн. Фонтан бьет с неослабной силой. Буровая обшивается. Откачка нефти налажена. Управляющий Азнефтью Петерсон...»

Значит, снова наступили в Арменикенде горячие дни, и жители возвращаются домой, густо вымазанные нефтью, уставшие, с ватой в ушах. Адский грохот, сопровождающий извержение скважины, застрял в голове. Отдохнувшие сменяют уставших, копают ямы, устраивают амбары, приспосабливают и клепают аппаратуру, чтобы захлопнуть брызжущую и грохочущую скважину.

По Арменикенду мечутся грузовики и голубые автобусы. Пустеют дома. Остаются одни жены и дети. Жители набиваются в кузова машин, в кабины автобусов. За пять километров до промысла, перед спуском в ущелье, они замечают высокий черный столб.

Инженер Майер вернется домой поздним утром. Полчаса назад он еще стоял на вулкане. Скважину закрыли, кончен аврал. Он взобрался на локбатанский вулкан — посмотреть, как выглядит местность после фонтана. Рыхлая ползучая земля уходит из-под ног. Кратер забит остывшей серой лавой. В последний раз вулкан действовал в 1929 г. Майер нередко отправлялся туда в свободные часы, зазвав гостей. Они чуть откапывали землю, ставили чайник, клали яйца. И яйца варились на невидимом подземном огне, и в чайнике закипала вода.

— Сюда, — рассказывал инженер, — как-то зашел верблюд и погиб. Жители назвали место Лок-Батаном. Это значит — здесь увяз верблюд.

С вершины вулкана видно море и различимы черты Апшерона. Над ущельями Лок-Батана и Карагёза, над промыслами Молотова и Микояна торчат две горы — Бакинские Уши. Внизу — Красное озеро. Еще недавно сюда залетали фламинго. В честь их жители назвали Красным соленое озеро. Земля — в расщелинах. Ползут караваны верблюдов.

— Спекулянты, — ворчит Майер.

Погонщики верблюдов собирают нефть в отдаленных канавах вокруг озера, затем развозят в бурдюках по селам.

С вершины вулкана видна газовая скважина. Ее укротили давно, тихо вокруг. Только посвистывает в трубах газ. В будке сидит дежурный. Он смотрит время от времени на приборы. Тихо, безлюдно.

Подземный газ пущен по трубам. Он двигает компрессоры, отапливает дома и кухни. Уже и в самом Баку можно увидеть во многих квартирах газовые печи и плиты. К вам накачивают прямо в квартиру глубокий подземный газ. Горит вечный огонь — по вашему желанию.

С вершины вулкана видны два промысла. Майер знает, что вышки поползут дальше, переваливая через холмы и озера, за Бакинские Уши. В подзорную трубу нетрудно разглядеть новые буровые дальних разведок.

Сафура из Черного города

На нефтеперегонном заводе имени Сталина в Черном городе я познакомился и подружился с молодым дистиллатором Суреном Арутюняном. После промыслов, где очень грязно, на



Физкультурницы—худ. Мангасоров



Баку. Уголок парка культуры

нефтеперегонных заводах чувствуешь себя, как в клубе. Чистые дворы, асфальтовые дороги, всюду сухо и прибрано (доколе мы будем терпеть грязь на наших нефтяных промыслах?), в кабинетах директоров висят на стенах калифорнийские снимки. Там вышки стоят среди лимонных и апельсинных деревьев, и инженеры, побывавшие в Америке, рассказывают, что на американском промысле не увидишь и капли нефти.

— Тебе поднесут стаканчик, если захочешь посмотреть на нефть. Пожалуйста, нацеди.

Вот как чисто! Слушаешь директора и с грустью смотришь в окно. Дороги вспучило, много хлама, всюду — нефтяные лужи, пятна.

Приятно после промысла побывать на нефтеперегонном заводе имени Сталина. Он составился из группы предприятий Манташева, Ротшильда и других. Впрочем, как это у нас часто бывает, вся масса заводов оказалась пуговицей, к которой пришили пальто. Завод разросся, мало осталось в нем от старых хозяев.

Вот как я подружился с Арсеном Арутюняном. Он стоял в приемном отделении. Перед ним плескался в стеклянных сосудах бензин. Приборы определяли температуру, удельный вес. Дестиллатор пробовал качество продуктов. В приемном отделении было тихо. Через открытое окно доносился шум моря. Волны плескались у цехов. Огромные трубы сосали из моря воду. У заводских пристаней грузились шхуны.

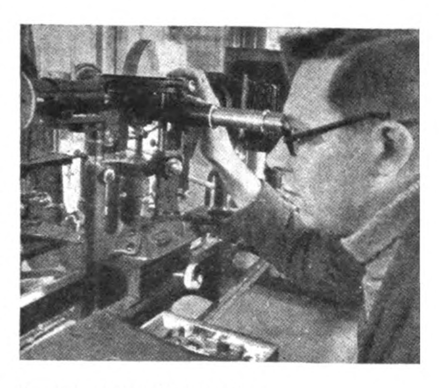
— Товарищ Арутюнян, — обратился я к дестиллатору, — нет ли у вас карандаша. Мне нужно кое-что записать.

— Как же, — ответил он, — сейчас дам.

Он полез за пазуху, но карандаша там не обнаружил. Стал рыться в карманах, переворачивать их, чертыхаться.

— Где же карандаш? — ворчал он. — Я его только что держал.

Переворачивая карманы, он уронил на пол записную книжку, откуда разлетелись во все стороны разные квитанции, облигации займов, лотерейные билеты, талоны, справки. Помогая ему собрать его имущество, я наткнулся на фотографию очень красивой женщины. У нее были большие и черные глаза, полные движения и блеска. В такие глаза обычно нельзя смотреть без чувства смущения и грусти. По-видимому, у нее была очень тонкая и бледная кожа на лице. Улыбаясь, женщина обнажила свежие, сияющие зубы.


Металлургический микроскоп

— О, — сказал я, — вряд ли она знает, что такое зубная боль и бормашина!

— Конечно, — ответил Арутюнян.

— Что говорить! — сказал я. — Красавица!

— Вы находите? — спросил он, посмотрев на меня как-то сбоку.

— Редкая красавица, — подтвердил я.

Дестиллатор помолчал, потом взял из моих рук фотографию, спрятал ее и сказал.

— Ее зовут Сафура. Она — моя жена.

Ему очень понравилась моя похвала.

— Она замечательно танцует, — сказал он, — как настоящая балерина.

Он кончал свою смену. Я подождал, пока он сдаст аппаратуру, и мы вместе покинули завод. Был шумный час, когда отовсюду высыпает народ, и улицы Черного города еле проходимы. В этот час вдавливаются в трамваи мелкие воришки, и люди судорожно хватаются за карманы и сочувственно



Баку. Сквер им. Димитрова (б. Кубинка)

кивают головами, когда какая-нибудь женщина вдруг закричит: — «Ой, деньги украли!..» и заплачет.

Арсен Арутюнян жил тут же, в Черном городе, в большом новом доме. Все двери в коридоре были раскрыты и мне удалось подсмотреть внутреннее убранство многих комнат. Это было удивительно! Люди въехали в свои новые квартиры в одно время. Они покинули звериные трущобы, и здесь ждали их городские удобства. Но если у одних было и чисто и нарядно, то другие ухитрились устроиться в городской квартире, как в землянке, и жили на полу. Забыв о кухне, они тут же в комнате жарили и коптили.

Нас встретила Сафура. На пороге стояла высокая тюрчанка; была она еще более красивой, чем на фотографии. Снимку не удалось передать красоту ее роста и гибкость ее длинных рук и ног. Прекрасная бледность щек, лба и вместе с тем такое цветущее здоровье, — подумал я, — как хорошо!

— Сафура,— сказал дестиллатор,— я привел москвича. Накормишь?

— Вы из Москвы? — обрадовалась Сафура, — о, вы мне сейчас много расскажете.

Я понял: нет, не зря пригласил меня Арсен Арутюнян. Потом выяснилось: Сафура жадно хотела узнать, какие новые танцы появились в Москве, какие новые фигуры. Она думала, что я это все покажу ей. Дестиллатор почему-то решил, что я отлично танцую и вообще знаток этого дела.

— Печально! Я совсем не танцую.

Сафура огорчилась. Арутюнян чувствовал себя виновным и перед ней и передо мною.

— Ну с чего вы это взяли? — допытывался я.

— Пальто, — сознался Арутюнян,— у вас такое модное пальто.

Угощали обедом. Был канун выходного дня. Сафура сказала: вечером во Дворце культуры — танцы. Мы отправимся туда втроем. Когда я выходил в коридор, то видел, как готовится к вечеру молодежь. Переодевались, чи-



стили башмаки, опрыскивали себя одеколоном.

— У вас не бывает в семье раздоров, — спросил я, шутя, — ведь он армянин, а вы тюрчанка?..

Оба засмеялись.

— Приезжие часто спрашивают, — сказала Сафура, — они одни помнят о вражде наших отцов.

Она рассказала, что приезжие еще нередко интересуются, нельзя ли увидеть шахсей-вахсей. Нет, нельзя. Но она помнит, правда, последнее уличное шествие фанатиков-самоистязателей. Кажется, это было в 1925 году.

Шли пешком во Дворец культуры. Шли в сиянии огней, в потоке праздничной толпы. Снова заговорили о танцах. Оказывается, на заводе есть кружок западных танцев. Очень многие увлекаются. Вот посмотрите, какие появились у нас мастера, сколько они знают фигур. Неужели я в самом деле ничего не привез из Москвы?

Уже играл оркестр. Уже танцовало множество пар. Они, быстро и механически отсчитывая ритм, ходили по залу, весело озабоченные своим искусством. Они танцовали фокстроты и блюзы. Признаться, я с большим удовольствием смотрел на национальные танцы. В глубине зала одна армянская пара с восторгом отплясала свой «тас ин чорс», затем перешла на лезгинку. Сафуру часто приглашали, но она всем отказывала и бессменно танцовала со своим Арсеном.

В минуту перерыва к нам подошел заведующий Дворцом культуры.

— Арсик, — сказал он, — у нас собрание актива. Насчет соревнования с дзержинцами. Понимаешь, ты как почетный снайпер...

Он увел с собой дестиллатора. А мы с Сафурой заспорили о том, какой танец лучше. Мне больше нравились «тас ин чорс» и лезгинки, так как я видел в них характер и душу народа, ее же сердцу более милы западные танцы. Сафура говорила: они изящнее. Тут опять зашумел оркестр, и пары разбежались по залу. Человек средних лет подошел ко мне и попросил позволения потанцовать с Сафурой. Его лицо показалось мне знакомым.

— Послушайте, — сказал я, — мы где-то встречались.

— Без сомнения, — ответил он, — в Красноводске?

— Нет, я никогда не был в Красноводске. Может быть, в Бобриках?

— Не приходилось, — сказал он, — в Закаталах? Нет, в Шемахе!

— Нет, не в Закаталах. И не в Шемахе.

Мы оба задумались и вдруг в один голос вскрикнули:

— В Виннице! Вот где мы встречались! В Виннице!

Человек средних лет оказался агентом по снабжению. Он вернулся домой и попрежнему работает на промыслах, но уже не плотником, а буровым мастером.

— Спасибо вам, — сказал он.

— Я удивился.

— За что?

— А так... мне здесь хорошо.

Он увлек Сафуру и стал водить ее по залу. Когда Арсен Арутюнян вернулся с собрания, он застал меня размышляющим о неожиданных встречах и о человеке, которого я вернул на родину. А Сафура шла и шла по залу, осторожно ведомая своим партнером. Она была выше его, и от этого он чувствовал еще большую неловкость, чем от ее красоты. Мы видели: он восхищенно смотрит ей в глаза, грустя и смущаясь.

Гронес—слесарь и садовод

Как сладко получить общее признание!

Старый слесарь с промыслов товарищ Гронес важно сидит на заседании президиума Бакинского совета. В его окружении — вся власть города, знаменитый садовод Майер, заведующий садово-парковым отделом Беликов и помощники самого Ивана Мичурина, вместе с доцентом мичуринского института Еникеевым. А как еще недавно мучился Гронес! Нефтяники, жившие в поселке Степана Разина, разбили около своих домов сады. Любителю-садоводу Гронесу досталась скала. Возвращаясь с промысла, он взбирался на нее и бил ее киркой и кувалдой. Так он дошел до мягких грунтов и расчертил около своего жилища сад. Он посадил в нем сорок восемь деревьев. Весной зацвели вишни и яблони. Затем Гронес посадил абрикосы, персики, гранаты, альбухару, сливу и айву. Он окружил их кустами малины и смородины. Он взрыхлил несколько грядок, и на его участке зазеленели помидоры, демьянка и петрушка. Гронес выбрал для них богатое солнцем местечко. И сад расцвел, стал прекрасным. Люди стучались к Гронесу в дом.

— Выходи, Гронес. Мы желаем посмотреть твой сад...

Слесарь выходил на улицу, с удовольствием показывал.

Он вывел на своем участке пятнадцать сортов. И вдруг случилась неприятность.

Сладко получить признание. Когда в Баку начали разбивать сады, нашлись недоверчивые люди, говорившие, что все это напрасно. В Баку ничего не может расти, ваши труды погибнут. Ведь Апшеронский полуостров не имеет грунтовых вод, а за год выпадает так мало осадков — всего 180 миллиметров. Когда наступает время цветения, на полуостров обрушиваются сильные ветры, ложатся густые туманы.

— Круглый год дуют северные ветры, — говорили люди, — что вы с ними сделаете?

Они напоминали: в свое время пытались разводить яблоки и груши. Они стояли в июле и августе без листьев. Корни не успевали подать воду, хотя их и поливали. Завязи на них было очень мало. Насекомые-опылители отгонялись ветром.

Но Бакинский совет решил сделать Баку и его окрестности зелеными и плодоносящими. Недавно бакинцы посетили Ивана Владимировича Мичурина. Они сказали ему, что желают создать у себя опытную станцию.

— Мы просим, — сказали они, — послать к нам в Баку ваших учеников, чтобы они у нас работали вашими методами.

Иван Мичурин расспросил об условиях Баку. Они показались ему страшными.

— Так что же вы хотите, — сказал он, засмеявшись, — вы бы еще приехали из ада! Ужас! У вас нет своей почвы?!



Дом рабочего поселка

— Да, раньше так говорили, — ответила ему делегация, — но мы показали в последние годы, что кое-что можно сажать и на нашей почве.

— А что вы будете делать против бури? — спросил Иван Владимирович.

Бакинцы рассказали знаменитому ученому: они решили бороться со стихией, с свирепым нордом, — разрушителем садов. Защитные полосы? Конечно. Правда, их нужно еще создать. Но есть места, более защищенные горами. Там бакинцы попробуют внедрить некоторые растения.

Иван Владимирович задумался. Какие растения лучше посоветовать для защитных полос. Бакинцы рассказали: они применяют харьковский тополь. Хороша защита из сосны, благородного лавра, туркестанского тополя. Как Иван Владимирович относится к малине «техас». Будет ли ей хорошо в Баку?

— Смело разводите! — воскликнул Мичурин, — восемнадцать фунтов с куста! Я еще посоветую вам мичуринскую плодородную вишню. Актинидия? Очень подходящий для вас сорт. Его легко будет разводить... Груши «серотина»? Вы говорите, американцы советуют? О, американцы здорово обманывают...

Разговор с Мичуриным кончился тем, что его ученики поехали в Баку. Они изучали тут климат, почвы и растения, и вот, сидят на заседании президиума совета, а доцент Еникеев рассказывает о впечатлениях мичуринцев. Первое место должны занять на Апшероне такие растения, как маслина, гранат, инжир. Бакинцы называют инжир верблюдом — до того он неприхотлив и засухоустойчив. Но есть четыреста сортов инжира и потому грустно смотреть на здешний беспородный инжир. Он слишком мало дает. Надо испытать множество сортов и подобрать лучший ассортимент для Апшерона. Тогда инжир действительно станет королем полуострова. Его ветрозащитные качества несравненны...

— Низка апшеронская агротехника граната, — говорит доцент Еникеев. Он вообще ругает здешнюю агротехнику. Он тут встречал многоствольные деревья. Они не выводят кроны, и потому так мал урожай.

На заседании говорят о многом. Тут советуют и другие засухоустойчивые растения: шелковицу, фисташку, миндаль. Яблоки и груши мало пригодны для Апшерона, хотя рабочие семьи их разводят неплохо. Если их нельзя рекомендовать для промышленного хозяйства, — говорят мичуринцы, — то в рабочих семьях их можно применять с успехом.

Гронес внимательно слушает все, что говорят. Но в этом месте он закругляет у уха ладонь. Он хочет услышать каждый звук. Сейчас ему смешно вспомнить, как его неожиданно раскулачили. Ему сказали: ты посадил

больше, чем полагалось. Он написал в поселковый совет заявление.

«Прошу оставить мой палисадник в покое, так как он является настолько интересным в нашей пустыне, что ко мне приходят французские и американские делегации, и все люди любуются. Я сам, когда работаю в садике, выхожу из него иногда и смотрю издалека и любуюсь...

Председатель взял у него заявление и спросил:

— У тебя какие деревья?

— Фруктовые.

Тогда председатель рассердился.

— Какое ты имеешь право,— сказал он,—сажать фруктовые деревья, когда сейчас у нас происходит озеленение! Нет, брат, будешь у меня платить особый налог.

Гронес просил пощадить его сад, а председатель воскликнул:

— Какое мне дело!

— Что же, вырывать мои деревья?

— Как хочешь.

— Я же за этими деревьями, как за ребенком, ухаживал,—сказал Гронес,— а вы велите мне вырывать...

Он пошел к себе домой, хотел рвать деревья, но рука не поднялась. Тогда он снова явился к председателю.

— Кто мешает строить коммунизм, — кричал Гронес, — того разоблачу врагом.

Председатель освирепел.

— Разоблачитель нашелся! Я тебя за шиворот выкину.

— Послушай, — сказал Гронес, — я такой же хозяин на советской земле, как и ты.

— Ты мне политику не разводи, — оборвал его председатель, — давай заявление.

И распорядился взимать с рабочего особый налог. Тут Гронес ему пригрозил.

— Если я буду вырывать деревья, народ взбунтуется. Наши разинцы мой сад любят.

А председатель предложил.

— Ты сажал — народ не видел. Ну и вырывай так, чтобы не заметил...

И слесарь вырвал прекрасные деревья, с таким трудом выращенные в пустыне Апшерона. Пусто стало в саду, пусто и грустно. Шел мимо народ и спрашивал: умер, что ли, хозяин?

То ужасное время прошло. И дурака-председателя прогнали с промысла, и слесарь Гронес снова вырастил дивный сад, и сейчас его называют знатным человеком, и вот он сидит на заседании президиума бакинского совета и решает будущее зеленого и плодоносного Апшеронского полуострова.

Гронес смущен. Ему дали слово. Он встает, оглядывает, улыбаясь, все собрание, чешет себе подбородок.

— Ну я не скажу, может быть, так культурно и понятно,—начинает он,— потому что нахожусь в таком ученом кругу. Приехал я в Баку в 1902 году, и тогда был один сад, мы его сейчас называем садом революции. Раньше он считался губернаторским садом, куда стекался весь народ Баку, который толкал друг друга и вместо того чтобы дышать чистым воздухом, они получали испарения...

Он рассказывает: сейчас в Баку много садов. На-днях он пошел посмотреть памятник Мирзе-Фатали Ахундову и увидел, как хорошо развивается сад. Зелень обвила даже телеграфные столбы. Между прочим, он шел по Персидской и взглянул на собор, удивился, что хотя не раз видел его, но не замечал раньше, как лежит на куполе поверженный полумесяц и его попирает крест.

— Такая, значит, была у них национальная политика, — говорит Гронес, улыбаясь.

Он помнит загульбинские колодцы. Сейчас они запущены, так как есть Шолларский водопровод. А воды для растений мало и надо восстановить старые загульбинские колодцы. Между прочим, в давние времена в Баку существовали тоннельные сооружения, и подземная вода всегда фонтанировала. Такие фонтаны сохранились и сейчас, один находится в бывшем Цициановском сквере. Но вот уже двенадцать лет, как он бездействует — засорены подземные проходы. Следы колодцев, питавших фонтаны, сохранились на углах Большой Чемберикендской и бывшей Красно-Крестовской, на Каменистой, Персидской, Кладбищенской... надо их расчистить. О, тогда Баку станет еще более красивым городом. Подземные воды выйдут, заиграют фонтанами.

— Они могут дать много воды,—говорит Гронес, — между прочим, когда проводили загульбинскую воду через Балаханы, был на Солдатском базаре такой случай. Шел мимо мулла, видит: проводят воду. «Ко мне — закричал мулла, — ко мне». Ну, собрался народ. А мулла говорит: «Люди, я попросил у извозчика воды, а он отказал. Тогда я ударил палкой и брызнула вода». Народ удивился, два дня праздновал по случаю чуда. А потом воду отвели от муллы, и чудо кончилось. Между прочим...

Старый слесарь все время отвлекается, вспоминает множество историй. Но вдруг снова смущается и опять чешет себе подбородок. Вот ему очень понравилось то, что мичуринцы рассказывают про Донбасс. Рабочее садоводство совсем не такой пустяк, как часто думают хозяйственники,— сказал доцент Еникеев. Еще несколько лет назад огромные территории вокруг шахт были пустынями. Теперь это цветущие сады и огороды. Если секретарь парткома пренебрегал рабочим садоводством, у него отбирали партийный билет, так как к этому относятся так же внимательно, как к угольному плану. Хочет Гронес сказать и о школьниках. Нашим детям надо прививать любовь к природе. Он как-то разговорился с школярами, и они показали, что знают множество вещей, но плохо знакомы с миром растений. Говорят, в Баку будет ботанический сад, это ему очень нравится...

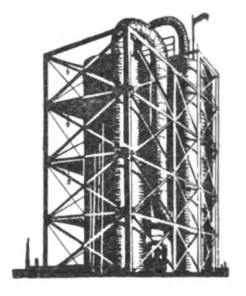
Гронес садится на свое место рядом с доцентом Еникеевым и с удовольствием слушает его слова. Тот говорит собранию:

— Когда мы ходили по поселку Степана Разина, то видели садики рабочих, и нас поразило, что каждый рабочий-садовод есть в маленьком масштабе Мичурин. Он не просто берет посадочный материал и сажает. У него какое-то чутье, и он получает у себя такое растение, которое может бороться со всеми невзгодами Апшерона. Даже в Черном городе, где население страдает от газов завода Буденного, рабочие выводят персики. Мы видели неплохие плоды...

Заседание продолжается долго. Полночь. Здание совета опустело, уснула и шумная Коммунистическая улица. Пьют чай, курят. Стенографистка чинит свои длинные и остроотточенные карандаши. Она забросала стол листками, заполненными египетскими закорючками. Гронес время от времени прикладывает к уху ладонь, закругляет ее. Сладко получить общее признание!

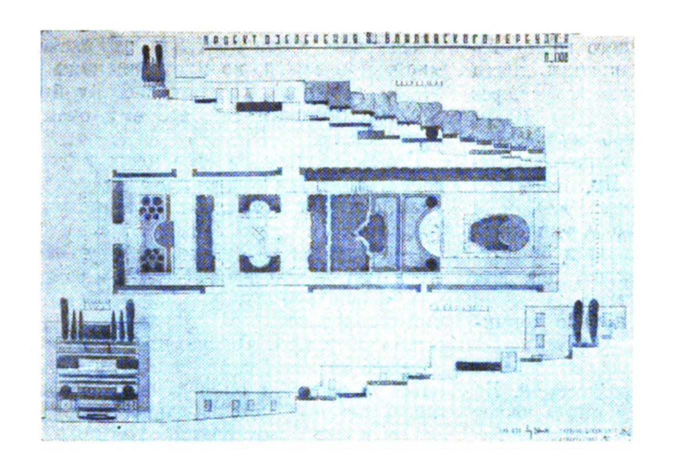
За последние пять лет на промыслах Азнефти добыто нефти больше, чем добыли капиталисты за одиннадцать лет, предшествовавших национализации.

Новейшие трубчатые установки и крекинги заменили технически отсталые старые, нобелевские кубовые батареи.



„Нефтяная промышленность первая из всех отраслей нашего хозяйства еще в 1923/24 году стала решительно переходить на американские методы работы, на американскую технику".

Из доклада т. Орджоникидзе на VII Всесоюзном Съезде Советов



Проект озеленения Банковского переулка

элементы архитектуры

(заметки архитектора)

Л. А. Ильин

Путь в Баку

В конце апреля 1925 года мне предложили поехать в Баку, где должен был вскоре состояться очередной всесоюзный водопроводный съезд, на котором впервые были поставлены вопросы планировки городов, в том числе и проект планировки Баку. Тема для меня интересная, город далекий и неизвестный мне, время весеннее, к тому же я засиделся в Ленинграде. Решил ехать.

Бывая до того не раз на Кавказе, я никогда не двигался восточнее линии Владикавказ—Тифлис, поэтому уже с Беслана железнодорожный путь был для меня нов, и медлительное путешествие почтовым поездом (скорый тогда ходил раз в неделю) и в жестком вагоне было вовсе не скучным. Кавказ весь в целом эпичен, но едва ли не эпичнее всего путь вдоль Западного берега Каспия от бывшего Петровска (Махач-Кала) до самого Баку. На этой исконной дороге народов с одной стороны чувствуется дыхание пустынь Закаспия, с другой стороны — таинственное присутствие громад Кавказа, первые дагестанские отроги и плато его все время тянутся вдоль пути. Всадник в бурке и папахе, тяжелая медленная арба с буйволами, небольшие караваны верблюдов дорисовывали вполне исторический, восточный, медленно живущий пейзаж.

До Дербента поезд идет в зелени садов и редких приземистых лесов. После Хачмаса зелень пропадает, начинается апшеронский пейзаж. Легчайший изумруд апрельской зелени местами покрывает холмы и плоскости на подступах к Баку. Показываются фантастические вышки.

До 1925 года мне никогда ничего хорошего не говорили о Баку: жара, пыль, копоть, постоянные нефтяные пожары и т. д. Но при моей страсти к югу, даже и после такой аттестации, я подъезжал к Баку совсем без предубеждения.

Почтовый поезд в те времена шел медленно. Проехав Шомхор утром, мы только при огнях приблизились к Баку. Поворот Закавказской дороги по-

сле пересечения Сабунчинской электрички открыл залитый огнями Баку. Это было необыкновенно эффектно. В 1925 году, когда Ленинград был еще полутемным, Баку поражал обилием света и сразу создавал настроение кипучей жизни города. Этому соответствовало и впечатление первой поездки — от вокзала по вечерним оживленным улицам.

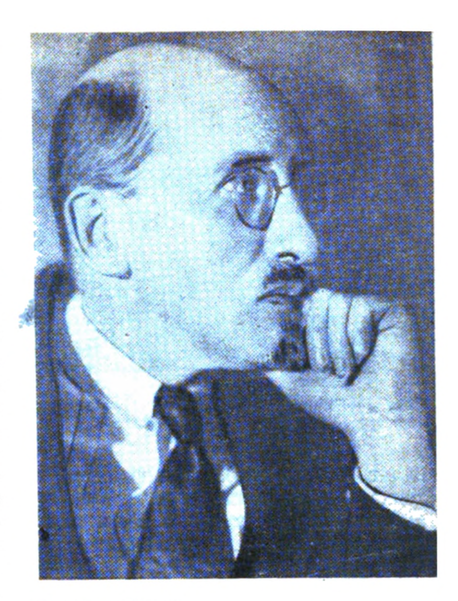
Город больших не только хозяйственных, но и культурных возможностей, — город большого и интересного будущего, — таким воспринял я Баку навсегда. Путешествие мое оказалось роковым, — с тех пор я все чаще в Баку. Природа моей работы заставила наблюдать и участвовать в его перерождении. Это позволяет мне, не будучи истинным бакинцем, предложить вниманию читателя настоящие заметки, плод контурных и кабинетных экскурсов по городу в течение нескольких лет. Содержание заметок останавливает внимание читателя на уходящем облике города и приоткрывает его будущее лицо.

Воздух, солнце и море. Земля, камень и зелень.

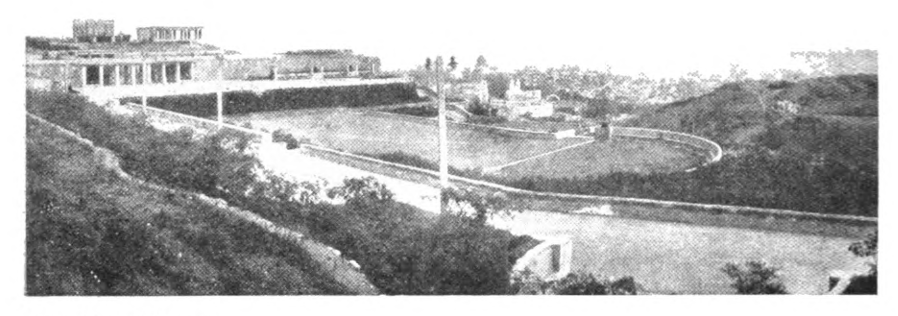
После яркости эффектов весеннего светлого неба Ленинграда с его феерическими закатами и восходами, мощными массами облаков суровых и нежных оттенков, весеннее и летнее небо Баку кажется тусклым. При обилии солнца здесь редки дни, блистающие яркой, совершенно чистой лазурью, — то легкая мгла, то сильная облачность закрывают небо. Только постепенно находишь характер в этих облаках, клочковатых или напоминающих стоячую пелену. В блеклой синеве летнего неба и неопределенности оттенка облаков, темные тона обожженной земли от выходящих известняков и отложений соли местами принимают белесый оттенок и мягко дополняют краски неба. Неожиданно силуэтом выступают черные скалы, обветренные и изъеденные морской и дождевой водой. Высокое солнце подчеркивает тенью отвесные скалы на фоне, отбрасывающей солнечный свет, освещенной земли. Вспоминается этюд Севильи Веласкеза.

Бакинские, апшеронские стихии нигде не познаются так концентрированно ярко, как при экскурсии на гору Потамдар, на юго-западе огромного амфитеатра Бакинского плато. Потамдар как бы заканчивает Кавказский хребет у самого города. С ее вершины, высотой 231 метр над уровнем моря, открывается широкий вид на запад, северо- и юго-запад. Отроги холмов и гор сурово замыкают весь горизонт, и только с юга открывается гладь моря и безлесая полоска берега, со знаменитыми теперь молодыми промыслами Пута и Лок-Батана и характерной парной вершиной Кергез—Бакинские уши. Некоторые холмы и вершины имеют резко выраженный характер вулканов, подчас действующих.

Пустынный этот пейзаж, давая нечасто встречающееся ощущение анатомии земли, в солнечную погоду отличается редкой изысканностью и нежностью красок. Колоссальные расстояния уничтожают действительное очертание и резкость контуров, а насыщенность воздуха парами дает всей панораме богатейшую гамму красок, в которой навсегда остаются в памяти сапфировые тона моря, бледный ко-



Архитектор Ильин



Баку. Нагорный парк

бальт чистого неба и множество оттенков — от нежнейшего розового до аметистового — у гор и облаков.

Недопустимо, что вершина Потамдара вся засыпана щебнем от старых карьеров. Потамдар несомненно играет большую роль в климате Баку, но эта вершина имеет и туристическое значение. Здесь из лежащего кругом щебня можно без труда устроить туристическую площадку отдыха, здесь возможна даже посадка кустов и деревьев, ибо влагу, стекающую с вершины, легко собирать.

Некоторые почитатели Баку, окрыленные замечанием М. Горького о ночном облике их города, в порыве восторга сравнивают Бакинскую бухту с Неаполитанским заливом. Скептик может улыбнуться возведению бакинского пейзажа в такой высокий пейзажный чин; к счастью, в природе нет табеля о рангах, и всякий пейзаж имеет свои особенности, и они тем ценнее, чем своеобразнее. Единственные в мире ярчайшие, ликующие и предельно сладостные,—у плохих живописцев они становятся слащавыми, — неаполитанские краски полностью отсутствуют в Баку. Гамма Бакинской бухты — суровая, но изысканная в оттенках. Летом это пейзаж для красок Уистлера, осенью и зимой здесь можно найти Тернера, с его романтикой в оттенках цвета и контрастах света.

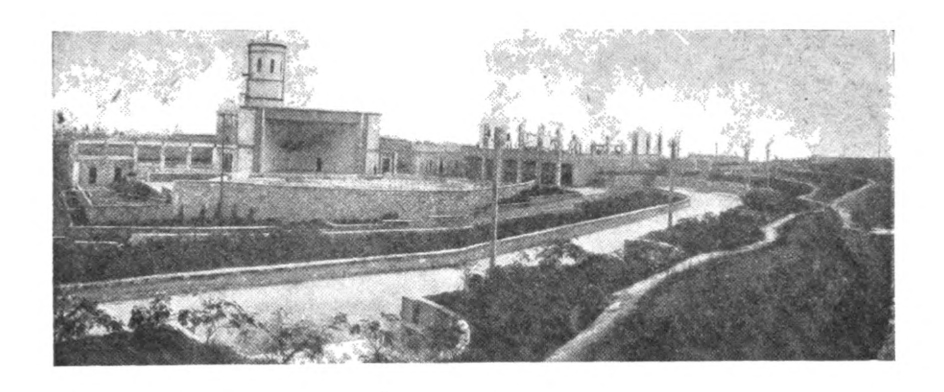
Бакинский камень. Апшерон — это морское дно. Бакинский камень — осадочная порода, разные виды известняка, от раковистого туфа, — совершенно аналогичного тому туфу, из которого выстроены древнегреческие храмы Пестумы, — до мелкозернистого известняка разных оттенков; то он почти белый, то темножелтый, иногда с прожилками, как в мраморе.

Камень легко поддается обработке: находясь всюду в почве, он является ее продолжением, стены, выложенные из этого камня, с течением времени принимают цвет почвы и скал.

Бакинская зелень. Трудно назвать в таком городе, как Баку, зелень — природой, в старом Баку этот элемент почти полностью отсутствовал. Сейчас она ложится в общей картине города плотными густыми пятнами на светлый фон строительной массы.

Особенность почвы и северный ветер не способствуют большому росту деревьев, большинство вырастающих здесь пород достигает не больше 10—12 метров, у них короткие, крепкие стволы, низко распластанная, шаро- или куполообразная густая крона (инжир, фисташка). Норд безобразит крону, но иногда придает ей и своеобразную выразительность.

Большое значение в Баку приобретают кустарники. Возможна и необходима также посадка ползучих растений, которые покрывают стены в защищенных местах. Несмотря на сухость и жару, бакинская зелень не-



обычайно ярка и долго сохраняет свою яркость. Бесспорно, что апшеронский климат позволяет создавать вечнозеленые сады, в новом Баку победа зелени обеспечена.

Нагорный парк

Зона Нагорного парка в Баку — исключительное по сочетанию благоприятных условий явление в парковом строительстве городов. Обычно бурное развитие таких больших индустриальных городов, как Баку, в условиях капитализма не оставляло места для парков, все территории застраивались промышленностью и жильем. Кроме Лондона и Берлина, не только мировые столицы, но и большие города, не могут похвастаться парком в центре города. Париж и Ленинград испытывают парковый голод в центре; Москве относительно посчастливилось: свободные территории и остатки старых загородных парков сохранились в ней недалеко от центра и могут соединиться с внешней парковой зоной.

В Баку ситуация создалась исключительно благоприятная. На запад от старой городской крепости на ближайших холмах Чемберикенда издревле расположились обширные кладбища. Они поднимались террасами на Нагорное плато и располагались в его складках. Более поздние кладбища — армянское и русское — заняли точки, господствующие над городом. Только кое-где между кладбищами вклинилось жилье, его легко можно удалить. Великое для Баку дело освобождения набережной от пристаней и создание приморского бульвара получает свое продолжение в Нагорном парке, так как бульвар подходит к вестибюлю парка — новому Чемберикендскому саду.

В будущем бакинец, живущий в центре, не выходя из обстановки зелени и моря, сможет попасть во все части Нагорного парка, а затем — в Ботанический парк, в зоопарк и за ними — в туристическую зону на гору Потамдар, в обстановку природы.

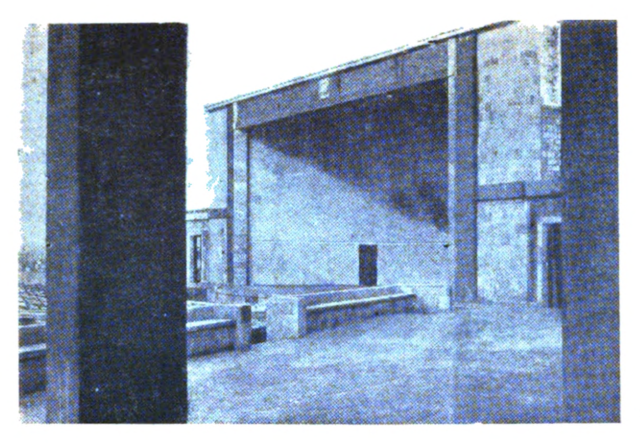
Основной аттракцион парка — это его высоты, откуда видны весь город и море. Широта горизонтов, их разнообразие, море и высокое небо, возможность соединения мест уютных, с открытыми просторными площадками, являются той суммой возможностей, которые не может не использовать строитель.

Проектирование Нагорного парка было начато мною по поручению президиума Баксовета в 1931 году. Сейчас уже закончено строительство новой очереди. Это около одной пятой части всего будущего парка. Уже сейчас он завоевал признание масс и специалистов-архитекторов.

Лестные отзывы председателя Совнаркома тов. У. Рахманова, предсказывающего широкое значение Нагорному парку, чрезвычайно обязывают и автора и всех строителей.

Успех парка, если о нем уже можно говорить, определяется:

1. Тщательным использованием ре-



Музыкальная раковина

льефа в интересах планировки и раскрытия перспектив.

2. Отказом от бутафорской архитектуры, столь излюбленной в парковом строительстве до сих пор, и переходом на капитальное строительство, с использованием прежде всего местного камня.

3. Сравнительно тщательной техникой, как в строительстве, так и в посадочных работах.

По отзывам архитекторов формы Нагорного парка — скромные, скупые. У одних в этом звучит сожаление о более богатых формах, у других — похвала. Я принимаю поддержку последних и говорю: простые формы требуют четкости, и они на юге как раз уместны. Я отвергаю здесь, скажем, богатство форм барокко, так согласующееся с роскошной растительностью. В Нагорном парке растительность никогда не будет такой, как на Черноморской Ривьере. Это скорее растительность Аттики, т. е. сухого юга. Поэтому греческая архитектура и некоторые течения архитектуры востока, дающие ясные, четкие линии, более в духе бакинского пейзажа.

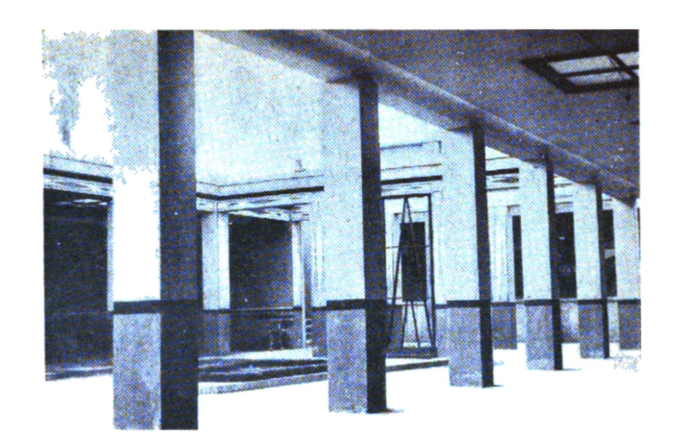
Парк пока говорит только своими террасами, немногими зданиями кафэ, раковиной и едва оформляющейся зеленью. В нем еще нет фонтанов, нет скульптур, нет монументальной живописи. Язык его форм еще не развился, образы его еще впереди.

Сможет ли парк оправдать надежды и стать мировым? Только в том случае, если он сохранит и разовьет свой собственный стиль и в архитектуре зелени и в архитектуре камня.

Баку из Нагорного парка.

Из Нагорного парка, с высоты его террас, отчетливо видно, как складывался город и как он должен расти и переделываться.

К р е п о с т ь. На общем строительном фоне города, среди общей кубичности бакинских построек, плоскокрыших, сообщающих издали специфический восточный колорит городу, выделяется небольшая, покатая к морю, скученная масса домов. Несколько изящных куполов, порталов и минаретов, крепкой приземистой формы, возглавляют эту часть города. Это «крепость», как сокращенно называют теперь Старый Баку начала XIX века и увенчивающий ее старый Ханский дворец. «Крепость» с двух сторон — с севера и с запада — почти опоясана остатками крепостной стены с приземистыми башнями. Только одна башня на юго-востоке, ближе к морю, резко выделяется своим крепким массивным силуэтом. Эта «Девичья башня» некот-



Кафе в Нагорном парке

да запирала вход в старую бакинскую гавань, подступавшую к самым стенам крепости.

Остановитесь на террасе музыкальной раковины Нагорного парка, вслушайтесь в город; снизу донесется к вам непрерывный стук, грохот и лязг. Это работает «Парижская коммуна», доки, ремонтные мастерские Каспара[1]. Сюда сдвинулась портовая жизнь в послеханское время, а отсюда она уйдет в восточную часть бухты, к промышленному сердцу Баку.

Баиловский мыс. Правая часть панорамы замыкается резко выдвинувшейся в море Баиловской шишкой, иначе Баиловским мысом, который вместе с Шиховым мысом образует Биби-Эйбатскую бухту, ныне бухту Ильича, с ближайшими к городу знаменитыми Биби-Эйбатскими промыслами. Берег от «Парижской коммуны» до Баиловской шишки пока еще занят портовыми сооружениями. Это западная, наиболее защищенная от южных морских ветров, часть бухты, — поэтому совершенно естественно — развитие порта пошло именно сюда. Весь берег к началу революции был занят пирсами, выгрузочными набережными, свободного берега не оставалось, а бухту сплошь занимали стоящие в ней разнообразные суда.

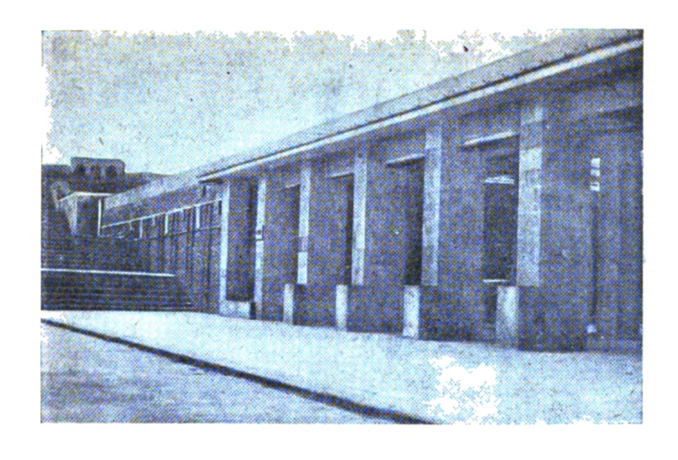
Склоны Баиловского мыса, в особенности прибрежной его части, стали постепенно заселяться, но крайне медленно, и Баилово, ныне часть Сталинского района, представляла перед революцией совершенно дикую бесхарактерную часть города. Если взглянуть за крепость, к востоку, то видно, что именно здесь начал расти русский, сперва чиновничий, потом промышленный Баку, охватывая крепость плотной дугой кварталов и двигаясь все время на восток.

Вдали синеют почти постоянно находящиеся во мгле «Черный» и «Белый город» — индустриальный Баку. Еще до революции отсюда начинался водный путь нефти. К этой же части в семидесятых годах примкнула железная дорога.

Пейзаж замыкается вдали мысом и грядой Султан-Зых, то серой, то сизой или розовой, над бесконечно изменчивой гладью залива.

Левая кулиса этой панорамы представляет нагорную часть амфитеатра Баку, на которую постепенно выбрасывались более молодые, до революции совсем неоформившиеся части уже большого города — Арменикенд, Тазапир, Кани-тапа, Молоканская слободка за вокзалом. Самые эти названия указывают на былую национальную обособленность населения окраин города. Окраинные поселки как бы разбегаются по склонам бакинского амфитеатра.

[1] Каспийское пароходство.



Кафе в Нагорном парке

Полоса приморских бульваров. Возвращаемся к берегу. От Парижской коммуны» и строящегося здания Интуриста, набережная освобождена от пирсов и сейчас застраивается. Сюда подойдет главный спуск лестницы из Нагорного парка. За Азнефтью на большом участке — берег зеленеет, это старый и новый бульвары. Расчистка берега — это первый мощный жест революционной стройки Баку. У бакинских строителей хватило решимости освободить город от хаоса портовых доков. В ближайшем будущем зеленая полоса упорной волей бакинских трудящихся будет раздвинута в обе стороны, она дойдет до белеющего бульвара. От бульвара, ближе к морю и центру города, бросаются в глаза неоформившиеся лысые бугры. Заполнение лысых пространств, разрывов между старым и новым Баку, является ближайшей задачей. На этих буграх должны расположиться общественные здания, окруженные системой зеленых площадок. Начало положено Дворцом Красной армии и флота.

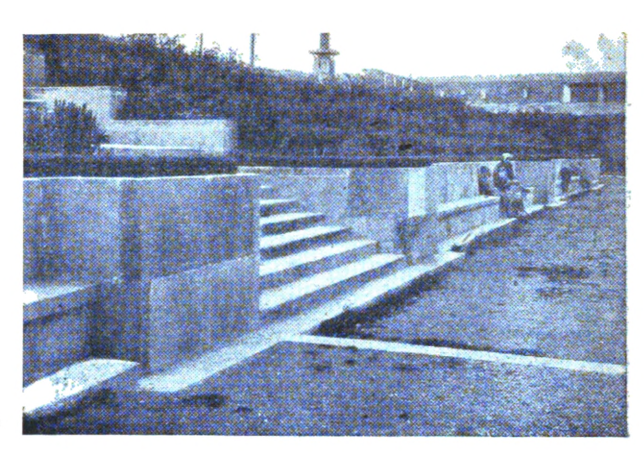
Баку ночью.

Днем линии города мало заметны. Но вот вспыхивают одна за другой линии магистральных, потом второстепенных улиц, загорелся яркими огнями Новый бульвар, обвивается светящимися точками линия берега, и постепенно выявляются остальные линии теперешней, еще крайне несовершенной уличной сетки Баку. Уже сейчас картина ночного Баку грандиозна, она грандиознее знаменитой панорамы ночного Тифлиса с горы Давида. По масштабу панорамы это скорее Вена с Земмеринга, но Вена — на берегу моря.

Появляется красный шар луны, постепенно бледнея, он поднимается, и бакинский залив начинает светиться лунным серебристым блеском.

Баку настоящий южный город. Ночью бывшая Ольгинская улица вместе с прибрежным бульваром, — облюбованное бакинским населением место. Ленинградцы хорошо знакомы с ночной толчеей проспекта 25-го Октября. Движение на Ольгинской совершенно иное. Живостью, подвижностью, веселостью толпы, а летом, кроме того, белым цветом одежды гуляющих, Баку скорее напоминает римский Корсо, Неаполь.

Всякий современный большой город требует ночной выразительности. В Баку это требование вполне отвечает характеру населения и природным условиям. Спадение жары летним вечером делает первые ночные часы совершенно необходимыми для внекомнатного отдыха. Парки и бульвары недостаточны. В наиболее населенных общественных точках города планировка улиц и площадей должна предусматривать интенсивную, но красиво выраженную в инженерной архитектурной рамке, ночную жизнь.



Нагорный парк в декабре

Ночные фейерверки у воды или в Нагорном парке, так любимые в южных городах, будут видны из любой точки города.

Баку днем

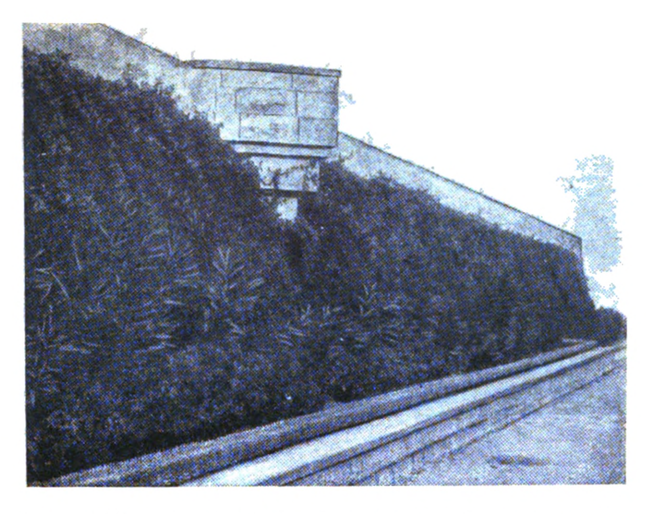
Историческая справедливость требует, чтобы знакомство с Баку начиналось с крепости. Со мной так и было. Я изъездил значительнейшую часть Италии, Германии, Австрии, побывал во Франции, — но знакомство с бакинской крепостью доставило мне особое, не испытанное ранее, впечатление.

Крепость застраивалась на протяжении четырех столетий. Новые, даже европейского типа дома, становились зачастую на старую красную линию. Так сохранился лабиринт ломаных улиц, переулков и тупичков разной ширины. Даже позднейшая — XIX века — застройка приобрела в крепости специфический оттенок: ампир и ренессанс здесь своеобразно «овосточились». Так, например, приобрели убедительную восточность характерные для старого Баку нависающие закрытые балконы-фонарики, выстроенные из дерева с ампирными деталями. Этому впечатлению способствует иногда и своеобразная окраска балконов — темнозеленая с желтой охрой, красная мумия с кобальтом и т. д.

В большей своей части крепость непроезжа в буквальном смысле этого слова. Пройдя несколько десятков шагов вдоль стены, мимо Баксовета, вы попадаете в крошечный переулок, в котором, расставив локти, человек занимает всю его ширину. Район Ханского дворца с трех сторон — западной, северной и восточной — окружен переулками, вплотную примыкающими к его высокой стене.

Дворец и дворцовая усадьба очень невелики, тем не менее небольшое количество очень простых его построек и утонченное изящество украшающих его частей создают вполне цельное впечатление. Местный материал обусловил свой особенный характер памятника, все значение которого не в красках, как это часто бывает в искусстве ислама, а в линиях, в контурах архитектуры. В крепости немало домов неплохой стройки, по которым легко проследить архитектурное формообразование в позднейший период. Дома эти строились очевидно без архитектора, какими-то мастерами-каменщиками. Их навыки, унаследованные в зависимости от их местонахождения, давали наивные, то простые, то сложные, но всегда свежие своей непосредственностью комбинации.

Недалеко от «дома с нишей» находится старая «таможня», одноэтажное каменное здание, архитектурный след воронцовского периода, сверстник известной нарзанной галлереи в Кисло-



Баку. Нагорный парк

водске. Это здание построено в стиле своеобразной англо-готики, казавшейся когда-то подходящей для «восточного» стиля.

Во дворе среди своеобразного квартирного лагеря можно увидеть более ранний домик-ампир с галлереей; на террасе несколько старых низкорослых деревьев, бакинских «крепышей», растущих из камня и асфальта. Из всего этого, выведя в другое место квартирантов, нетрудно сделать уютную площадку для детворы, снующей по окружающим переулкам. От таможни пара переулков приводит к «Девичьей башне», своеобразнейшему памятнику бакинской старины.

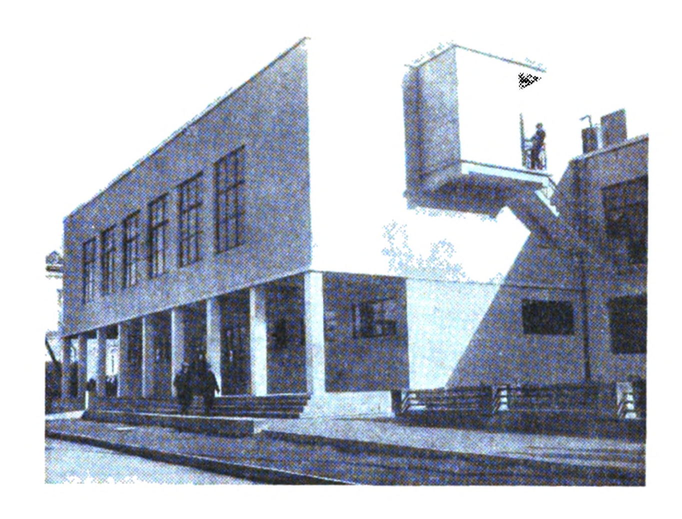
Рядом с ней построен четырехэтажный «шикарный» дом Ганджинского. Декоративная трескучесть фасада-выскочки особенно сказывается рядом с башней полной внутреннего смысла и предельной простоты.

Когда-то обозначавшая угол крепости, «Девичья башня» загорожена сейчас от набережной домом Ганджинского и двумя небольшими двухэтажными домами. Последние надо снести, и тогда откроются подступы к башне, тогда можно будет создать бульвар-эспланаду через крепость. Этот проход коснется еще двух старых, очень живописных построек — старого караван-сарая и старых бань. Сейчас караван-сарай, очень миниатюрный, представляет заброшенный, неуютный угол. Недавно еще можно было видеть живописные линии его старого портала, часть его отхвачена каким-то ретивым администратором. Расположенные неподалеку старые бани представляют постройку-карре, с широким двором и галлереей, они находятся в забросе, но без коренных разрушений. Капитальный ремонт может сохранить это здание, и его возможно использовать как помещение под хранилище, как музей; такие преобразования создали бы интересный ансамбль памятников башни.

Главное, что нужно сделать в крепости,— это удалить гнилые дома-хибарки, очистить места для площадок, дать доступ воздуха и света, замостить и осветить улицы. В небольшой ряд лет можно и должно окончательно оздоровить этот интереснейший уголок старого Баку.

Коммунистическая улица

В Баку есть свое кольцо—Коммунистическая и Наримановская улицы, набережная Губанова и улица Зевина. В этом кольце обосновывался послеханский Баку, сперва окраинно-административный казенно-военный скучный центр, потом промышленно-коммерческий, разрастающийся во все стороны, шумливый нефтяной город.

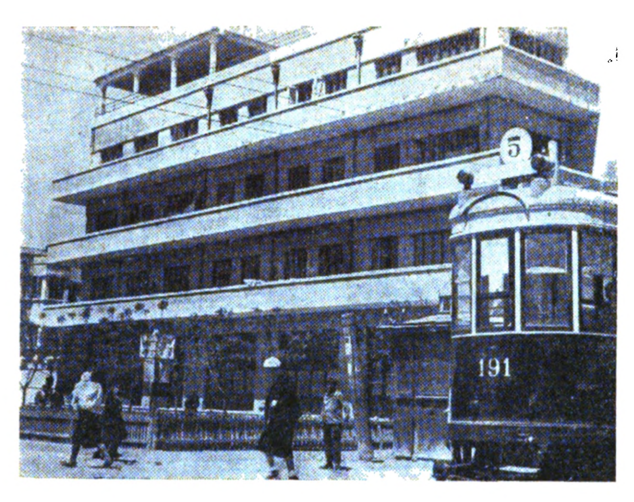


Новый Баку.
Школа в Баилове

В архитектуре красивой Коммунистической улицы видны формации всех периодов города. Еще стоит на ней здание военной школы, против Баксовета — здание начального периода застройки; стоит Дворец труда (АСПС) — здание скромной архитектуры пятидесятых-шестидесятых годов. Обывательские дома этого периода, стоявшие между ними, целиком сметены застройкой последней четверти прошлого века и первого пятнадцатилетия XX века. Здание Баксовета — первый памятник самоутверждающейся нефтяной буржуазии, неизвестно почему въехавший во французский ренессанс, является характерным образчиком привозной архитектуры.

Наискось от Баксовета, бывшей городской думы, высится огромный семиэтажный дом в ренессансе, но со следами влияния петербургской архитектуры десятых годов нашего века. Это здание — эпилог той же буржуазии, дом одного из крупнейших бакинских тузов. Дом вполне столичного масштаба, он был закончен после революции и, вместо роскошных квартир, наполнился помещениями наркоматов молодой республики.

Этот конец Коммунистической улицы образует приятный поворот на юго-запад и завершается вышками здания типа казино, с типичным приплюснутым куполом и двумя игривыми башенками, здание живописно выделяется своей светлой окраской на сдержанном темном фоне других домов. Теперь это ДАКАФ — Дом Красной армии и флота. Напротив него, давая окончание Коммунистической, стоит изящный жилой дом восточного характера с глухими деревянными балконами-фонарями, тоже окрашенный в светлый цвет, — обе постройки одного автора архитектора Тер-Микаэлов, давшего до революции лучшие постройки Баку. Обидно, что в последние годы построены большие дома такой архитектуры и такого выполнения фасадов, которые неимоверно портят улицы — вид из их окон чудесен на залив, на порт, на лучшие улицы — и они видны со многих точек во всем своем безобразии. Между тем они подходят к наиболее ответственным частям пейзажа города — к преобразуемому сейчас Чемберикенду (перевод — высокое место) и к террасам Нагорного парка. С их фасадами придется весьма и весьма повозиться — выправить. Запроектированные уже дома — общежитие Комвуза архитектора Гусейнова-Дадашева и здание УРС Азнефти архитектора Сенчихина, — размещены по архитектурно обдуманному заданию, с использованием рельефа видимости с моря, близостью к порту.



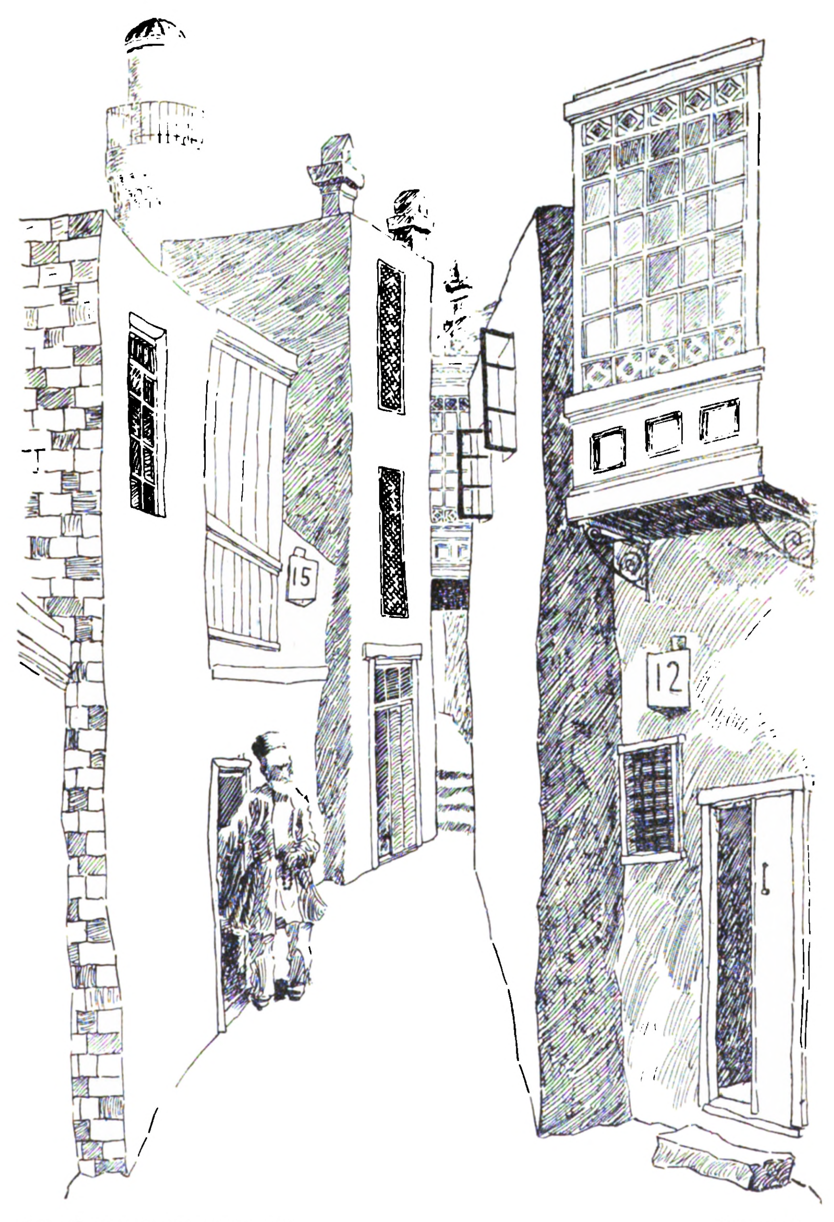
Новый Баку.
Трамвай в Арменикенде

В другом конце Коммунистической улицы обращает на себя внимание постройка в венецианском духе — дворец послетюркской культуры, теперь здание Азербайджанского отделения Закавказского филиала Академии наук СССР — АЗОЗФАН. Здание выстроено бакинским богачом в память умершего сына — арабский шрифт подписей и некоторые восточные детали заставляют думать, что заказчик хотел видеть здание восточного стиля, а получил Венецию. Но несмотря на огрубление форм, живописность венецианской готики, выведенной из местного хорошо тесаного камня и кирпича, делает постройку очень близкой для востока прежде всего своим горизонтальным и узорчатым верхом и лоджей[1], с которой, кстати,— прекрасный вид на восточную часть центра города. Площадь Собира является сейчас ответственнейшим местом реконструкции центра. В первый мой приезд весь этот район своими кварталами одноэтажных портовых помещений весьма ветхозаветного типа являл собой резкое противоречие архитектурному порядку Коммунистической улицы. Здесь можно было видеть оригинальные столовые — духаны с их плитами и прилавками, обложенными изразцами, с живописными фигурами хозяев и посетителей этих учреждений. Здесь рядом с трамваем изредка показывались важно ступающие верблюды или быстро семенящие ослики. С тех пор в стороне от Коммунистической вырос Дворец печати — Азгиз. Была опасность, что это здание будет загорожено жилыми домами. Но это во-время предусмотрел предбаксовета — С. М. Балахнин, он почувствовал всю общественную и архитектурную значимость места и запретил застройку кварталов. Благодаря его же поддержке мне удалось добиться пересоставления проектов новой застройки площади — авторы этих проектов думали оформить площадь в измельченном и обедненном конструктивистском стиле.

Ряд площадей со скверами на них и с обстройкой, в которой исторически сложившаяся разность стилей будет обобщена однородностью декоративного материала, естественного камня или близких к нему искусственных материалов — таков будет Собировский ансамбль. Баксовет форсирует реконструкцию, и через год-два вся эта архитектурная система будет завершать Коммунистическую улицу.

Коммунистическая улица упирается в устье двух улиц — Зевина и Джапаридзе, вместе они образуют небольшую треугольную площадь. Если продолжить итальянские сравнения, жизнь этой площади и улицы Джапаридзе переносит нас в обстановку

[1] Род крытого балкона.



Старый Баку. Улица в крепости Рис. худ. Л

итальянского города, напоминая устье Корсо Umberto около Piazza de Popolo в Риме или разные piazza в ряде итальянских городов, с их постоянной оживленной толпой, идущей сплошь, помимо тротуаров. Сплошной поток людей, как в зале, движется к приморскому бульвару и от него. Впоследствии надо создать такую обстановку, чтобы площади Собировского ансамбля дали бы простор этому гулянию, чтобы играла музыка, чтобы били фонтаны...

Группа прямых улиц и квадратных кварталов идет плотной массой за улицей Джапаридзе почти до Морской и площади Свободы и от набережной Губанова — до Краснопресненской, тоже одной из самых оживленных улиц города. Это уже не Италия, это Америка, в той степени, в какой смогли и успели сделать ее миллионеры Баку.

Тесные жилые дома, банки, конторы, театры, пассажи перемежаются, не образуя площадей, размещаясь исключительно по воле капитала и в нужных капиталисту формах.

Тем не менее эта бакинская Америка не без качеств. Дома построены капитально, тщательно, в подавляющей части из камня. Великий художник-природа действием воды и воздуха так облагородил с течением времени камень, что постройки выглядят художественно, хотя и выполнены вне всякого стиля. Только местами, к стыду советского города, усердие «художников прилавка» разукрасило первые этажи некоторых домов, раскрасив камень краской, — сделано это, очевидно, для того, чтобы было «заметней», «чище», хотя бы в тот день, когда производилась окраска.

Ряд параллельных берегу магистралей соединяет запад города с промышленным районом на востоке Баку. В настоящее время из этих магистралей — Шаумяновская улица является оживленнейшей автомобильной артерией, по асфальтовой глади которой теперь одно удовольствие проехаться в Черный и Белый город — Шаумяновский индустриальный район.

Черный и Белый город по характеристике Горького до революции «Дантов ад» — в разгаре революции.

В 1925 году, при первом знакомстве моем с этими районами, они представляли собой сочетание плохого мощения, железнодорожных путей, заборов, фабричных корпусов, плохих низеньких жилых домов и нефти. Нефть всюду: в цистернах, в открытых земляных бассейнах-амбарах, в трубах, между трубами, в канавах, в лужах, в воздухе, в осевшей пыли, в потеках на стенах. Среди этого хаоса только показывались тогда новые ростки: дома-коттеджи Серебровского.

Конечно, этот район — сфера дела, производства, инженерии, но тем более хочется, чтобы весь этот колоссальный индустриальный городской комплекс получил законченное строительно-архитектурное выражение: особое техническое изящество, вытекающее из его природы, а не приукрашенное ренессансом.

По существу это громаднейший сверхкомбинат нефтяной обрабатывающей промышленности, в которой прежнее захватнически разбросавшееся индустриальное хозяйство должно смениться плановым грандиозным единым промышленным строительством. Лицо района должно быть цельным.

Деловая архитектура веснинского Дома культуры здесь также принципиально кстати, как не к месту приземистые одноэтажные, с высокими черепичными крышами, коттеджи. Архитектура и инженерия здесь должны раствориться одна в другой, здесь извлечение материальных ценностей должно быть облечено в культурные формы.

Об этом приходится говорить потому, что пока преобразование и создание района еще не перешло на путь такого синтетического строительства.

Пока на этот путь стал только Бакинский мясокомбинат.

Белогородское шоссе — путь интересный в смысле индустриальных, но не архитектурных впечатлений. Он ведет к жилому району Ленинской фабрики и далее — к Зыхскому парку. Шесть километров вы мчитесь через индустрию! Белогородское шоссе должно стать не только удобным, что уже достигнуто, оно должно стать приятным и для зрения. Это общественный



Новые кварталы

коридор, пронизывающий промышленный район.

Армениканд. Это одно из тех авангардных пятен расселения, которые выбросило прибрежное низовое Баку на окружающие его нагорные части.

Армениканд расположен к северу от центра города, между двумя артериями — улицей Народов востока и продолжением Красноармейской улицы. В прошлом это армянские выселки с одноэтажными примитивными домами, кое-где еще оставшимися; сейчас это наиболее цельно выраженная формирующаяся часть города.

«Хотите, мы дадим вам квартиру в Арменикенде?» Это предложение означает: «Хотите быть обеспеченным наиболее удобной квартирой в Баку?»

Сочные деревья бульвара, кубообразные дома в два этажа, весело смотрящие своими выступами, балконами и террасами. Из Нагорного парка они рисуются светлой полоской домов за темной полосой Арменикендского бульвара.

Новый Арменикенд одно из первых по времени достижений советского городского строительства в Баку, да и в Союзе, является до сих пор, при всей быстроте роста требований, не последним по качеству. Это объясняется значительной однородностью, цельностью этого нового куска Баку, сделанного единым порывом. В дальнейшем Арменикенд должен застраиваться еще интенсивнее — в четыре этажа и выше — и богаче.

Кстати, об архитектурном характере этого района. Дома нового Арменикенда, имея известную общность в разбивке плана и в высоте, поданные то в конструктивном оформлении, то с применением деталей восточного характера, несут на себе печать юга. Бескарнизный и плоскокрыший конструктивизм здесь оказался сродни всем условиям, и в подходящей обстановке дал нечто своеобразное, вполне законное.

Рядом с этими новыми кварталами на запад расположится громадный комплекс медгородка, на 80 гектаров, исходящий из существующих зданий больницы Семашко и разрастающийся в целую систему Медицинского института, Тропического института, жилого сектора и большой больницы и клиники.

Баку начинает строиться комплексами.

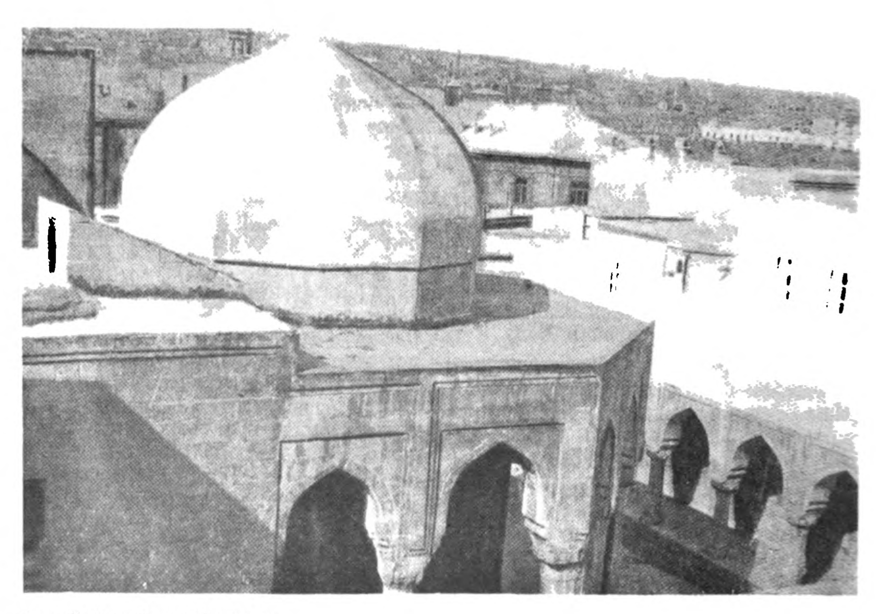
Комплекс медгородка, целесообразно распланированный внутри, должен выстроиться вдоль Красноармейской артели, обращаясь к морю фронтом своих трех- и четырехэтажных корпусов.

Да, он будет смотреть на море. Баку имеет слишком ясно выраженную топографию, чтобы можно было ее игнорировать. Амфитеатровый рельеф и море будут во многих случаях поворачивать к себе лицом архитектурные ансамбли.

Стоя на площади перед воображаемым головным зданием Мединститута, можно видеть впереди весь нижележащий центр города и оба фланга города—западный и восточный—и поразмышлять, помечтать о будущем города, в целом уже познакомившись немного с его частями.

Надо знать, что основные задания по перепланировке Баку, составленные Гипрогором,— документ свыше пяти сот страниц.

Поэтому кратко. Исследования показали: на Апшероне большая часть территории имеет под собой нефть. Население должно быть размещено громадное. Землю надо экономить, строиться интенсивно, т. е. не разбрасываться. территорию распределять не сотнями гектаров, не десятками, а гектарами, квадратными метрами. Все сооружения — здания управления, школы, вузы, больницы, жилые дома, гаражи, фабрики—должны быть высокоэтажными, площади и улицы экономными, но не тесными. Раньше, чем где бы то ни было, в Баку действительность заставляет сделать восьмиэтажный дом удобным, приятным, веселым жильем. Старый Баку имеет трехэтажные дома с темными дворами, новый Баку будет иметь дома в четыре и восемь этажей. с дворами, где есть солнце и зелень.



Старый Баку. Ханский дворец

И все это высокое строительство не должно закрывать пейзажей перспективы. Таковы архитектурные подробности этой системы.

Строители не любят участки с «беспокойным рельефом». В Баку надо из трудности такого рельефа создать качество.

В Баку не мало «беспокойных мест рельефа», но не так уж много, чтобы их не преодолеть.

Вон направо, на западе, над покатостью Тазапира с его карабкающейся вверх пестрой застройкой темнеет ровное, как стол, Нагорное плато, по краю которого идет Советский проспект. Над застройкой его надо похлопотать. Сейчас его не уловить, в будущем он ясно обозначит своими домами край Нагорного района. А под ним должна пройти полоса озеленения.

В середине его, где сейчас узенькая Чадровая улочка, должен быть дан свободный прорыв вниз, в глубокий центр города к площади Димитрова, б. Кубинки, на которой уже сейчас зеленеет новый сквер. За последним предстоит развернуться широкому бульвару вдоль улицы Басина, вплоть до вокзалов.

В Баку рельеф определяет костяк плана.

Мысы холмов требуют размещения на них крупнейших общественных зданий, лощины между мысами — места для площади — Форума и парковых монументов. Эта идея уже начинает осуществляться, первое здание — новый ДАКАФ. Нельзя разбрасываться, нельзя забывать о реконструкции центра, но и нельзя оставить новые районы оторванными от центра, как Арменикенд.

Сейчас говорят: «Арменикенд приятная часть, но, ведь, это — окраина!» В двух-то километрах от моря, в полукилометре от центра — это ли окраина?! Разрыв, который надо заполнить без поспешности, но и не медля.

Город сперва медленно развивался в застывших формах шахского и ханского периодов, и затем быстро вырос в разнообразных сменявшихся архитектурных формах последних десятилетий.

Город рос, и его история — в камне, в зелени и в других элементах. В старые капитальные массивы города новое входит то в виде надстройки, то в виде достройки — только доканчивая его, иногда в виде новой застройки, продолжая или модифицируя старое или соревнуясь с ним. Таким путем реконструируются старые части города к северу и востоку от крепости, создавая ряд ансамблей.

Было бы странно рассчитывать, а тем более стремиться, чтобы совершенно новый район, скажем Монтина, создался бы в старых формах. Иное значение района в общей системе города, иное — в период его основного роста нынешнего и будущего — обусловят иной, новый лад архитектурных масс. Отсюда пейзажное несходство в облике этих районов.

Каждый район, подрайон и еще более дробные части города — в будущем дадут картину переходов из одного оттенка архитектуры в другой, не выходя из общего стиля города.

Объяснения некоторых технических терминов, встречающихся в номере

Барит — тяжелый шпат, минерал, применяется для увеличения удельного веса глинистого раствора.

Задавливать колонну — заливать колонну по мере углубления скважины, в нее опускают обсадные трубы большого диаметра. „Задавливают", как говорят нефтяники, а затем в пространство между землей и колонной заливают цемент.

Кержимы — баржи на Каспии.

Карротаж — прибор, определяющий при помощи электрического сопротивления природное качество пластов, в которых проходит скважина.

Пики — при карротировании нефтеносные породы показывают наибольшее электрическое сопротивление, отмечаемое записывающей частью аппарата в виде острых и резких зигзагов.

Понт — геологический пласт.

Колонковый бур — полое сверло, выносящее на поверхность породу.

Рид — фасонное долото.

Ротор — круглый стальной ствол, в котором посредством клиньев зажата квадратная штанга. Системой зубчатых передач, идущих от мотора, ротор вращается и приводит в движение колонну бурильных труб.

„Скворец" — „скворцом" на промыслах называют автоматический бурильщик конструкции проф. Скворцова.

Элеватор — приспособление для подъема бурильных труб.

Циркуляция глинистого раствора — при бурении в скважину непрерывно по бурильным трубам накачивают глинистый раствор. Глинистый раствор выносит на поверхность разбуренную породу, глинизирует стенки скважины, предохраняя ее от обвала и противостоит давлению пластов. Выйдя из скважины на поверхность, раствор отстаивается в желобах, а затем снова насооами закачивается в скважину.

ОПЕЧАТКА

На стр. 79 подпись под клише в части тиража напечатано „АЗИИ" следует читать „АЗНИ"

Ответственный редактор М. Горький. Заведующий редакцией В. Бобрышев. Художник журнала И. Запенин. Выпускающая А. Тюнеева.

Адрес редакции: Москва, Спиридоновка, 2.

Уполн. Главлита Б-6606. З. Т. 237. Колич. знаков в 1 п. л. 56 000 Стат. Б5 — 176×250 мм. Тираж 37 000. Сдано в набор 15/III 1935 г. Подписано к печати 22—26/V 1935 г.

Текст набран в 39-й тип. Мособлполиграфа—Москва, проезд Скворцова-Степанова, 9.

Печать и художественные вкладки меццо-тинто выполнены 7-й типографией Мособлполиграфа (Москва, Филипповский пер., 18).

Содержание

(Оригин. фотографии — М. Альперта и Г. Петрусова)

